

KRESCHATIK
International Literary Magazine

International Literary Magazine #

KRESCHATIK **61**

П Е Р Е К Р Е С Т О К

Вест-Консалтинг



Международный
литературно-
художественный
журнал





Главный редактор
Борис Марковский

Зам. главного редактора
Евгений Степанов (Москва)

Зав. отделом прозы
Елена Мордовина (Киев)
тел. (038) 067-83-007-11

Редакционная коллегия:

Андрей Коровин (Москва)
Борис Херсонский (Одесса),
Игорь Савкин (Санкт-Петербург),
Владимир Цивунин (Сыктывкар),
Борис Констриктор (Санкт-Петербург),
Владимир Алейников (Коктебель),
Игорь Лощилов (Новосибирск),
Вальдемар Вебер (Аугсбург)
Айдар Хусаинов (Уфа)

Художник
Иван Граве (Санкт-Петербург)

Год издания пятнадцатый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:
В. Markowskij, Tränke Str. 16
34497 Korbach, Deutschland
тел. (+49) 5631-50-31-42
e-mail: borismark30@T-Online.de
www.kreschatik.nm.ru

Издательство «Вест-Консалтинг»
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619-2966
Свидетельство о регистрации КВ № 10002 от 29.06.2005 г.

© Крещатик, 2013 г.
© Издательство «Вест-Консалтинг» (Москва), 2013 г.





СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Феликс Чечик / <i>Натания</i> /	А с течением времени...	5
Илья Иослович / <i>Хайфа</i> /	«Когда уже пуста корзинка...»	22
К. С. Фарай / <i>Москва</i> /	Из книги «Голова всадника»	88
Татьяна Грауз / <i>Москва</i> /	Вольно и нежно	98
Юрий Извеков / <i>Улан-Удэ</i> /	«Дрожащее живое колесо...»	105
Гари Лайт / <i>Чикаго</i> /	Со среды на четверг	141
Сара Маркарян / <i>Лунд</i> /	«Это страна без дорог...»	164
Анна Павловская / <i>Москва</i> /	«Самое время...»	228
Татьяна Ретивова / <i>Киев</i> /	Похвалы из-за грани (цы)	234
Игорь Куницын / <i>Москва</i> /	«Караван идёт на запад...»	284
Михаил Попов / <i>Москва</i> /	«Неужели ты еще не понял...»	303
Геннадий Кацов / <i>Нью-Йорк</i> /	«Не здесь, не там, а где придется...»	310

Проза

Илья Оганджанов / <i>Москва</i> /	Трое. Рассказы	9
Алла Дубровская / <i>Нью-Йорк</i> /	Одинокая звезда. Роман	26
Сергей Волченко / <i>Москва</i> /	Неопределенный родственник	93
Михаил Аранов / <i>Ганновер</i> /	Площадь Калинина. <i>Глава из повести</i>	102
А. Киров / <i>Каргополь</i> /	Полночь во льдах. Повесть	109
Айдар Хусаинов / <i>Уфа</i> /	Культур-мультиур. Роман	168
Лиля Калаус / <i>Алма-Ата</i> /	Иероглиф жизни. Рассказ	231
Вл. Порудоминский / <i>Кёльн</i> /	Трапезы теней	240

Переводы

Франсуа Деблю / <i>Лозанна</i> / <i>Перев. с франц. Н. Бокова</i>	Из двух книг	288
Амир Ноепараст / <i>Брюссель</i> / <i>Перев. с англ. О. Новиковой</i>	Поклонник ночи	308

Переводы

Пауль Целан. Песня в пустыне

Перевод с нем.

Татьяны Баскаковой

149

Владимира Летучего

149

Игнатия Крекшина

149

Бориса Марковского

150

Сергея Морейно

150

Алёши Прокопьева

151

Виктора Топорова

151

Марка Уральского

151

Бориса Шапиро

152

Контексты:

эссеистика, критика, библиография

Марк Уральский / *Брюль* /

Предисловие к циклу переводов
одного стихотворения

Пауля Целана

143

Татьяна Баскакова / *Москва* /

Сон о железном херувиме:
заметки к «Песне в пустыне»

Пауля Целана

153

Юрген Леман / *Фрайбург* /

От пения к говорению:
стихотворение Пауля Целана
«Песнь в пустыне»

158

Таисия Поверенная / *Мюнхен* /

Крупинки «счастья»

318

Антон Рибис / *Москва* /

Завораживающая простота
стиля Вячеслава Чмиля

320

Латинский квартал

Борис Левит-Броун / *Верона* /

Нечаянные фразы

322



Феликс ЧЕЧИК

/ Натанья /

* * *

А с течением времени —
время исчезло почти,
как для чтения зрение,
если разбиты очки.

От печали и трения
время, как я, в дураках.
Поезд Анна Каренина
ждёт, не дождётся никак.

* * *

Мир деталей и милых
несуразностей, глупостей, — вдруг
будто банный обмылок
навсегда ускользает из рук.

То, что было — то мило?
Было — не было. Сплыло.
В раю
я рекорды без мыла
до сих пор устанавливаю.

* * *

— Не пей с Валерой,— говорил
мой друг Володя,
а сам, не зная меры пил,
в плену мелодий.

— Не пей с Володей,— говорил
мой друг Валера,
а сам в плену мелодий пил,
не зная меры.

И я не спорил с ними, но
пил с тем и с этим,
и, как закончилось вино,
сам не заметил.

И, как ушёл один, и как
второй в завязке,
а я остался в дураках,
из доброй сказки:

полцарства пропил, и в живых
не числясь даже,
соображаю на троих
в ночном трельяже.

* * *

не обольщайся на мой
сердцем оплаченный счёт
знаю река и зимой
хоть подо льдом но течёт

но еле-еле вот-вот
течь перестанет она
вешних в преддверии вод
околевая до дна

* * *

Эстафетную палочку не передам
никому — ото всех утаю, —
от: бегущих вприпрыжку за мной по следам
и торящих свою колею.

Эстафетная палочка, — в ней волшебства
ни на грош, а заноз до фи́га, —
иллюзорная вера в любовь и слова,
в золотое сердце врага.

И не палочка вовсе, а чёрт знает что —
то, чему и названия нет,
жизнь и время уплывшие сквозь решето
и в туннеле мерцающий свет.

Передай! Не хочу! Передай! Не проси!
И, как будто небес синеву,
в одиночестве гордом забью на шасси
и заветную ленту порву.

* * *

В том, что случилось не со мной —
я тоже виноват.
И ощущения в груди
моей, который год,
как встреча Штирлица с женой
в кафешке «Elefant»
под музыку Тариверди-
Евангелие от...

* * *

Покуда таможня давала «добро»
и гипнотизировал Карацупа
меня в «Домодедово», думая о
ста граммах «Столичной» и порции супа,

мой друг не спешил уходить, и глядел
на мой удаляющийся затылок...
Когда-то мы пили, когда-то он пел
под музыку опорожнённых бутылок.

Ах, молодо-зелено, — нет, чтоб снести
посуду в «приёмный» и стать олигархом, —
мы пухом у времени были в горсти
и стали с течением времени прахом.

И, всё-таки, всё-таки, всё-таки нет
причины для грусти и повода нету,
чтоб снова не выпить под винегрет
и опохмелиться с утра под котлету

одну на двоих... И таможня дала
и ключ провернулся в замке, как по маслу.
А друг в электричке два лёгких крыла
припрятал под куртку и давит на массу.

* * *

Не стало собаки,
но дело собачье живёт.
Небесные знаки
во мраке она подаёт.

И лечит от страха
горячим своим языком
в созвездии «Рака»,
где смерти не писан закон.

* * *

Совершеннолетие моей
жизни на чужбине... На двоих
стол накроем, созовём гостей,
не деля на мёртвых и живых.
Первый тост: за год и за число,
за октябрь первый тост: «день-день».
Чтобы девушку не развезло —
не части, а лучше — половинь.
А второй за тех, кто тишины
не нарушит и глядит любя.
И покуда гости не пьяны, —
третий тост, конечно, за тебя...
Я хотел, как лучше — я хотел,
чтоб она повеселилась всласть, —
заболтался и не углядел,
а она взяла и надралась.
И лежит в блевотине своей
ангелоподбное дитя...
Не ругай её и пожалей,
и опохмели сто лет спустя.

* * *

Потерял часы, — увы и ах!
Стал смотреть на время свысока.
Видоизменяясь на глазах,
за год превратился в старика.

Я того, кто их найдёт — прошу
за вознаграждение вернуть, —
я живу в полсердца и дышу
через раз, готовясь в дальний путь.

А жена, как прежде молода,
и, как прежде, хороша собой,
а безвременье — прочнее льда —
бесполезно биться головой.

И нашёлся добрый человек —
позвонил и возвратил часы,
и меня на вечные обрек
поиски варёной колбасы.



Илья ОГАНДЖАНОВ

/ Москва /

**Из цикла
«Рассказы длиной в одну
выкуренную сигарету»**

ТРОЕ

Виталик чиркнул спичкой и опасливо поднял её над головой. Дрожащий слабый огонёк едва осветил глубокий мрачный подвал, крутую вонючую лестницу и железную дверь с огромным колесом вместо ручки.

— Ой, как здесь нагажено, — зажимая нос, капризно протянула Анечка.

— А ты возьми да уберись. Тоже мне, чистюля нашлась! — с нами, мелюзгой, Виталик не церемонился, грубил и обзывался, но мы не обращали внимания, всё справедливо — целых два года разницы.

Спускались ощупью — спички надо было беречь, в коробке оставалась всего одна. Виталик стащил его, не проверив, у своего пьяного отчима, из потёртого тёмно-серого милицейского кителя, и теперь ворчал, что всё приходится делать самому и зачем он только связался с такими недотёпами, надо было идти в одиночку, «пливыкли в иглушки иглять, а это вам не песочница — военный объект, бомбоубежище», — он плохо выговаривал букву «р», и, когда злился, выходило особенно смешно.

Колесо на двери было ржавое, холодное и поворачивалось с трудом. Мы втроем налегли на него и изо всех сил потянули дверь на себя. Она тяжело подалась и отворачительно заняла.

Виталик вынул коробок и огарок свечи, непослушными руками зажгёт фитиль и бережно прикроет ладонью. Кончики его пальцев с нестриженными грязными полумесяцами ногтей стали ярко красными, точно раздуваемые угольки.

Внутри было прохладно. Несколько одинаковых отсеков с шершавыми бетонными стенами, широкими двухъярусными нарами и вентиляционными установками.

— Значит, вот здесь и спасались от немецких авианалётов?
 — Ты совсем что ли того? Дом после войны построили, а бомбоубежище это — от атомной бомбы.

— И пожалуйста, больно ты умный. И никакое это не особенное секретное место, понял?! Не очень-то здесь и интересно, — Анечка всё-таки надулась, но развернуться и уйти в плотно обступавшую нас темноту не решилась.

Виталик подошёл к стене и высоко поднял свечу.

— Ну-ка подсади.

Щёлкнул выключатель, и под потолком вспыхнула тусклая синяя лампочка.

Мы тесно уселись на деревянные нары.

— Наверное, страшно так сидеть и ждать, когда упадёт бомба? — вздохнула Анечка.

— Угу, — примирительно согласился Виталик. — Но сюда не достанет, не волнуйся. Здесь можно несколько дней жить. Я точно знаю, от бабушки. В их дом фашистский фугас попал, и они с тёткой почти неделю в убежище спасались.

В давящей тишине резко скрипнула железная дверь, и по бетонному полу торопливо простучали каблучки.

— Жуть какая!..

— Не бойся. Иди скорей ко мне.

Сдавленные голоса донеслись до нас гулким леденящим эхом.

Виталик приложил палец к губам. «Это Генка-дембель с Томкой из пятого подъезда. Вот шалава, недавно же с Вовиком гуляла», — прошипел он и строго посмотрел на Анечку.

— Что, прямо здесь?

— Зато никто не помешает. Смотри, какие хоромы.

— А свет зачем горит?

— Так надо. На всякий случай — вдруг война.

— Конечно, вам мужикам хорошо говорить: «война». Опять призовут тебя, и останусь я одна-одинёшенька, никому не нужная.

— Глупенькая, да если что, мы любого врага в два счёта расколтим. Ведь «от тайги до британских морей Кра-асная А-армия всех сильней». И я снова к тебе вернусь, под тёплое крылышко.

— Как же, знаю я ваши тёплые крылышки. Ну что ты делаешь, сумасшедший, что ты! Платье порвёшь... Меня мать потом убьёт. погоди. погоди, говорю!.. Дай я сама.

В соседнем отсеке началась какая-то возня. Гадко завизжали нары. Послышались вскрики, тяжелое прерывистое дыхание, протяжные, мучительные стоны, словно там кто-то невыносимо страдал от смертельной раны.

Мы сидели молча в синеватой полутьме, стараясь не смотреть друг на друга.

НА БЕРЕГУ

— Никто не знает, кто он, откуда и как давно здесь сидит — в плетёном кресле под зонтиком каждый день с раннего утра до позд-

него вечера. Греет старые косточки на солнце, иногда что-то бормочет себе под нос и смотрит, смотрит на море. О чём он думает? Что вспоминает? Детские шалости и страхи, скуку за школьной партой и студенческой скамьей, друзей, первую любовь, первую измену, жену, детей, любовницу, умерших родителей, долгие годы безрадостного труда и одиночества? Всё то, что на закате жизни дано вспомнить человеку. Во что так пристально вглядывается? Может, ждёт, что из искрящихся на солнце волн выйдет кто-то отчаянно прекрасный, как несбывшаяся мечта, возьмёт его за руку, и скажет, что всё прошлое было недоразумением: и неуклюжее детство, и мучительная, как горячечный стёркот кузнечиков, юность, и пустота, неизбывная пустота куда-то утекших дней и ночей. И что можно начать всё сначала — светло и безмятежно. Да... но никто не выйдет и ничего не скажет. Волны набегают одна за одной, воспоминания теснят и сменяют друг друга. Южный ветер овеивает лицо забытым материнским теплом. И словно гарпии, кричат и кружат чайки, высматривая добычу. Вот так и я когда-нибудь, верно, буду сидеть на берегу, старый, никому не нужный. О чём я тогда буду думать? Что вспоминать?

— Вечно ты сочиняешь всякие глупости. Пойдём лучше купаться.

— Да-да, конечно...

ПОКА ЖУРЧИТ РУЧЕЙ

Ночью, особенно когда луна и звезды, так горестно на душе, так тревожно. Словно где-то в дремучей чащобе, в беспросветной тьме, журчит студёный ручей: *Неужели все проходит? Неужели и это пройдет?* Библейскими старцами в суровом молчании стоят деревья, отражаясь в скоротечной воде. Корни, похожие на дельту реки, дельту вен, пьют тишину из земли. *Неужели, неужели?* Прошелестит ли в ответ листва, вспорхнет с ветки птица — и снова горестно и тревожно журчит ручей. Его звон пробегает по венам, по веткам и затихает высоко в облаках.

Мама рассказывала, что перед самыми родами я вдруг повернулся у неё в животе и пополз назад. И до сих пор мне кажется, что я карабкаюсь туда — в беспросветной тьму, где горестно и тревожно журчит ручей.

КТО ЗНАЕТ...

Мама сидит на кухне, положив руки на колени. Она так и не стала большой пианисткой: родился я, и пришлось идти преподавать в музыкальную школу. Каждый день шесть уроков. Гаммы, этюды, отчётные концерты. Ленивые и в общем-то равнодушные к музыке дети. Она сидит, разглядывая свои руки, как чужие и незнакомые.

— Правда, похожи на прадедушкины?

В комнате на книжной полке пылится старая пожелтевшая фотокарточка, мастерская Кардов и Ко. Молодая пара: она — узкое лицо с тонкими чертами, точно надтреснутый фарфор, задумчивые глаза, пена кружев, юбка-колокол до пят, покорно стоит за высоким

креслом, в котором осанисто восседает он — тёмный элегантный костюм, прямой твёрдый взгляд, крепкие крупные руки на бархате подлокотников лежат легко, почти невесомо.

— И правда, похожи, — отвечаю я, выжидательно барабана пальцами по столу.

— А у тебя вот отцовские, в их породу, — говорит она с сожалением и немного свысока.

Когда в город вошли красные, прадед снял со стены охотничье ружьё, не то «Лепаж», не то «Льеж», собрал всю семью — жену, двух юных дочерей и маленького сына — в подвале их особняка (в двадцатые годы там прописался Дом пионеров), усадил кругом: «Как только они сломают ворота, я застрелю сначала вас, потом себя». Взвёл курок и стал ждать. Ночью один бедный дальний родственник, чем-то обзанный прадеду по гроб жизни, вывел их к реке и посадил в схороненную в камышах лодку. И если б не это, рука бы не дрогнула.

Прадед безвестно канул в гражданскую. А прабабка долгие годы мыкалась с детьми по углам, Христа ради преподавая французский большевистским чадам.

У моего деда тоже был крутой нрав. Уже солидный человек и большой начальник, он однажды посреди почтенного застолья разбил свою гитару о буйну голову одного партийного сынка, косо посмотревшего на молодую красавицу бабушку. Эта семиструнная гитара с инкрустированной перламутровой ласточкой на деке было всё, что осталось у него в память о родителях и о той счастливой, беспечной и навсегда исчезнувшей жизни. И до последних дней в его слезящихся от старости глазах вспыхивало что-то такое, что заставляло поприхнуть даже моего неуправляемого в пьяном угаре отца.

Дед от природы обладал абсолютным слухом и удивительной беглостью пальцев, с малых лет играл на разных инструментах, глубоко чувствовал музыку и подавал большие музыкальные надежды. Но революция и голод решили по-своему: разнорабочим на завод, вечерняя школа, рабфак, а позже — институт по инженерной линии.

Незадолго до его смерти мне приснилось, что в окно нашей квартиры залетела перламутровая ласточка...

Я так и не научился ни на чём играть и, сколько ни простаивал перед зеркалом, не мог отыскать у себя во взгляде ничего утраченного или хотя бы внушительного. Кажется, даже ни разу ни с кем не подрался. Как говаривала моя бывшая жёнушка: «Он у меня — просто лапуля. Мухи не обидит». Но кто знает: доведись мне — и возможно, рука бы не дрогнула?

МИР, ТРУД, МАЙ!

Он называл её Туся. Конечно, теперь это звучит смешно — какая-то кошачье-собачья кличка. Но тогда... Он взбежал по прокуренной лестнице на четвёртый этаж студенческой общаги, шёл почти до

конца длинного коридора, на ходу заправляя вылезшую из штанов рубашку, стучался в дверь сорок-какой-то комнаты. За дверью слышались беспокойные шорохи, торопливые мягкие шаги. Щёлкал замок, его обдавало сладким одуряющим запахом девичьего жилья, и он, как телёнок, тыкался в щёки, глаза, губы.

Её соседки по комнате смотрели на него неодобрительно: что, не могла найти кого-нибудь поинтереснее, он же зануда и тютя, детский сад да и только. От бессилия и обиды хотелось крикнуть: да нет же нет я не такой вы меня совсем не знаете совсем не знаете вы как неизбежно одинок человек под этим равнодушным небом и в какие дали устремляется порой его бесстрашная мысль чтобы безвестно кануть в песках пустыни арктических снегах тропических джунглях. Но ничего такого он не говорил, оглядывая комнату и пытаясь угадать, какая же из четырёх кроватей — её. Все были одинаковые: с перекинутыми через никелированные железные спинки разноцветными полотенцами и рядомстоящими тумбочками, на которых лежали расчёски, шпильки, заколки, учебники по разным техническим наукам и одинаковые тетрадки с металлическими пружинками. В поисках ответа его мысль изнывала от жары, дрожала от холода и бесславно гибла, хватаясь за соломинку, протянутую солнцем в открытое окно. В общем подходила любая — у окна или у стенки. И, наверное, любую девушку из этой комнаты, из этой общаги он мог бы пригласить гулять, но почему-то выбрал её и ей придумал самое нежное из всех известных ему имён — Туся.

Они спускались прокуренной лестницей, на стенах которой изливали душу счастливые и несчастные влюблённые, восторженные и разгневанные футбольные болельщики и просто желающие лаконично выразиться. Ему тоже хотелось сказать ей что-то до боли важное, душераздирающее, как «Спартак» — чемпион», но таких слов он не находил. И они молча шли по тихим провинциальным улочкам с выцветшими плакатами «Мир, Труд, Май!» к Парку культуры и отдыха. И там, на скамейке под липами, сидели обнявшись и мечтали.

Он мечтал бросить институт, уехать из этого занюханного городка, из однокомнатной родительской квартиры, поднять паруса, отдать швартовый, свистать всех наверх и так держать, а потом, избородив моря и океаны, сойти на берег в шумном порту, поселиться в маленькой дешёвой приморской гостинице и написать книгу о морях и волнах, семи футах под килем и львиных сердцах без страха и упрека. Она слушала, готовая отправиться за ним хоть на край света, и задумчиво наматывала на указательный палец с обкусанными заусенцами длинную нитку, вылезшую из шва её шитого-перешитого платья.

Ещё они мечтали о доме. Правда, его дом был деревянный и стоял на опушке леса, а её — каменный на берегу моря, но это было неважно. Главное — там было много света, просторные комнаты и кабинет с большим письменным столом и книжными шкафами.

— А детская, где же будет детская?

Он закуривал, хмурил лоб и виновато улыбался, не зная, что ответить.

Летом он бросил институт и уехал. Ненадолго. Совсем ненадолго.

СНЕГИРИ

В конце января к нам во двор прилетали снегири. Рассаживались на голых чёрных ветках липы и звонко чирикали, словно опять новогодняя ночь и весёлые шумные гости чокаются шампанским, и оно искрится и пенится в хрустальных высоких бокалах. И словно опять приходил Дед Мороз и оставил под ёлкой подарок в золотистой тревожно шелестящей обёртке. И раскрасневшиеся родители переглядываются и смотрят на меня с нежностью и затаённой грустью. Важно выпяченные грудки снегирей ярко адели в дымном морозном воздухе, и липа на целый день превращалась в рябину.

Просто вспомнилось... Наверно оттого, что снова январь, и за окном — тускло освещённая рыжими фонарями унылая чужая улица. Выпал снег, и дворник лениво скрёбет по асфальту лопатой. Редкие прохожие, подняв воротники, спешат домой, в уютное насиженное тепло. И одиноко звенит в ночи пустой трамвай. И на губах — привкус гөречи. Должно быть, от сигарет.



Рис. Ю. Филипчук

ЖИВОЕ СЕРДЦЕ

Думал, вот уеду — всё как-нибудь и забудется. Поживу в деревне. Стану сидеть у окна, смотреть, как проплывают по реке утки и облака и склонившись стоит у берега плакучая ива. Одна за одной убегают волны, и ветер треплет похожие на водоросли ветви с узкими серебристыми листьями, ещё ниже пригибая иву к воде, и её отражение, словно привязанное, покачивается в прибрежной ряби. Думал, забудется...

Комната тонет в пепельных сумерках. Ты сидишь на смятой постели, обхватив колени руками, съёжившись, будто от холода. Я хотел с порога во всём тебе признаться. Но ты так обрадовалась, когда я вошёл. Прямо в дверях кинулась мне на шею. Крепко прижалась и, задыхаясь и дрожа всем телом, что-то жарко зашептала на ухо. И я снова мучительно ощутил твой родной пьянящий запах. Не помня себя, поймал твои тёплые мягкие ищущие губы, скользнул рукой по спине и привычным движением легко распустил узелок на тесёмках твоего ситцевого хаалата...

Торопливо натянув джинсы и свитер, я вытряхнул из пачки сигарету и закурил.

Дым змеится по комнате, окутывая сизой пеленой высокие, до потолка, книжные полки и антикварный туалетный столик, купленный тобой на всю первую зарплату. Щиплет глаза. И в призрачном

дымном полумраке твои короткие мальчишеские волосы кажутся распушенными седыми локонами. Сквозь открытые шторы льётся холодный неоновый свет уличного фонаря. И, как безумная, качается за оконными стёклами голая чёрная ветка клёна, бессильно цепляясь за карниз. Молчание становится невыносимым.

— Но ты ведь сама всегда говорила: если что, я узнаю об этом первым. И от меня требовала того же. Разве лучше было бы изворачиваться и врать?!..

А где-то месяца через два я почти случайно заглянул в то кафе на бульваре, твоё любимое. Было холодно и неприятно. Толкнув тонко звякнувшую колокольчиком дверь и на ходу сбивая с ботинок грязный мокрый снег, я, то ли в оправдание, то ли в ободрение себе, подумал: отчего бы, и правда, не выпить *для сугреву и бодрости духа* молодому и снова свободному мужчине?

Ты сидела в углу, за нашим столиком. Оживлённо болтала с каким-то бритоголовым, спортивного вида парнем в косухе. Он старательно слушал, набычившись. Заметив меня, ты едва улыбнулась уголками губ и приветно махнула рукой, будто старому приятелю. Я даже не сразу кивнул в ответ — так непривычно было видеть тебя с другим. И сама ты очень изменилась: отпустила волосы, покрасилась в ярко-рыжий цвет, немного осунулась и как-то повзрослела.

Это потом я узнал от нашей общей знакомой, что ты опилась таблеток — хотела всё решить одним махом. А когда не получилось и уже выпустили из больницы, вроде бы успокоилась и, по совету более опытной подруги, обратилась к проверенному частному специалисту. И он сделал что надо на дому, чисто и аккуратно.

...С улицы доносились редкие звуки: скрип колодезного журавля, плеск воды, залихватский захлёбывающийся лай, огненный крик петуха. Скоро я перестал их замечать. Лишь неясный шорох беспокоил по временам. Наверно, мыши шалят.

За окном в вечернем тумане потонули последние дневные звуки, и я пристальней вслушался в тишину дома — шуршало в печке. Я открыл холодную заслонку, чиркнул спичкой и заглянул внутрь: из темноты мерцающими бусинками глаз на меня смотрел почерневший от сажи, взъерошенный воробей. Видно, залетел через дымоход, бедолага.

Я протянул руку, чтобы вытащить его, но он отчаянно заметался в клубах слежавшегося пепла. После долгих попыток мне наконец удалось его поймать. Он замер, ожидая последней роковой минуты, и я почувствовал, как судорожно забилося у меня в кулаке его маленькое испуганное живое сердце.

КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ

Бывают минуты, часы, да что там — дни, месяцы, годы, когда мечтаешь затеряться на вокзале в толпе, сесть в поезд и уехать, куда глаза глядят. Мечтаешь дни, месяцы, годы. И вдруг — стоп-кадр, и отчетливо видишь, что ехать некуда и, куда бы ни глядели глаза, всюду разлит убаюкивающий кладбищенский покой.

В сущности, кладбище — тот же вокзал: теснота, пестрота, цветы, слёзы и лица, лица. Только все отбывают в одном направлении, и никто не обещает вернуться, не говорит: я приеду, скоро, очень скоро. Скоро-скоро — стучат поезда, скоро-скоро — отвечает им сердце.

Ты уехала, а я всё приходил на вокзал провожать тебя, воспоминания о тебе...

Сонно плещется у берега море. Обрывки фраз, смех, крики тонут в шуме прибоя. Ты сидишь на песке, капли искрятся на загорелой коже, в тяжёлых влажных волосах струится дремучий сумрак. Солнце и ветер вступают за тебя в поединок. Ты всматриваешься в слепящую пустоту горизонта и, кажется, ждёшь ответного взгляда.

очень жарко хотите мороженого чудный вечер хотите вина о чём вы думаете чему улыбаетесь почему так смотрите вы устали я провожу о чём вы почему что ты что ты подожди-подожди я скоро скоро-скоро — стучит сердце скоро-скоро — отвечают ему поезда

Прошло уже много лет, как я стою на перроне, машу на прощанье рукой незнакомым людям. Окна вагонов мелькают, словно кадры кинохроники. Вон то грустное женское лицо могло бы стоять в рамке у меня на столе, тот мужчина мог быть моим другом, соперником, та девочка — моей дочерью. Пиши, не забывай. До свидания, до свидания. Прощай навсегда.

И никому ни слова, ни поцелуя... Поезд прибывает на путь, отправляется с платформы, просьба провожающих покинуть встречающих.

И я покинул. Теперь хожу на кладбище, где вечные проводы и много таких, как я: поезд давно ушел, а они все стоят и машут на прощанье. Здесь все заодно. На похоронах можно приложиться к холодному лбу покойного, шепнуть ему: «счастливого пути, брат», и никто не отшатнется, не скажет: «я вас не знаю». Разве что родственники недоуменно пожмут плечами. Можно сесть на скамейку у любой могилы, словно перед дальнейшей дорогой, помолчать, глядя на овальную фотографию раба божьего, рабы божьей. Вон то грустное женское лицо, тот мужчина, та девочка — могло бы, мог бы, могла бы...

Помнишь старика в кафе на набережной? Он приходил каждый вечер в одно и то же время. Выпивал свой кофе и ставил чашку на блюдце вверх дном. И после пристально и отрешённо, точно вслед уходящему поезду, глядел в сумрак кофейной гущи. Расплачиваясь, всякий раз говорил официантке: «Прощайте, бог знает, доведётся ли ещё встретиться».

— Интересно, что он там видит?

Я промолчал, тогда мне было всё равно.

А сегодня, сегодня надо мной, над тобой, надо всеми проплывают облака, гружённые ливнями и грозами, несбывшимися мечтами и надеждами, и кто-то выглядывает из-за туч или показалось... До свидания, до свидания. Прощай навсегда.

КАК Я СТАЛ САМИМ СОБОЙ

Я старался ни о чём не думать. Ни о чём. Это нетрудно, когда сидишь на веранде отеля, пьёшь кофе и смотришь на море. Шумит прибор. Шелестят на ветру платаны. И небо синее над головой, чистое, ясное, ослепительное до слёз. И ничего кроме этих слёз. Ничего. Только дым сигареты, дымка воспоминаний...

Это было в Алуште, в те времена когда ты, когда я, когда мы ещё... Каждое утро на берегу, у самой кромки воды, появлялась неслепая процессия, ставшая за долгие дни такой привычной, — молодая медсестра ведёт на пляж группу даунов. В тяжёлом сумраке волос, в изгибах, извилах, излучинах юного тела — безмолвное бесконечное торжество природы. Волны ластятся к загорелым стройным ногам, словно признавая в ней старшую сестру, сестру жизни и смерти, сестру милосердия. И послушно семят за ней эти рождённые стариками вечные деги, и что-то лопочут на своём птичьим языке.

— О чём они говорят, как ты думаешь?

— Я думаю, что ты уже которое утро прямо на моих глазах бесстыдно пялишься на эту девицу.

...Я смотрел на море. Волны накатывали издали и убегали обратно. Каждую хотелось встретить и проводить до буйка, до вставшего на якорь корабля, до горизонта и дальше, туда, где не осталось больше неизведанных земель, незнакомых народов, никаких тайн. Туда, где не осталось уже ничего, и там — сидеть на веранде отеля, пить кофе и шептаться с пустотой на птичьим её языке.

ПОДЛЕЖАЩЕЕ, СКАЗУЕМОЕ, ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ

Я хотел рассказать ей простую историю из своего школьного детства. Простую историю простыми школьными словами. Подлежащее, сказуемое, второстепенные члены.

В первом классе было у меня два друга. Один и другой. Костик и Тёма.

Вот так немного иронично, ни к чему не обязывающе, как теперь модно. При знакомстве ведь всегда что-нибудь рассказывают, чтобы ближе узнать друг друга. Особенно если серьёзные намерения. Возраст-то уже — не мальчик. Конечно, семью на учительскую зарплату не прокормить, но если репетиторствовать...

Один и другой, два друга, — вполне достаточно для незатейливой истории из школьной жизни.

Костик был большой, нескладный (насколько можно быть большим и нескладным в первом классе) и рос без отца, со старой богомольной бабушкой, почти не выходявшей из своей комнатки, и эмансипированной мамой передовых взглядов, занимающей активную общественную позицию. Тёма тоже рос без отца, но, в отличие от Костика, отец у него всё-таки был и не просто отец, а капитан дальнего плавания. Правда, никто того капитана не видел, но дока-

зательством его существования служили заморские наряды Тёминой мамы, здоровенный наручный компас и южный загар Тёмы — он пришёл в школу загорелый, подтянутый, с улыбкой морского волка на лице, и сразу понравился девочкам и нашей первой учительнице. Костик девочкам и учительницам, ни первой, ни всем последующим, не нравился, потому что на уроках грубил, а на переменах обзывался дурами.

С Тёмой я дружил немного больше — он тоже собирал марки, хотя и не по искусству, и любил книги о путешествиях. А Костик любил хоккей и жил по-соседству, поэтому мы вместе возвращались домой и обсуждали хоккейные матчи. Приходилось их смотреть, что-бы Костику не было со мной скучно.

Зимой я надолго заболел. От того времени в памяти осталось высокое больничное окно, и в нём огромное серое безжизненное небо, и голая обледенелая ветка тополя нервно раскачивается на ветру. И ещё — я сижу с ногами на подоконнике (это когда уже зажили швы после аппендицита и разрешили вставать) и машу на прощание родителям; сверху они кажутся совсем маленькими и несчастными, растерянно топчутся на снегу и, задрав головы, машут мне в ответ.

В школу я вернулся бледный, осунувшийся и словно всем чужой. Первым ко мне подошёл Костик и сказал, что хорошо, что я выздоровел, потому что ему надо сказать мне что-то важное, что касается только нас двоих, в общем, Тёма нас обманул: никакого отца у него нет, а компас, которым он хвастал, стянул у соседа.

Тёма стоял у окна, пристально изучая нецензурные надписи, вырезанные на подоконнике. «Это правда, что Костик сказал?» Тёма ничего не ответил. Просто грустно усмехнулся и вразвалочку зашагал от меня по коридору. Значит, правда, подумал я. За окном робко зеленели нежные, тоненькие, как бритвочки, весенние листочки и щебетали суетливые воробьи, словно во дворе шла игра в «орёл или решка» и кто-то тряс на удачу горсть медяков.

С Костином мы всю школу ходили вместе домой и говорили о хоккее. И почти десять лет просидели за одной партией, пока ко мне не пересела Танька. До этого, правда, была ещё история с одной девочкой. Не помню, как её звали. Она только перешла к нам. (Её отец был какая-то партийная шишка, и в наш город его перевели то ли на повышение, то ли в наказание.) Тихая, задумчивая, любила стихи. С детскими ещё косичками, не то что наши халды расфуфыренные, и с кроткой, будто извиняющийся улыбкой. Я несколько раз провозжал её домой. И тут вдруг Танька... Утром, как обычно, за секунду до звонка, влетаю в класс, а она сидит на месте Костика, будто ни в чём не бывало, и уже по-хозяйски разложила свои учебники, тетрадки, открыла пенал с запасными ручками, разноцветными фломастерами для подчёркивания, карандашами и ластиком. Я и рта раскрыть не успел — за мной следом математичка вошла. Второпях садясь за парту, я поймал на себе Тёмин холодный уничижительный взгляд.

Подлежащее, сказуемое, второстепенные члены.

С Танькой у нас ничего путного не вышло. Она после школы выскочила замуж за нового русского и, пока его не подорвали в собственном лимузине, успела родить троих детей.

Тёма поступил в мореходку, стал помощником капитана подводной лодки и много где побывал под водой. Но после развала Союза оказался на берегу, заперся у себя в холостяцкой комнатёнке в офицерском общежитии и запил по-чёрному. А когда однажды прекрасным летним, или отвратительным зимним, или неважно каким утроеднёвечером протрезвел, то надел пылившийся в шкафу китель с холодно позвякивающими наградами от командования за отличную боевую и политическую подготовку, прицепил кортик, застегнулся на все пуговицы и при полном параде выстрелил себе в висок из наградного ТТ.

Костик преуспевал на вещевом рынке, заходил ко мне на чай — поболтать о хоккее, пожаловаться на нечистых на руку компаньонов, неверных баб и одиночество. Как-то я сказал ему: «Костик, возьми, говорю, котёнка, вон у нас в подъезде прибудился. У меня собака, а тебе как раз живая душа». Он взял. И через три дня выкинул на улицу: «Всю квартиру изгадил, паразит».

...Что стало с той нашей новенькой, я не знаю. Но последнее время почему-то часто её вспоминаю.

В ТЕМНОТЕ

— Знаешь, в детстве за провинности отец запирали меня в ванную комнату. И выключал свет. Наверное, такое наказание представлялось ему достаточно строгим — ведь я панически боялся темноты, так что даже засыпал при включённой лампе. В ванной было совсем темно, темнее, чем сейчас, с зашторенными окнами. Я весь дрожал, меня бил озноб, как в лихорадке. И я едва мог шевельнуться, страшась провалиться в обступившую меня бездонную непроглядную черноту. Кое-как нашарив край раковины, я вцеплялся в него изо всех сил. Раковина была гладкая и холодная, но под ладонью немало теплела. Или это я привыкал к холоду? Не знаю. Но мне начало казаться, что я не один, что я стою в этой крошечной тьме и держу кого-то за руку. Было уже не так страшно, и я почти не плакал... Понимаешь?

— Понимаю-понимаю. Давай спать, уже поздно.

САПОГИ

Дверь сарая распахнулась со скрипом и косо повисла на ржавых разболтанных петлях. На утоптанной бугристой земляной пол легла солнечная полоса, вся задымившись от поднятой пыли. Глаза быстро привыкли к сырой полутьме.

— Это вот сарай. Тут дрова, если понадобится. Печку топить. Инструмент всякий, от мужа остался. Там вон лопаты, грабли. Может, огородничать вздумаете. У нас земля добрая, всё прям само так и прёт.

— Ой здорово, — по-детски обрадовалась мама. — Я укропа посажу. И ещё всякой зелени. Можно?

У стены расколотыми волокнистыми боками смутно белели берёзовые поленья. В углу были свалены лопаты, вилы, грабли, тяпки. Над их отполированными до блеска черенками нависало жуткое лезвие косы. На толстом гвозде, точно удушенный, болталась длиннополая потрёпанная солдатская шинель и поверх неё — серая кепка с надломленным засаленным козырьком. Рядом — верстак, полка с инструментом: рубанок, молоток, ножовка, стамеска, отвёртки, напильники лежали, словно вчера оставленные.

Под верстаком стояли кирзовые сапоги. Пятки вместе, носки врозь. Голенища, затянутые паутиной, были похожи на две почерневшие заводские трубы, торчавшие в окне моей детской, и доходили мне почти до пояса.

— Ладные кирзачи, — уважительно протянул отец. Не расшнуровывая стацил свой парусиновый штиблет и, смешно балансируя на одной ноге, стал просовывать другую в сапог: — Вспомним-ка армейские будни.

— Да ты разве служил? У тебя же бронь была.

— Служил-не служил, много ты понимаешь. Я на сборы ездил. Лейтенант запаса, между прочим. Нет, не мой размер, маловаты.

— Это мужнины. Он из армии вернулся, мы сразу и поженились. Работать пошёл в колхоз, механизатором. Получал хорошо. Всё говорил вечерами: вот, Зина, справлю себе кирзачи, как у нашего прапорщика, сносу не будет, слезем с тобой с печи да всю нашу округу исходим, а там и в соседнюю область, и дальше, нигде ведь не были, ничего не видали, акромья молотилки да коровника. Месяцев несколько в районцентр ездил, присматривал. И после чего-то мудрил с ними. Подошву какую-то специальную выискивал, подбивал, начищал ваксой. Только и поносил-то всего ничего... Выбросить давно пора, да рука не поднимается.

Мы приезжали сюда каждое лето. Дом был добротный. Срублен на славу. И мама не могла нарадоваться, до чего разумно всё устроено.

— Сразу чувствуется — хозяин, для себя делал. В жару прохладно, в холода натопишь — и хоть босиком ходи. А печка какая! Настоящая, русская: и готовить можно, и пироги, и спать на полатах — поясницу прогревает лучше всякого барсучьего жира!

— Это что, раньше в деревнях тут и мылись, парились прямо в топливнике, — наставительно замечал отец.

Маме дом очень нравился. Две просторные светлые комнаты, уютная кухня, большая веранда. Она даже заставила отца покрасить его, чтобы не прогнил. Я помогал: переливал из банки в ведро густую вишнёвую масляную краску, разбавлял олифой и смешивал сухой палочкой, вымачивал кисти, подавал валик, придерживал шаткую деревянную лестницу.

Отец потом несколько дней оттирал руки ацетоном и ворчал.

— Зачем красить чужой дом, не понимаю? И наличники, видите ли, обязательно белым... Стоит себе и пусть стоит. Всё равно она его не продаст — из вредности и страха продешевить. Только лишние траты.

Я подолгу торчал в сарае. Возился с инструментами, пытаюсь что-нибудь мастерить или чинить — табуретку, лавку, полку. Строгал, пилил, сбивал. Вырезал из осиновых брусков корявые бесполезные ложки. Или медведя, зайца, волка... Получалась, правда, почти всегда какая-то неведома зверюшка, и пристально и строго глядела на меня своей изуродованной мордой. Притаскивал из берёзовой рощи брёвнышки, распиливал, колол на дрова и складывал в небольшую поленницу. Упарившись, потирая загрубевшие руки, садился отдохнуть на толстую колоду. В ушах гулко стучала кровь. Ныли плечи. Сладко пахло свежим деревом. Из щелей в стене тянулись дымные лучи. Под скошенной, крытой рубероидом крышей дремотно жужжали осы, кружа вокруг своего гнезда, похожего на погасший серый китайский фонарик. Возвращаясь в дом к обеду, я деловито спрашивал у матери, не надо ли чего по хозяйству.

Она просила колышки для парника. «К ночи, говорят, похолодает. Боюсь, огурцы бы не пропали. Надо накрыть». Она завела целый огород с идеально ровными грядками, ежедневной поливкой и прополкой. И входя в комнату, где отец, полулёжа на промятой кровати с железными спинками, тихо задрёмывал за кроссвордом или прошлым годом выпуск «Советского спорта», всплёскивала руками и чуть не со слезой в голосе восклицала: «Посмотри, какая морковка! А кабачки, а патиссоны? Что мы со всем этим делать будем?!»

Первый раз примерив сапоги, я в них просто утонул. Нога скользнула по гладкой кожаной стельке, и я еле удержал равновесие. Я снял тяжёлый сапог и перевернул, чтобы рассмотреть подошву. Она вся была подбита мелкими блестящими гвоздиками и нигде не стёрлась, как новая. Толстая, глубоко рифленая, с хитрой набойкой и массивным каблуком, она оставляла на земле особенный след, ни с каким не спутаешь.

Сапоги ещё немного болтались на ноге, даже с шерстяным носком, когда я взял их с собой осенью в школьный поход. Одноклассники завистливо поглядывали: «Знатная вещь. Где надыбил?» И Рита как-то иначе стала со мной разговаривать, и вечером подседа у костра, и близко придвинулась. Мы прошли тогда по маршруту километров тридцать, и я в кровь растёр ноги.

Сносу им, и правда, не было, ни в дождь, ни в жару, ни в холод. Ни в пыли, ни в грязи. Только со временем немного переломились на сгибе, и приняли какой-то удивлённый вид — будто морда неведомого зверя...

— Давно пора их выбросить. За грибами он будет ходить... Путешественник! Ты в лесу-то последний раз когда был? Захламил мне весь балкон. У других мужья как мужья...

Я не обращаю внимания, пусть ругается. Она всегда такая, если сильно не в настроении.



Илья ИОСЛОВИЧ

/ Хайфа /



* * *

Когда уже пуста корзинка,
Тогда в преддверии зимы
Ночами промышляет Зинка,
Мы очень все удивлены.

Была примерная подруга,
Но постепенно сходит с круга,
И место, что известно вам,
Все называют ЗИНКИНСДАМН.

Послать вас может Зинка на фиг,
Но здесь везде шныряет викинг,
А викингу откуда знать,
Что может Зинка показать...

Итак, живу пока в Стокгольме,
Ты ж как принцесса Маргарет
Вольнолюбива и спокойна,
Составь же мне компаниет.

* * *

«И весь в черемухе овраг...»
В. В. Набоков

«Когда войдешь на родине в подъезд...»
И. А. Бродский

Те, кто возвращаются из страны теней,
Не выглядят симпатичней или умней,
И когда переправляются назад через Стикс,
Их лица дергает нервный тик,

И когда они входят в империю зла,
У них под ногами хрустит зола.
Хотели бы мирно лежать меж дубрав,
Хотя бы и без гражданских прав...

* * *

В. Кострову

Ликуют у дымных костров
Забывшие богом славяне.
Я вижу — меж ними Костров,
А дальше одни деревляне.

Давно он окончил химфак,
Как ранее Маргарет Тэтчер,
Одно не пойму я никак —
О чем он все время лепечет.

* * *

Люди видят во сне дневные поступки
И совершают их по-другому,
Порой совсем по-другому.
И они кричат и машут руками,
Потому что это связано с отчаянным криком,
А иногда с большим мордобоем.
А их домашним смешно видеть
Эти метанья и бормотанья,
И они не знают,
Что это совершаются большие поступки,
К которым надо относиться с почтением.

* * *

Терпеть униженья,
Скользить между пальцев,
Какие движенья
У бедных страдальцев,
Какое мученье
Валять дурака
Сперва понемногу
И после слегка.

* * *

Все сохраняет прежний вид,
Рассвет приходит и уходит,
Звезда с звездой говорит
И ничего не происходит...

Еще в Швейцарии живу,
Еще на скрипочке играю,
Под дверью почту нахожу
И никого не убиваю...

* * *

Н. Горбаневской

Подарите мне со временем собаку,
Ярко-синюю со временем собаку,
Буду холить и ласкать свою собаку,
И слезами поливать свою собаку.

Вот и вырастет собака пребольшая,
Ярко-синяя собака и большая,
И с хвостом и с распрекрасными ушами,
Как у Владика Егорова¹ ушами.

* * *

Я прикажу поднять свой флаг
И вылезу наверх,
Где абордаж зажал кулак
И белый свет померк.

Плыви вперед, мой Телемак,
На море зыбь, на небе мрак.

* * *

В. А. Генкину

Пустая сцена, дождь идет,
Окончился спектакль,
Блеск молнии, и взад-вперед
Летает птеродактиль...

И жизнь, зажатая в углу,
И вся труха на вынос,
И я не думаю к утру,
Что кто-то это вынес.

* * *

Полопались барабаны
И трубы давно хрипят,

¹ В. Егоров — ныне покойный журналист и писатель, окончил филфак МГУ, работал в газете «Правда».

Знамена идут на портянки,
Кончается наш парад.

А мы начинали бодро,
И рады были вполне,
И ехало руководство
На голубом коне.

И заливались флейты,
Шли знаменосцы в ряд,
Знамена идут на портянки,
Кончается наш парад.

* * *

Ты пробиваешь мой билет,
Я проживаю свою жизнь
И доедаю свой омлет,
Когда вокруг кричат — ложись!

* * *

Когда русской науке пришел карачун
И накрылись программы, как шкурами чум,
Вы тогда же завыли, как волки,

Будто Балтики тот прописной депутат
Под рефлексы собак свой закрыл наркомат,
Стог стоит, но исчезли иголки.

Покорив целый мир тарактенъем АК¹
Вот с дрекольем идет на врага ВПК²,

Полыхают горячие точки
И еще это только цветочки.

* * *

Вот теперь у нас собакин —
Он такой, он такой,
Замечательный собакин,
Он смешной, он смешной,
У него такие уши,
Вот они, вот они,
Он умеет бить баклуши
В наши дни, в наши дни.

¹ АК — автомат Калашникова.

² ВПК — военно-промышленная комиссия при Совете Министров СССР.

Алла ДУБРОВСКАЯ

/ Нью-Йорк /



ОДИНОКАЯ ЗВЕЗДА

Дорога, ведущая в наш город, начинается далеко на западе. Сначала она идёт через пустыню Мохаве, поросшую седыми кактусами. Говорят, летом здесь так жарко, что дожди пересыхают прямо в воздухе, не достигая песчаной земли, зато весной пустыня покрывается ярким оранжевым ковром, простирающимся до горизонта. Потом дорога поднимается выше и вьётся асфальтовой лентой через лунный пейзаж Аризоны. То расширяясь, то сужаясь, она взбирается на плоскогорье Нью-Мексико и стелется к волнистой линии гор на горизонте, за которой лежат прерии Техаса. И дальше, дальше посреди выжженной травы, под высоким голубым небом, обдуваемая всеми ветрами, дорога тянется на восток к гигантским многоярусным развязкам Оклахома-сити.

В раскаленном мареве лета днем и ночью по хайвэю несется поток машин в обоих направлениях. Зимой к привычному равномерному шуму трассы добавляется скрежет снегоуборочных машин. Люди, живущие всего в миле от дороги, привыкли к этому незатишающему гулу. По утрам он усиливается, ночью немного стихает. Это гул бесконечности, ибо бесконечно движение машин, несущихся по бетонной глади всё дальше и дальше на восток к благословенным зеленым полям и горам Арканзаса, от которого уже рукой подать до нашего города.

Обычно водители заезжали в Мейзон-сити по ошибке, делая лишний поворот после указателя на столицу нашего штата. У первой же заправочной станции, спросив дорогу, они разворачивались и, даже не взглянув на достопримечательности городка, проносились по его Главной улице к повороту, ведущему назад на хайвэй. Да у Мейзон-сити и не было никаких достопримечательностей. Главная улица с почтамтом, развевающийся флаг над мэрией, памятник ветеранам всех войн напротив банка. У города был свой шериф с тремя помощниками, похоронный дом, церковь и заведение для престарелых — длинное одноэтажное зда-

ние, напоминающее барак, приютившееся возле небольшого парка с бассейном для всех желающих освежиться в его прохладной насыщенной хлором воде.

Уже к концу июля в воздухе повисала усталость от каждодневной беспощадной жары, не спадающей даже по ночам, сжигающей зелень деревьев и плавящей асфальт под ногами редких прохожих. Говорят, наш город основали лютеране. Длинные суконные сюртуки и юбки, преимущественно черного цвета. Кажется, так были одеты люди, прибывшие в Новый свет из Европы. Обливаясь потом, они вгрызались в землю, выращивали урожай, строили церкви и поселения вокруг этих церквей, прокладывали дороги, продвигаясь вглубь страны, ставшей им родиной. Несколько гравюр, развешанных в приемной мэра, напоминали горожанам о героических усилиях их предков. Многие ушло в прошлое безвозвратно. Исчезли хлопковые поля, закрылась ткацкая фабрика, корпуса которой до сих пор стоят на окраине города, поблескивая на солнце сохранившимися кое-где окнами. Городок то пустел, то пополнялся новыми жителями. В конце концов, близость к столице штата сыграла свою роль. В Мейзонсити стали селиться люди, которым столичная жизнь была не по карману. От Главной улицы ответвились боковые улочки, застроенные домиками с верандами и зелеными лужайками. В ранние утренние часы вереница автомобилей тянулась к повороту на хайвэй: жители городка разъезжались на работу. По вечерам автомобили возвращались и посадушно замирали, припаркованные возле домов своих владельцев. Говорят, автомобили, как собаки, приобретают черты хозяев. В городе предпочитали недорогие американские модели — надежные и простые в управлении. Это были машины-трудяги, часто с помятыми капотами и натруженными колесами. Такими же простыми и надежными были и их хозяева. И хотя стены белых домиков могли хранить кое-какие тайны, у людей, живущих в Мейзонсити, не было сложных отношений с Богом. В труде и заботах проживали они свои незатейливые жизни, а когда умирали, ангелы — посланцы Божьи, с легкостью находили их души.

Неподалеку от заведения для престарелых, а проще говоря — богадельни, расположилось другое одноэтажное здание с надписью “Похоронный дом Фирелли и сыновья”. Трудно сказать, было ли это соседство случайным или продиктовано интересами наследственного бизнеса семьи Фирелли. Так или иначе, обитателей заведения совершенно не интересовали люди в черном, появляющиеся время от времени у дверей похоронного дома. Вынос виновника “торжества” был продуманно скрыт забором, за который позволялось въезжать только черному катафалку с золотой эмблемой похоронного дома на бортах. Ни один звук не проникал из-за закрытых дверей.

Когда-то давно Мэри Баверсток в поисках своей кошки вступила на эту таинственную территорию, откуда была немедленно выдворена вежливым господином в униформе. Вслед за этим директриса получила предупредительный звонок от одного из Фирелли с просьбой к обитателям богадельни не вторгаться в пределы чужой собственности. Недоразумение было улажено, кошка нашлась, а напуганная Мэри даже и думать не смела о последующих нарушениях территориальных владений соседней.

Одним субботним утром четыре надраенные пожарные машины в сопровождении полицейского эскорта подъехали к похоронному дому. Высыпавшим во двор обитателям заведения открылась невыносимо торжественная и печальная картина. Машины продолжали прибывать. Улица заполнилась людьми в парадных мундирах. На всех были белые фуражки и белые перчатки. Потом появился американский флаг, у которого встал караул. Волынка затянула “Amazing grace”¹.

Все замерли. На этот раз катафалк остановился перед дверями, и всем был виден обтянутый флагом гроб, который торжественно внесли в распахнутые двери похоронного дома.

Толпа молча проследовала за гробом. Было ясно, что хоронят какого-то героя, скорее всего, пожарного. Директриса обещала узнать его имя. Обитатели заведения стали потихоньку расходиться. Во дворе остался взволнованный Рэй, который хотел досмотреть последнюю сцену этого представления. Через час гроб вынесли. Теперь ему предстояло проделать последний путь на кладбище. Образовалась длинная колонна, во главе которой ехал мотоциклетный эскорт с сиреной, за ним следовал катафалк, затем пожарные и полицейские машины и уж потом — все остальные. Впереди колонны на мотоцикле мчался полицейский в голубой каске. Последнее, что видел Рэй, как тот, притормозив на перекрестке, жестом римского императора остановил поток машин. Еще минута — и вся колонна скрылась из вида.

“Д-а-а-а-а, — подумал Рэй. — Меня так хоронить не будут”.

Он послонялся по двору в поисках прохлады, косясь на раскаленную скамейку, к которой даже прикоснуться было невозможно. Наконец, ему попался какой-то ящик. Теперь осталось найти хотя бы ничтожную защиту от палящего солнца. Рэй подтащил ящик к узкой полоске тени у самой двери в заведение. Можно выкурить сигаретку. Больше делать решительно нечего.

Сидя на ящике в насквозь промокшей от пота футболке, Рэй впал в оцепенение. Ему привиделась черная лента дороги, тянущаяся к горизонту. Жарко.

— Надо поскорее убираться отсюда, пока нас не накрыла песчаная буря, — говорит па. — Боюсь, как бы мотор не перегрелся. У нас осталось немного воды, Рэй?

— Рэй, да Рэй же! Ты что — не слышишь? Помоги же мне, черт бы тебя побрал!

Из дверей заведения пытается выехать Ромео в своем инвалидном кресле. Кресло застряло, и Ромео взывает к Рэю о помощи. Тот неторопливо поднимается со своего ящика и выталкивает кресло во двор. Ромео поджидает фургон с мороженым, обычно появляющийся на улицах городка в это время.

Ромео на самом деле Александр Флинт. Свое прозвище он получил за своеобразное пристрастие к женскому персоналу. Старика одолевали поносы, но почему-то только во время дежурства хоро-

¹ Amazing grace (Эмейзинг грэйс) — религиозный гимн, исполняемый во время похорон.

шеньких санитарок, которым приходилось чуть ли не каждый час менять его памперсы. Обмывание задницы тоже входило в этот печальный ритуал. Хитрый Ромео похрюкивал от удовольствия, пока несчастная жертва смывала вонючую массу с его тощих ягодич. И только все повывавшая на своем веку повариха Пэт, учув очередную волну вони, исходящую от Флинта, легонько шлепала его по лысине:

— Ну что, милоч, опять обосрался! А ну-ка, отправляйся в свою комнату и приведи себя в божеский вид.

Но даже этот шлепок вызывал у Ромео поток приятных ощущений. Счастливо улыбаясь, он гордо направлял свое инвалидное кресло в ванную, распространяя нестерпимый запах по всему коридору.

Рэю кажется, что под раскаленным солнцем старик смердит еще сильнее. Он оставляет Ромео во дворе, а сам открывает дверь барака.

“Говно — оно везде говно, — думает Рэй, — и воняет оно везде одинаково...”

От запаха богадельни невозможно избавиться. Это запах человеческой немощи: старых больных тел, скопившихся в длинном одноэтажном здании с закрытыми наглухо окнами и плоской крышей. Два вентилятора, похожие на ветряные мельницы, с шумом месят воздух. Коридор в бараке покрыт старой ковровой дорожкой, по которой прогуливается Нелли Гаджет, гордо неся протез нижней челюсти в руке. В другой руке у нее большая хозяйственная сумка, набитая бумажными салфетками. В её волосах бант. Нелли глуха и не слышит грохота вентиляторов. Других обитателей барака жара и шум разогнали по разным углам. Кошка Маффин забилась в подвал, ее хозяйка Мэри Баверсток пишет письмо Стиву Паддоку в госпиталь, куда тот угодил вчера, получив тепловой удар.

Стив так и не прочитает ее письма. Он умрет еще до того, как она аккуратно оближет край конверта и заклеит его, прихлопнув ладошкой. В письме написано: “Дорогой Стив! Как твои дела? У меня все в порядке. Целую. Твоя Мэри”.

Стив прожил свою жизнь тихо и почти безрадостно. Клерк в небольшой адвокатской конторе, некрасивая, но преданная жена, домик в Мейзон-сити. Двое детей. Один внук.

И если ему удалось накопить немного денег на старость, то только благодаря невероятной бережливости жены. Каждый вечер после ужина они подсчитывали свои доходы. Даже один сбереженный доллар вызывал улыбку счастья на его лице. Любая непредвиденная трата приводила в отчаяние и депрессию. После смерти жены, болезнь которой, в конечном счете, их и разорила, что-то надломилось в Стиве. Когда уже не осталось ни одного сбереженного доллара, он продолжал подсчет, сидя в одиночестве в своем домике. Теперь Стив подсчитывал каждую прожитую минуту, аккуратно записывая цифры в тетрадку. А поскольку ход времени неостановим, задача его была невыполнима. Трудно сказать, что именно свело его с ума. Вполне возможно, что ужас перед неотвратимостью Времени. Так или иначе, дети, продав домик и заплатив взнос, отправили Стива в заведение. В заведение это сбрасывались все, кому больше нигде не нашлось мес-

та: немощные старики и старушки вперемешку с тихопомешанными. Персоналу строго запрещалось осуждение родственников, решивших таким образом избавиться от своих близких. Скорее наоборот, им полагалось сочувствовать. Считалось, что такие решения не даются легко: тут нужны поиски, раздумья и сомнения. Побеждал, как правило, здравый смысл, заглушавший терзания совести.

Жизнь Мэри Баверсток была абсолютно безмятежна. Несмотря на с детства поставленный диагноз “слабоумие”, она рано научилась писать. Бог знает от кого забеременевшая мама родила ее в шестнадцать лет, что было рановато, зато к этому времени она уже успела прочитать “Американскую трагедию” Драйзера и решила, что справится сама с воспитанием своей дочери. Время было тяжелое. Стояла Великая депрессия, но над юной грешницей сжался пастор и пристроил ее служкой в приход. Так Мэри и прожила до самой старости при лютеранской церкви. Распевая псалмы и разглядывая буквики в Библии, она научилась читать, а ее любимым занятием было писание писем. Всю свою жизнь она писала одни и те же письма, неизменно осведомляясь о самочувствии адресата и сообщая о своих неизменно благополучных делах. Ритуал дополнялся приклеиванием марки и запечатыванием конверта. Мэри понятия не имела о том, что на конверте нужно указывать адрес и ограничивалась старательно выводимым именем адресата. Свои письма она относила на почту. Самое интересное, что письма эти всегда принимались на почте с обещанием скорейшей доставки адресату. Дальнейшая их судьба никогда не интересовала Мэри.

Когда Стив узрел её в городском бассейне, расположенном невдалеке от заведения, где спасаясь от жары, Мэри плавала в голубом купальнике с распущенными по плечам седыми лохмами, он полюбил ее последней старческой любовью. Мэри ответила взаимностью. Их любовь была трогательной, но краткой. На удивление директрисы, опасавшейся нервного срыва своей пациентки, Мэри перенесла смерть Стива легко. Написав ему письмо, она тут же его забыла.

Пройдя по коридору мимо столовой и раскаленной кухни, Рэй открывает дверь в свою комнату. В комнате две кровати и шкаф с незакрывающейся скрипучей дверцей. Здесь нет даже вентилятора. Тумбочки возле кроватей завершают скудное убранство. На тумбочке Джулиуса, соседа Рэя, стоит фотография его семьи. Джулиус в костюме и галстуке. Рядом улыбающиеся жена и сын. Ничто не предвещает нагрянувшей беды. Рэй так никогда и не узнал, кем был Джулиус до того рокового дня, когда, возвращаясь с работы, он не смог вспомнить дорогу домой, по которой ездил двадцать с лишним лет в своем автомобиле.

Джулиус не спит ночами. Он бесшумно выбирается из постели и бродит по заведению. Хуже всего, если он умудряется открыть входную дверь и выскользнуть на улицу. Узнают об этом только под утро, когда босого старика в ночной рубашке привозит полицейская машина. Он блаженно улыбается, но иногда улыбка замирает, и его лицо кажется опечаленным какой-то внезапной мыслью. Но вот тучка пролетает, и солнце снова озаряет мир своим блаженным сиянием.

— Джулиус, — говорит директриса, — пожалуйста, никуда не выходи по ночам. Я так волнуюсь, когда ты исчезаешь. Ну, что, мне привязывать тебя к кровати, что ли? Старик молчит.

— А если я дам тебе мороженое, ты пойдешь спать? — директриса тяжело поднимается и, перебирая ключи, идет к большому холодильнику на кухне. Мороженое быстро исчезает во рту Джулиуса. Он улыбается. — Ну, всё, — говорит директриса. — Спать. Тебе жарко? Бедный-бедный старик.

— Рэй, у тебя не найдется сигаретки?

Рэй поднимает голову с влажной подушки. Кажется, он уснул под бормотание Джулиуса.

— Выкурил последнюю, Роуззи. Спроси у Ромео. Я его выкатил во двор.

Роуззи исчезает.

Уж если кто и был настоящей красавицей в прошлой жизни, так это Роуз Робенсон: высокая, худенькая, с длинными ногами и тонкими запястьями. Было непонятно, как в таком хрупком теле может жить мощный голос. Он достался Роуз в наследство от ее предков — чернокожих рабов, распевавших религиозные гимны под палящим солнцем на хлопковых плантациях. Любимица пастора, она была запевалой в церковном хоре.

— This train is bound for glory, this train...¹ — начинала она своим мощным контраalto.

— This train is bound for glory, I'm not telling you the story, — подхватывал хор.

— This train is leaving, get on board.

И вот уже все прихожане вставали со своих мест и вторили хору:

This train don't carry sleepers, this train.

This train don't carry sleepers, its got none but righteous people.

This train is leaving, get on board now.

Темп песни медленно нарастал, как бы имитируя разбег отходящего поезда, все приходило в движение, ладони взметались вверх, голоса сливались... витражи в церкви начинали дрожать...

Экстаз охватывал поющих, их поезд все мчался и мчался вперед, и вот уже не было в этом поезде ни бедных, ни богатых, ни белых, ни черных, а были братья и сестры, спешащие туда, на главную свою станцию ...где поджидал их доктор Мартин Лютер Кинг², и Джизус Крайст³ раскрывал объятия навстречу каждому прибывшему...

¹ Религиозный гимн про поезд, отходящий к славе

² Один из самых популярных афроамериканских баптистских пасторов в США. Убит в 1968 году выстрелом белого расиста

³ Иисус Христос.

- Аллилуйя, — заканчивал молитву пастор.
- Аллилуйя, — вторила ему Роуз своим мощным контральто.
- Аллилуйя, — подхватывал хор.

Притихшие и восторженные, прихожане расходились по домам, кидая монетки в церковную копилку.

Приход собрал для Роуз деньги на колледж, который она успешно закончила и стала учительницей. Всем приходом отпраздновали и ее свадьбу. На свадебной фотографии уместились сто человек со счастливыми женихом и невестой в белой фате и с букетом цветов. А через год муж Роуз отправился в тюрьму, а она сама — в ближайший госпиталь, где хирург колдовал шесть часов над ее раскромсанным черепом, пробитым острым предметом, подвернувшимся под руку взбесившемуся ревнивцу. Речь медленно возвращалась к Роуз, а память — нет. На свадебной фотографии она не смогла найти себя. У прихода больше не было денег, и из госпиталя её отправили в заведение.

Соседкой Роуз по комнате была очаровательная старушка Пенни Рив. Сухонькая, как щепочка, с седыми и легкими, как пух, волосами, она напоминала одуванчик. В свои девяносто два года Пенни сохранила ясный ум, но передвигалась с трудом. Роуз обожала старушку и была готова носить ее на руках, но Пенни строго пресекала все проявления любви и предпочитала независимо и гордо толкать ходунки, за которые, ища опору, судорожно цеплялись ее ручки, напоминавшие птичьи лапки.

Незадолго до своей смерти Пенни выбралась во двор заведения и, оглядевшись, направила ходунки к ближайшей клумбе с простенькими цветочками.

— Посмотри, какая прелесть, — обратилась она к следовавшей за нею Роуз. — Сколько же нужно силы этим крошкам, чтобы пробиться из земли на волю. А деревья... этим деревьям лет двести. Как странно... Жара заставила ее прервать поток размышлений и отправиться обратно в свою комнату, где шум вентилятора препятствовал зарождению любой мысли.

Когда Пенни упала в коридоре рядом со своими ходунками, душа ее отлетела в места неведомые и далекие, наполненные райской прохладой. Роуз разрыдалась, представив, как земля срстается над гробом старушки. Почему-то этот гроб привиделся ей в виде апельсинового зернышка, из которого с трудом и упорством пробивался росток.

За сухоньким телом приехали два санитары и укатали его в направлении, совершенно не интересовавшем обитателей заведения. О смерти здесь не говорили. Её просто ждали покорно и обреченно.

Наплакавшись, Роуз решительно подошла к Мэри Баверсток.

— Я хочу написать письмо сенатору, — сказала она тоном, заставившим Мэри оторваться от пасьянса.

— А и напиши, душенька, — ответила Мэри.

Поскольку Роуз была учительницей младших классов в своей прошлой жизни, она знала вещи, о которых Мэри даже и не подозревала.

— Но мне надо раздобыть его адрес, — сказала она.

— Адрес? — удивилась Мэри. — А это еще зачем? Я никогда не пишу адреса.

— Но как же письмо найдет сенатора? — не унималась Роуз.

— Как найдет? — не сдавалась и Мэри. — Нужна марка. Ты ее наклеишь на конверт и напишешь имя сенатора. Мы отнесем конверт на почту и отдадим в руки почтальону. Вот и все дела.

И Роуз написала письмо сенатору.

“Дорогой сенатор!

Вчера у нас умерла Пенни Рив, а еще раньше умер Стив Паддок. Директриса сказала, что у них был тепловой удар. У нас очень жарко. Просто невыносимо жарко. Скажите, пожалуйста, Аззи Ковальски, чтобы он поставил нам кондиционеры, а то мы все тут однажды упадем и сождем, как говорит директриса. Благослови, Господь, Америку. Искренне Ваша, Роуз Робенсон”.

Мэри отнесла письмо на почту, где и вправду, быстро отыскался адрес офиса сенатора. Через два дня оно оказалось в руках его секретаря Роберта Пэйджа.

Роберт привычным движением открыл конверт и пробежал письмо глазами.

— Аззи? Что-то знакомое... Кто этот Аззи Ковальский? — он где-то уже слышал это имя.

Компьютер мгновенно выдал информацию: “Аззи Ковальский — владелец сети домов для престарелых, раскинутых по всему штату. Крупный донор Республиканской партии”.

— А не навестить ли нам мисс Робенсон? — подумал Роберт.

Идея сенатору понравилась. Кажется, у Аззи Ковальски были замечательные отношения с губернатором штата, а вот у сенатора эти отношения не сложились. Сенатор-демократ и губернатор-республиканец зачастую игнорировали друг друга. Иногда дело доходило до словесных перепалок. Каждый промах соперника раздувался до масштабов чуть ли не преступления. Наивное письмо Роуз могло обернуться для губернатора, по крайней мере, разбирательством. Было решено заскочить в дом для престарелых на следующий день по пути в соседний городок, где сенатору предстояла встреча со студентами университета.

Заведение встретило сенатора духотой и вонью. Расслабив галстук, он решительно шагнул на обшарпанную ковровую дорожку, где с утра прохаживалась Нелли Гаджет.

— Как поживаете, мисс? — сенатор протянул ей руку. Восхищенная таким вниманием, Нелли протянула ему свою нижнюю челюсть в ответ.

— Ну и что мне с этим делать? — сказал тот, беспомощно оглянувшись на Роберта. За его спиной сдержанно хохотнул охранник. — Спасибо, милая, — как всегда нашелся Роберт. — У сенатора уже есть одна. Оставьте эту себе.

Нелли, как зачарованная, смотрела вслед трем мужчинам, решительно направлявшимся по длинному коридору в сторону столовой. Завтрак только что закончился. Обитатели заведения распознались по комнатам. К духоте примешивался запах подгорелой пищи.

Вентилятор раздувал скатерти на столах с грязной посудой. Не видно было, чтобы кто-то собирался ее убирать. По телевизору, на который никто не обращал ни малейшего внимания, восходящая звезда местного канала крошка Пола Зак в обтягивающих круглый задик джинсах и расстегнутой чуть ниже всех допустимых приличий кофточке, брала интервью у губернатора штата Харрисона. Судя по всему, Харрисон был настроен благодушно и доверительно.

— Ну, просто отец родной, а не губернатор, — успел состроить ироничную гримаску Роберт, на которую, впрочем, сенатор никак не отреагировал. Его внимание привлек Ромео, застрявший в дверях столовой в своем инвалидном кресле. Пришедший на помощь Рэй привычным движением вытолкнул кресло на колесиках из узкой двери и направился во двор выкурить сигаретку.

— Алекс? Александр Флинт?!!! — удивился сенатор, взглядевшись в лицо Ромео, но тот не проявил ни малейшего интереса к посторонним мужчинам и покотил во двор вслед за Рэем.

— Так вы знаете нашего Ромео, простите, Александра Флинта? — спросила сенатора подоспевшая директриса.

Директриса была женщиной тяжелой. В смысле веса. Но в ее грузном теле жила нежная и отзывчивая душа. Не имея собственной семьи, она изливала всю невостребованную силу любви на обитателей богадельни. Увидев в окно подъехавшую к заведению машину, Джуди не поторопилась гостям на встречу.

— Пусть ходят, посмотрят, — решила она. — Это кто ж такие? И ахнула, узнав сенатора, портреты которого были натканы почти у каждого дома в Мейзон-сити.

— Я хорошо помню дело Александра Флинта. Я выиграл ему три с половиной миллиона. Вот уж кого не ожидал здесь встретить, — повернулся к ней сенатор.

“Какая у него приятная улыбка”, — успела подумать директриса, пожимая протянутую сенатором руку, и это ничего не значащее прикосновение почему-то ее взволновало.

— Вот, принимайте гостей. Заскочили к вам посмотреть, что тут и как, — продолжил тот.

— Ну что ж, столовую вы уже видели. Одну минуту, — директриса прошла на кухню узнать, почему не убирается грязная посуда со столов. Оттуда, что-то жуя, неторопливо вышла чернокожая девушка в грязном переднике. Почесываясь, она начала уборку столов. Директриса быстро набрала номер мобильного Аззи.

— Сенатор? У нас? — выдохнул тот. — Сейчас буду.

Остаться в столовой больше не имело смысла, и гости двинулись дальше по коридору, где их нагнала Мэри Баверсток с кошкой на руках. Кошка всем понравилась, и сенатор обещал непременно написать Мэри письмо, но вот Роуз они так и не смогли найти — та в смущении закрылась в ванной и не хотела показываться незнакомым мужчинам на глаза.

Роберт успел заметить желтые подтеки на потолке. Было ясно, что крыша потечет, как только наступит сезон дождей. В комнатах стояла ужасающая вонь. Многие старики лежали на неприбранных кроватях прямо в одежде. Зайдя в одну из пустых комнат, он риск-

нул потянуть на себя ящик комода, стоявшего рядом с перекосившимся столиком. Оттуда дружно брызнули тараканы. Все было ясно. Оставаться здесь дольше не имело смысла. Хотелось скорее на свежий воздух.

Уже во дворе они увидели Аззи, спешившего им навстречу. Ничего хорошего этот визит ему не сулил. Надо было срочно выяснять обстановку, но по лицу директрисы было непонятно, насколько плохи дела. Когда покончили с любезностями, сенатор перешел к деловой части.

— Жарко у вас там, — он кивнул головой в сторону барака, — не удивительно, что люди умирают от перегрева. Я сам там чуть не умер. И вонища стоит страшная.

— И вообще много нарушений, — подключился Роберт. — Двери слишком узкие для инвалидных кресел. Как вы собираетесь эвакуировать людей в случае пожара? Тараканы в комнатах, крыша протекает. И вид у старичков какой-то несчастный.

— Я и свою собаку не поместил бы в ваше заведение, — вдруг мрачно вставил охранник, молчавший до этого и всем своим видом показывавший, что его интересует исключительно безопасность сенатора.

Аззи начал торопливо оправдываться. Директриса с интересом следила за развитием разговора.

Оказывается, ремонт начнется осенью, как только спадет жара. “Интересная новость”, — подумала она.

— Так начните с кондиционеров, не дожидаясь осени, — Роберт нетерпеливо прервал поток обещаний, сыпавшихся из Аззи.

— А я думал, это заведение только для престарелых, — сказал вдруг сенатор. Директриса проследила за его взглядом. На скамейке в жалкой тени акации сидела Хайди и с отстраненным видом слушала что-то говорящего ей Рэя.

— Это Хайди Хантер. Она у нас недавно, еще не освоилась. Надеемся на благоприятный исход лечения и на скорое выздоровление. Это все, что я могу вам сказать.

— Понимаю, — кивнул сенатор, садясь в свой внедорожник. — Я думаю, мы попросим губернатора послать к вам комиссию эдак месяца через два. Всем счастливо...

Дверца захлопнулась. Машина скрылась из виду.

— Они разорят меня, — ясно читалось в глазах Аззи.

— Ничего. Не разоришься, а только немного потратишься, — ответил взгляд директрисы.

Аззи догадывался, что Джуди Маккин в глубине души презирает его. Конечно, презрение не самое ценное качество твоего подчиненного, но с этим ему пришлось смириться. За те деньги, что он платил директрисе, найти другого человека на ее место было трудно. Скорее всего — невозможно.

— Ну что ж, мисс Маккин, давайте займемся ремонтом, — вздохнул он. — А вы не знаете случайно, с чего это их сюда принесло?

— Это и меня очень интересует. Совершенно не понимаю, кому мы обязаны этим визитом, — на этот раз вполне искренне ответила мисс Маккин.

Но еще больше ее заинтересовала история Александра Флинта. Неясно, что же стало с его деньгами, да и были ли у него когда-нибудь деньги в действительности. Она решила выведать подробности у сенатора.

Часа через два Аззи позвонил губернатор Харрисон.

— Я слышал, у тебя были гости,— сказал он.

— Сам не понимаю, чего это их принесло, — очень живо откликнулся Аззи.

— А эта женщина, что работает у тебя? Как её?

— Мисс Маккин? Не думаю... Хотя, кто знает... всё может быть.

— Ну, да все равно, — перебил ход его мыслей Харрисон. — Теперь я должен послать комиссию в этот твой дом для престарелых. Сколько тебе нужно времени, чтобы подготовиться?

— Пару месяцев мне, пожалуй, хватит, — решил Аззи.

— Отлично. — Губернатор не любил лишних формальностей и тут же прервал разговор, выяснив главное. Что касается Аззи Ковальски, кажется, он тоже понял, что ему делать.

Сенатор был рад покинуть заведение. Ему казалось, что он пропитался невыносимым запахом барака. В машине он снял пиджак и галстук.

“Как она там живет со стариками, в этой вони, — ему вспомнилась хрупкая фигурка Хайди, сидящая на скамейке, ее спутанные темные волосы и печальные глаза. — Кажется, возле нее крутился какой-то парень. Сколько же ей лет? Девятнадцать-двадцать. Есть ли у нее родители?” Он не смог бы поместить свою дочь в такую лечебницу.

— Хайди, я вспомнил: у нас был щенок. Лохматый, и ушки стояли вот так, — Рэй прижимает руки к своим ушам ладонями наружу. — Он всегда сидел на коленях у мамы, а мордочку высовывал в окно. Любил осматривать окрестности из окна машины и ужасно сердился, когда это окно закрывали. Хайди, ты любишь собачек? Ну, хочешь, я тебе достану миленького крошку? Ну, что ты молчишь, Хайди, ты меня слышишь? Однажды мы пошли в кино, па купил билеты на “Звездные войны”, а щенка оставили в машине. Я не мог спокойно смотреть фильм. Все думал, как ему одному там, в темной машине, без нас, одиноко. Еле досидел до конца. Он так радовался нашему возвращению. Лизал нам руки. Должно быть, боялся, что мы его бросим. Он ведь был приبلудный. Ну, что ты плачешь, Хайди? Не плачь. Мы же вернулись к нему, и все было хорошо.

— Рэй, пойди сюда, — сказала директриса, когда все неожиданные гости, наконец, разъехались. — Зачем ты расстраиваешь Хайди? Лучше принеси ей мороженого.

— Хорошо, мэм, — Рэй поплелся на кухню за директрисой, — она любит шоколадное, мэм. А зачем сюда приезжал этот человек? Он мне не понравился.

— Так это же наш сенатор Джон Эванс. Он так напугал Аззи, что тот обещал поставить кондиционеры во всех комнатах. Он хороший человек. А почему он тебе-то не понравился?

— А потому что я видел, как он смотрел на Хайди, вот почему. Может, он и хороший человек, только я не хочу, чтобы он сюда приезжал.

— О, Господи,— подумала директриса.

Президенту Клинтону пришлось признать, что он курил марихуану в студенческие годы.

— Но я никогда не затягивался, — нимало не смущаясь, добавлял он под смех окружающих.

Американцы простили ему эту маленькую ложь и выбрали в президенты на второй срок.

Джон Эванс курил марихуану, затягиваясь, но как Билл Клинтон, на саксофоне не играл. Он играл в футбол. Не то, чтобы он не знал, как кидать мяч в корзину или как взять в руки бейсбольную биту. Просто футбол был его любимой игрой. Уже в средней школе он понял, что родители не смогут оплатить его обучение в колледже, как бы этого им ни хотелось. Оставался один верный способ получить стипендию — спорт.

Он ничем не отличался от других, играя в бейсбол, и не был достаточно высок и пружинист для баскетбола, зато в американском футболе отлично играл и в защите, и в нападении — красиво и точно посылал овальный мяч партнеру, а получив ответный пас, умело отрывался от погони, развивая отличную скорость, и зарабатывая команде очки на тацдаунах¹.

Но главной его чертой, сразу же замеченной тренером школьной команды, была взрывная энергия. Он мог поднять дух команды в самых безнадежных играх. Выяснилось, что Эванс был прирожденным лидером, по крайней мере, в футболе. Три последних года в школе принесли ему славу капитана местной команды. Фотография Джонни в шлеме и наплечниках под футболкой с номером девять висела на стене каждой ученицы его школы. Девочки изнемогали от желания закрутить с ним роман. К семнадцати годам Джонни стало ясно, что он совершенно не в состоянии выбрать себе подружку. Ему нравились все девочки, и он не мог остановить свой выбор ни на одной. Такая всеядность в сочетании с отсутствием воли побуждала девочек к действию, и они вели между собой постоянные войны за его благосклонность. Строгий родительский надзор и природная застенчивость оберегли его невинность до отбытия в колледж, где он пустился во все тяжкие.

Родителей, приехавших его навестить, встретил запах марихуаны, густо висевший в коридоре общежития. Одно это уже не предвещало ничего хорошего, но вид комнаты сына превзошел их самые худшие ожидания. Дверь была широко распахнута, как бы приглашая зайти туда всех желающих, но именно “зайти” в эту комнату было невозможно хотя бы потому, что там некуда было поставить ногу. Пустые банки из-под пива всех сортов, недоеден-

¹ Один из главных способов получения очков в американском футболе. Игрок должен прорваться в специальную зону противника и совершить касание земли мячом

ные сэндвичи, кучи грязной одежды и еще какой-то хлам покрывали пол. Мама заплакала, стоя на пороге. Папа судорожно глотнул и пошел искать сына.

Колледж, принявший Джона Эванса на полную стипендию за его многообещающие успехи в футболе, был одним из немногих либеральных колледжей на юге Америки. Он не входил в десятку самых престижных, но давал неплохое по тем временам образование и имел превосходную репутацию.

Первый семестр прошел у Джона в тренировках и бесконечных вечеринках. Новый тренер не спешил ставить его в игру, считая, что ему не хватает выносливости и физической подготовки. Зато его заметили две подружки, похожие друг на друга, как две капли воды. Крепенькие, одинакового роста блондинки, со вздернутыми носиками и стройными ножками, Бэтти и Кетти были мечтой каждого парня из Алабамы или Оклахомы. Воспоминание о том, кто же из них двоих лишил его девственности, стоило Эвансу таких усилий, что со временем лица девушек слились в одно, и он перестал их различать в своей памяти. Впрочем, Бэтти и Кетти вскоре охладели к нему и переметнулись к другому объекту их далеко не смутного желания.

Что касается Джона, то его дела в колледже складывались как нельзя плохо. К настоящему горю его родителей, мечтавших дать образование сыну, у него не обнаружилось никакого желания это образование получать. Над ним нависла угроза отчисления за неуспеваемость. Об этом он и заявил своему отцу, нашедшему его в спортивном зале.

— Тогда тебе придется искать работу, сынок. Дела у нас на фабрике совсем плохи. Начались увольнения, и я вряд ли смогу тебя туда устроить, — сказал отец.

— Отлично, — беззаботно улыбнулся Джон, — я пойду работать на бензоколонку и куплю себе, наконец, мотоцикл, — но увидев боль в глазах отца, он почувствовал что-то вроде угрызения совести.

Родители уехали из колледжа с разбитыми сердцами. Мать проплакала всю обратную дорогу.

Свою первую сессию Джон еле вытянул. Он перестал ходить на тренировки и готовился к возвращению домой. Над его головой повисло тяжелое облако депрессии. Спасение в виде Лизы Миррей пришло на одной из вечеринок перед рождественскими каникулами.

— Дай-ка курнуть, — сказал ее голос.

Перед этим он уже успел затынуться раза два и с трудом открыл глаза. Перед ним стояла незнакомая темноволосая девушка в футболке с портретом Че Гевары на груди. Блаженно улыбаясь, Джон протянул ей косяк.

— Меня зовут Лиза, — сказала девушка.

Голова Че Гевары плавно оторвалась от ее футболки и взмыла кверху. Это ужасно насмешило Джона. Он начал хохотать. Последнее, что он помнил, был треск пустых банок от пива под его ногами. Очнулся он на следующий день опять от какого-то шума. Оказалось, что все та же Лиза с портретом Че Гевары собирает в мусорный мешок хлам, разбросанный по полу его комнаты. На мгновение Джон

задумался: стоило ли ему рассердиться за такое вмешательство в пространство его жизни или, наоборот, испытать за это благодарность. Его сомнения развеяла Лиза. Заметив, что он уже проснулся, она обезоруживающе улыбнулась. Что ему оставалось делать? Только улыбнуться в ответ.

— А это, — она пнула ногой кучу грязного белья, — повезешь маме или стираем здесь?

— Конечно, стираем здесь, — послушно ответил он.

Так, под шум стиральных машин студенческого общежития, начался их бесконечный разговор.

Постепенно чувство неловкости прошло. Джону стало легко и свободно с этой необычной девушкой. Он обнял и поцеловал ее, когда они вернулись в комнату, где уже сгустились ранние зимние сумерки. Высвободившись, Лиза включила настольную лампу и в нерешительности взглянула на него. Увидев ожидание в ее глазах, он бросил на пол сумку с постиранным бельем и начал торопливо стягивать с себя джинсы. Она жестом остановила его:

— Нет-нет. Я хочу сама тебя раздеть.

Он покорно дал Лизе расстегнуть пуговицы на своей рубашке и замер под ее взглядом. Когда-то в детстве, когда Джон болел ветрянкой, мама так же внимательно осматривала его тело в поисках очередного красного пятнышка, осужденного исчезнуть под слоем зелени.

— Ну, а мне? Мне можно раздеть тебя?

Лиза молча кивнула. Ее тело, освещенное слабым светом настольной лампы, показалось ему прозрачным. Нет, с этой девушкой все было не так, как с Кетти и Бэтти. Хотя “близнецы” и внесли значительный вклад в сексуальное просвещение Джона, Лиза была первой, к кому он испытал подлинную нежность.

— Расскажи, когда ты в первый раз понял, что твои родители бедные, — она лежала на боку, подперев голову рукой, согнутой в локте, и не сводя глаз со своего возлюбленного. Джон недовольно дернулся:

— А откуда ты знаешь?

— Ты что, стесняешься своей бедности? В бедности есть какая-то честность и простота. Кстати, мой отец не так уж и богат. Он говорит, что скорее “обеспечен”, чем богат, — Лиза невольно передразнила интонацию полковника Миррея.

Он задумался. В его воспоминаниях о родителях часто закрадывалось какое-то тревожное чувство. О чем же они говорили чаще всего? О неполаченных счетах. Хотя отец работал бригадиром на ткацкой фабрике, денег в семье всегда не хватало, а когда его фабрика закрылась, им пришлось поехать по штату, пока он не нашел новую работу. Мама все время пыталась что-то продавать: то пылесосы, то соковыжималки, то губную помаду. Но из этого у нее никогда ничего путного не выходило.

— Мне было тогда лет девять, наверное. Мы только-только переехали в новый городишко. Новые друзья, новая школа, — он притя-

нул Лизу к себе, та удобно пристроила голову у него на плече. — Там был такой мальчик, — Джон закрыл глаза, пытаясь вспомнить его имя. — Кажется, Ник Байтон.

— Ну-у-у-у, а дальше?

— Так вот, этот Ник Байтон привел меня к себе домой и там я, перепутав двери, случайно открыла стенной шкаф, на полках которого от потолка до пола стояли туфли всевозможных цветов и фасонов. Я, конечно, остолбенел и говорю ему: “Вы что, их продаете?” А Ник дверь так осторожненько прикрывает и говорит: “Да, нет... Это туфли моей мамочки. Она помещалась на обновках”.

Джон замолчал. Он явственно вспомнил тогдашнее молодое лицо своей матери, кухонный стол под оранжевым абажуром и захотел туда, в свое детство.

— А что дальше? Ты с ним рассорился?

— Не-е-е, мы с ним отлично в бейсбол играли. Только он меня редко к себе приглашал. А к нам никогда не приходил. Всегда отговаривался. Я потом спросил у мамы про эти туфли. Помню, как она улыбнулась и говорит: “А что тут такого? По паре туфель к каждому платью. Представляешь, сколько у нее платьев?” А я говорю: “Наверное — сто!”, — это у меня тогда был высший предел воображаемого изобилия. Вот, — говорю, — когда вырасту, я куплю тебе тоже сто платьев и столько же туфель...

— А она что?

Она засмеялась: “Не туфлей, а туфель...”

Воспоминание об этом разговоре долго приносило ему боль: мама умерла, когда он еще учился в колледже, так и не дождавшись обещанных “ста пар” туфель в подарок. Позднее, уже став сенатором, он так часто упоминал об этом обещании в своих выступлениях, что боль сначала притупилась, а потом и вовсе исчезла.

Лиза уткнулась носом в его подмышку. За окном пошел дождь. В Рождество обещали метель и гололед.

Либерализм дочери полковника ВВС у многих вызывал удивление. Лиза издевалась над патриотизмом тех, кто поддерживал войну во Вьетнаме, с негодованием обличала скрытый расизм южан и восхищалась Кубинской революцией. Не то, чтобы она говорила что-то новое. Все эти обличения Джон уже слышал раньше, но он никогда не задумывался и не сомневался в простых истинах, внушаемых ему дома и в школе.

Детство Лизы прошло на военной базе в Японии, где служил ее отец. Это был особый замкнутый мир, маленькие Соединенные Штаты на острове Хонсю, где все знали друг друга и жили как бы одной большой семьей. Конечно же, новости с родины доходили и сюда, но они казались какими-то приглушенными по сравнению с местными проблемами. Отцы служили, матери воспитывали детей, дети учились в школах. Порядок жизни был размерен и предсказуем. Время от времени случались трагедии: погибал кто-нибудь из летчиков. Хоронили погибших всем миром и всем же миром собирали и провожали семьи погибших на родину.

Выйдя на пенсию, полковник Миррей купил дом в Вирджинии, куда и переехал с семьей в конце 60-х. Казалось бы, он сделал все, чтобы обеспечить себе тихую и спокойную старость, но Америка того времени напоминала бушующий океан страстей, и его дочь была первой из семьи, кого этот океан захлестнул. Из тихони, раскрашенной картинкой с Микки Маусом, она превратилась в настоящую фурию, объявившую войну родителям и миру, в котором они жили. Большую часть свободного времени отставной полковник тратил на игру в гольф или покер и, к негодованию своей юной дочери, не испытывал никакого чувства вины перед поколением бывших рабов.

— Какого еще черта, — гремел его командирский голос. — Я и так даю им отличные чаевые. На базе в Хонсю все вкалывали одинаково и никто и не думал о каком-то там расовом притеснении. Ты же знаешь, моим механиком был отличный черный парень из Луизианы. И я доверял ему свой самолет. А все эти... пусть идут работать, а не сидят на нашей шее!

На этом высказывании закончился его контакт с Лизой. Она замкнулась в себе и больше не вступала с родителями в дебаты. Все вздохнули свободно, когда ее приняли в колледж.

В колледже душа Лизы, жаждущая всеобщей справедливости, расцвела. Она встретила понимание и поддержку других юных душ при одобрении либеральных настроенных преподавателей. Марксизм, за который она принялась, убедил ее в правильности выбранного воззрения. И все-таки, ей продолжало чего-то не хватать. Увидев Джона, тренирующегося на футбольном поле под лучами осеннего, но все еще жаркого солнца, она поняла, что пробел заполнен. Любовь пришла к ней сразу и навсегда. Осталось только переждать, когда от Джона отвалятся “близняшки”, так презрительно называла она про себя Бэтти и Кетти. Проснувшаяся женская интуиция подсказывала ей, что этот треугольник продержится недолго. Так оно и случилось. Высмотрев Джона Эванса на вечеринке по случаю окончания семестра, она решительно направилась в его сторону...

Общежитие опустело. Все студенты разъехались на рождественские каникулы. Уехал и приятель Джона, обещавший подвезти его домой на своей машине. Время от времени мимо комнаты, из которой чуть слышно доносились голоса, проходил дежурный охранник. Похоже, там вели себя прилично: не курили марихуану и не ставили громкую музыку. Ему так и не довелось увидеть, как распахнув дверь, оттуда выбегали два голых тела и, шлепая босыми ногами по линолеумному полу, с ликующими криками, мчалась в конец коридора к душевым кабинкам. А если бы он это и увидел, то совершенно бы не удивился, ибо много чего насмотрелся в студенческих общежитиях за долгие годы службы.

В конце концов, пришла пора расставаться с молодым любовником. Лиза отвезла Джона к автобусному вокзалу, а сама покатила в Вирджинию, где родители уже не знали, что и думать о своей пропавшей дочери.

— Ты что, специально выбрал эту дорогу? Думаешь, я успел соскучиться по роже губернатора?

Хотя Роберт сидит на заднем сидении “лендровера” и, казалось бы, не имеет никакого отношения к оброненной фразе хозяина, он знает, что упрек направлен ему, а не Патрику, невозмутимо ведущему внедорожник по хайвэю на предельно допустимой скорости. Уж такая у сенатора манера. Никогда прямо не скажет, чем недоволен, а только даст понять.

Вот и сейчас дело было вовсе не в Харрисоне, приветствующем водителей с громадного рекламного щита “Добро пожаловать в наш штат!” — в конце концов, почему бы тому и не поприветствовать гостей “на самых лучших дорогах Америки”, а в деньгах, затраченных на эту рекламу. Роберт прекрасно знает и то, что хозяину пришлось рано включиться в предвыборную гонку за место в Сенате, а все потому, что, откуда ни возьмись, появился Макмэрфи, старикан из своры губернатора, объявивший себя будущим сенатором штата, как будто это уже дело решенное, и Эвансу пора собирать манатки. Макмэрфи в своей ковбойской шляпе почти не появлялся в телевизоре, зато методично объезжал город за городом, деревню за деревней. Не то чтобы хозяин не встречался с избирателями, нет, он уже набил мозоли на руках от бесконечных рукопожатий и похлопываний, но чувствовалось, что люди теряют к нему интерес. Сенатору позарез нужна была какая-то новая идея, равно как и деньги для предвыборной кампании, но как назло, новая идея никому сейчас в голову не шла.

Роберту кажется, что даже слегка обросший затылок Эванса над безукоризненно чистым воротником рубашки выражает неудовольствие. Передвинуться на соседнее сидение подальше от этого затылка он не может. Все место в машине занимает Патрик со своими длинными ногами. Конечно, человек такого роста может позволить себе быть невозмутимым.

— Я выбрал самую короткую дорогу, сэр. Вы же торопитесь, — Патрику нет дела ни до губернатора, ни до Макмэрфи, но как раз после его слов поток машин замедляет движение. Судя по всему, где-то впереди образовалась пробка.

— Черт! Не хватает только застрять. Никак там кто-то навернулся. Так мы точно опоздаем, — Он вопросительно смотрит на сенатора, сидящего рядом, но тот кажется погруженным в свои мысли и никак не реагирует. Зато Роберт уже названивает по мобильнику. И без того немногословный Патрик предпочитает и вовсе замолчать, тихо продвигая внедорожник по забитому хайвэю, навстречу сигнальным огням полицейских машин. Одна из них стоит поперек скоростной полосы, перекрывая движение. Автомобили медленно двигаются в два ряда, объезжая место аварии.

— Может, отменим встречу? — Роберт отрывается от телефона. — Они говорят, почти все студенты разъехались на летние каникулы. Пришли человек тридцать. Их перевели из большого зала в театр, где сцена поменьше.

— Ни в коем случае, — очнулся, наконец, Эванс. — Знаешь, мне интересно взглянуть на этих ребят. Я тут вдруг вспомнил, что и сам был студентом. Хочу вызвать их на откровенный разговор. Пусть не все из них побегут за меня голосовать, зато узнаю, о чем они думают. Может, мы осенью заскочим к ним опять, а? — он поворачивается к Роберту и одаривает его своей обаятельной улыбкой.

Не отрываясь от трубки, тот согласно кивает: ясное дело — разведка боем. Кто бы спорил, сенатору нужны голоса молодых избирателей, но в университете учатся студенты со всей Америки, а за сенатора могут голосовать только те, кто живет в его штате. Дает понять, что пойдет дальше и включится в президентскую гонку? Почему бы не сказать об этом открыто? Или еще сам не решил? Роберту некогда разгадывать намерения босса.

— Они спрашивают, нужен ли нам модератор.

— К черту модератора. Никаких записок. Прямой диалог. Ты знаешь, как я люблю: вопрос — ответ.

Роберт опять кивает и что-то торопливо тараторит в трубку. Закончив, он удовлетворенно откидывается на сидении:

— Окей, они согласны ждать. Видать, ребятам тоже интересно с вами поболтать.

— Что ж, посмотрим, чем закончится встреча заинтересованных сторон, — сенатор уловил скрытое ехидство в словах Роберта. — Патрик, — обратился он к охраннику, — а вот чем ты у нас интересуешься? Мне кажется, ты какой-то совсем нелюбопытный.

— Я скорее любознательный, и то в строгих рамках протокола, — усмехнулся тот.

Они перекинулись еще парой слов, пока с левой стороны не показался покореженный дымящийся автомобиль и несколько карет скорой помощи. Небольшая толпа окружала потерпевших, закрывая их от любопытных взоров.

— Здорово кто-то сегодня прокатился, — мрачно изрек Патрик, повернув голову в сторону аварии.

Суеверный Роберт перекрестился. На какое-то мгновение в машине замолчали. Мысль о бренности существования никогда долго не тревожила сенатора. Ей не было места в его расписанной по минутам жизни. Конечно, она приходила ему в голову время от времени, но тут же вытеснялась другими мыслями, казавшимися ему более важными. Вот и сейчас он думал даже не о предстоящей встрече в университете, к таким встречам он давно привык, а о короткой строчке, полученной сегодня утром по электронной почте от знакомого журналиста, работающего в “Вашингтон пост”: “Есть новости. Позвони”. К удивлению Эванса, мобильник журналиста был отключен и на оставленное сообщение тот пока не ответил. Это как-то его тревожило.

— Что у них там делается? Может, что-то серьезное заваривается? — сенатор прокручивал в голове возможные варианты событий. — Лето — не самое лучшее время для сенсаций в пустующем Вашингтоне. Политический истеблишмент разъезжается на каникулы. Должно произойти действительно нечто из ряда вон выходящее, но пока в утренних новостях не было ничего примечательного. Может, у него есть что-то на местную шайку?

— Бобби, а как там поживает наш старый друг Макмэрфи? Что-то я давно ничего о нем не слышал, — оторвался от своих мыслей Эванс.

— Старина Сэм много мотается по штату в последнее время, — живо откликнулся Роберт. — Посещал тут “Хоспиру”¹. Небось, выпрашивал деньги. Все как всегда. У него теперь много дел и с “Халлибертон”². Пока не знаю, сколько он у них вытянул.

— Ну, там-то ему подкинут, можешь не сомневаться, — сказал сенатор. Как будто у кого-то были в этом сомнения.

Еще каких-нибудь двадцать лет назад наш штат представлял из себя обыкновенное сонное захолустье. Когда-то главное его богатство — хлопок — уже многие годы не пользовался спросом. Население или разъезжалось по стране в поисках работы, или пожизненно сидело на вэлфере³, истощая и без того скудную казну штата. Крошечные городки встречали редких проезжих заколоченными фанерой окнами давно покинутых домов. Большой бизнес и большие деньги хлынули к нам с приходом покойного губернатора Харрисона. Убежденный республиканец, он снизил налоги на доходы и собственность, и поэтому считался в штате чуть ли не отцом родным. Хотя у нас отродясь не было нефти, благодаря стараниям и связям папаша Харрисона, первой гигантской компанией, выстроившей свой небоскреб прямо напротив Капитолия, была известная “Халлибертон”, а уже за ней пришли десятки других. Штат словно проснулся от долгой спячки. Наша столица покрылась высотными зданиями с подземными гаражами и скоростными лифтами, а вдоль хайвэев выросли отели вперемежку с плазами, моллами и фитнес-клубами. Неудивительно, что последние двадцать лет на выборах у нас побеждали республиканцы. Все прочили президентское кресло Харрисону-младшему, но начать дальний забег он должен был у себя дома, сменив папашу на посту губернатора. Что он и сделал лет семь назад. И вот в разгаре ликования по поводу установившегося процветания раздался голоса недовольных. Сначала появились намеки на нарушения законов корпорациями, обеспечивающими это самое процветание нашего штата, потом намеки переросли в пару скандалов, потом появился Джон Эванс.

Людам, не знакомым с тонкостями судебной волокиты, дело пятилетней Валери Эймс, за которое взялся тогда еще молодой и мало кому известный адвокат, казалось беспроигрышным.

В тот злосчастный день родители привезли Валери в детский бассейн одного из спортивных клубов. Ничто не предвещало беды. Бассейн был мелкий, а девочка уже умела отлично плавать. Пока она плескалась в “лягушатнике” с другими детьми, родители присматривали за ней, расположившись неподалеку. День был жаркий, и им поскорее хотелось перейти в бассейн для взрослых.

— Ну всё, детка, выходи. Мы с мамой тоже хотим немного поплавать, — наконец сказал ей папа.

¹ Крупная фармацевтическая фирма.

² Крупная компания, оказывающая сервисные услуги в нефте- и газодобывающей отрасли.

³ Пособие по безработице.

— Пап, я не могу встать, — слабым голоском ответила ему Валери.

Девочка сидела на дне “лягушатника”, скрестив ножки, и явно не могла подняться.

Когда на судебном процессе Эванс дошел до пересказа этого момента, голос его дрогнул, и в зале установилась тишина. Родители девочки не могли сдержать слез.

— Что произошло, когда вы спустились в бассейн? — обратился Эванс к отцу девочки.

И тот подробно рассказал суду, как его ребенок оказался затянутым в донный сток бассейна. Тяга была настолько сильна, что он сам не мог оторвать Валери, начавшую жаловаться на то, что у нее “заболел животик”. Девочку смогли вытащить из воды только, выключив насос.

— Что было после того, как насос отключили? — продолжал допрос Эванс.

— Вода стала красной, и я увидел, что в ней плавают внутренности моей дочери...

Операция длилась пять часов. Хирургам удалось спасти жизнь маленькой девочки, удалив часть ее кишечника, но она осталась инвалидом, навсегда прикованным к аппарату искусственного питания.

Эймсы мужественно встретили свалившееся на них горе. Мать девочки оставила работу, чтобы неотлучно за ней ухаживать. Покрыть медицинские расходы не могла ни одна страховка. Все сбережения семьи были исчерпаны. Любому адвокату, взявшемуся за это дело, было ясно как Божий день, что Эймсы получат значительную денежную компенсацию, но только Эванс обещал добиться для них суммы, покрывающей и медицинские расходы, и дальнейшее достойное существование Валери.

Пресса следила за шумевшим процессом, а фраза Эванса “Я не могу заставить их заботиться о наших детях, но я могу заставить их платить”, сказанная в интервью местному телевидению, облетела весь штат.

Виновников случившегося несчастья было несколько. Руководство клуба и городская инспекция признали свою халатность, и согласились возместить ущерб в размере нескольких миллионов — ведь это они должны были контролировать, чтобы слив бассейна был прочно закрыт пластмассовой дренажной крышкой. Вероятно, в тот роковой день Валери случайно задела крышку, играя с детьми в воде. Этого было достаточно, чтобы открыть слив и навсегда изменить жизнь семьи Эймсов.

Пару миллионов заплатил и производитель насосов, признав, что их мощность была неоправданно велика для детского бассейна. Многие говорили, что на этом судебный процесс можно считать закрытым, но Эванс так не думал. По его мнению, главный виновник трагедии остался ненаказанным. Это была корпорация “Ста-Райт”, производившая дренажные крышки для стоков. Разместившаяся в столице нашего штата, “Ста-Райт” набрала силу в годы правления папаша Харрисона и спонсировала все его политические кампании.

Тягаться с ними было трудно. Первый судебный процесс Эванс проиграл. Ему не удалось убедить присяжных в том, что именно “Ста-Райт” несет ответственность за непрочное соединение крышки с основанием стока. Вся вина была возложена на техника, лишь накинувшего решетку, а не прикрутившего ее гайками к основанию слива.

Возможно, на этом дело бы и закончилось, но через год подобный несчастный случай произошел с ребенком в соседнем штате. И снова пластмассовая дренажная решетка не удержалась на стоке бассейна. Теперь на помощь Эвансу пришла его жена. Несколько недель ушло у Лизы на чтение каталогов и инструкций, выпущенных “Ста-Райт”, пока в один прекрасный день она не нашла то, что решило дело.

— Я просто не верю своим глазам, — в возбуждении кричала Лиза в трубку, — представляешь, Джон, я нашла-таки инструкцию по установке этой долбанной крышки. В ней нет ни слова о том, что она должна прикрепляться гайками.

— Ну, теперь эти козлы заплатят, — спокойно ответил ей Эванс.

И “козлы” заплатили семейству Эймсов двадцать пять миллионов долларов. К тому времени это была уже не первая победа адвоката Эванса. Он стал заметной фигурой в нашем штате и без труда прошел в Сенат от демократической партии под слегка обновленным лозунгом “Я не могу заставить их думать о людях, но могу заставить их платить”. Сперва Харрисон игнорировал “высочку адвокатишку”, но после победы того на выборах стал относиться к нему с легким рычанием. Когда же Джон развернул бурную деятельность и в Сенате, беспощадно критикуя любые предложения республиканцев, на адрес офиса Эванса стали приходить угрозы укоротить ему язык и оторвать голову. Отправителей не нашли, и Секретная служба представила к сенатору того самого агента по имени Патрик Джордан, который сидел за рулем внедорожника, застрявшего в пробке на хайвэе по пути в университет.

Наконец, “лендровер” вырвался на скоростную линию, и через десять минут нужное название показалось на зеленом щите указателя.

Глянцевый каталог университета являл взыскательному взору абитуриентов готические здания учебных корпусов с обвитыми плющом стенами, обсерваторию с раздвижным куполом, стадион на две тысячи мест, здание библиотеки в стиле модерн, зоопарк с новорожденными обезьянками и пруд с редкими породами черепах. Здесь были театр, часовня и картинная галерея с парой подлинных рисунков Пикассо. Техническое оснащение учебных классов и лабораторий удовлетворяло запросам самых требовательных студентов. Просторные и светлые общежития, раскиданные по кампусу¹, покрытому зелеными лужайками и клумбами, завершали демонстрацию богатства и щедрости. Университет не входил в десятку самых престижных учебных заведений Америки, но избранная несколько лет назад мадам президент, забросив свою академическую карьеру,

¹ Студенческий городок

посвятила все силы на добывание средств и поднятия его рейтинга. Ей удалось собрать многомиллионные пожертвования бывших студентов, гордящихся своей альма-матер, и убедить крупные компании вкладывать деньги в образование подрастающего поколения. Подскочила до небес и цена за обучение.

Несмотря на сходство судеб — оба выросли в рабочих семьях и сами пробивали себе дорогу в жизни, добившись значительных успехов в карьере, отношения между мадам президент и сенатором оставаяли желать лучшего. Их политические взгляды были резко противоположными. Консервативная республиканка, в которую превратилась девушка из бедной негритянской семьи, относилась скептически к популистским лозунгам сенатора. Тот, в свою очередь, нещадно критиковал ее за насаждение элитарности в главном университете штата.

Может быть, именно поэтому машину сенатора никто не встретил у ворот кампуса. Пока Патрик получал разрешение на въезд, оскорбленный таким невниманием Роберт слушал переговоры охранников по уоки-токи¹. Наконец, один из них, весом под центнер и с размытыми от пота на форменной рубашке, протиснул свое тело в машину с надписью “Секьюрити” и поехал впереди внедорожника, показывая путь к театру с заждавшимися студентами. Эванс хранил молчание и явно думал о чем-то не относящемся к встрече.

У входа в театр маячила-таки фигурка встречающей администраторши. Мобильник сенатора зазвонил, когда дело дошло до приветствий с рукопожатиями. Извинившись, он сделал несколько шагов в сторону. Это был долгожданный звонок журналиста из Вашингтона.

— У меня для тебя отличная новость, Джон.

— Подожди-ка, — обрадовано прервал его сенатор. — Вдруг я догадаюсь сам: у тебя что-то на Макмэрфи?

— Да плевать мне на Макмэрфи. Речь идет о правительственных заказах в Ираке. Лучше угадай с трех раз, кто получил аж пятилетний контракт на 7 миллиардов долларов.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что это “Халлибертон”?

— Именно. И это не случайный выигрыш в покер, поверь мне. Сначала они готовят план восстановления нефтяных месторождений Ирака, потом получают контракт на это восстановление, выигрывая все тендеры, и все это еще до того, как там начинается война. Затем материал пойдет в печать. Надеюсь, дело дойдет до расследования в Конгрессе.

— Сказочный подарок, Рик, боюсь только, Чейни вывернется, как всегда. Он, конечно, будет отрицать любую к этому причастность.

— Ну, это уж как пить дать. Только куда ему деваться, если у Скутера Либби руки в дерьме по локоть: он засветился на переговорах с “Халлибертон”. Интересно послушать Чейни, рассказывающего о том, как он понятия не имеет, чем занимается его первый помощник.

¹ Портативная радиостанция

Эта была и впрямь отличная новость. Все знали, что Макмэрфи питается подачками от “Халлибертон”, никакой сенсации тут не было, а вот получение правительственных заказов компанией, бывший глава которой стал вице-президентом страны, чревато большим скандалом.

Эванс захлопнул крышку мобильного. У него заметно поднялось настроение. Одарив сухонькую администраторшу одной из своих самых обаятельных улыбок, он поспешно ринулся в зал, даже не взглянув на Роберта, державшего наготове его пиджак и галстук.

Администраторша оказалась проворной и помчалась следом за сенатором, догнав его уже в дверях.

— Ну, и что прикажите с этим делать? — Роберт в раздражении перекинул пиджак через руку, глядя на быстро удаляющуюся спину Эванса. Он вдруг живо представил сенатора на футбольном поле: быстрый пас — и стремительный рывок вперед. Топочущее позади стадо. Стадо жаждет догнать и подмять его под себя. Поздно. Заветная линия. Очередной тачдаун. Победа. Рев стадиона... Какая самоуверенность в этой походке! Он и не оглядываясь знает, что его команда всегда следует за ним. “А ты гребаный лузер, — говорит вдруг сам себе Роберт, — гребаный лузер, гребаный лузер,” — но не успевает насладиться горечью этой фразы. Теперь мимо него пронесится Патрик с выражением беспокойства на всегда невозмутимом лице.

— Просто день каких-то забегов, ей-Богу!

Выступать перед студентами можно, конечно, и без галстука, но входить в зал не дождавшись охранника — нельзя. Сенатор в белой рубашке с расстегнутым воротником — легкая мишень на просторной и ярко освещенной сцене. У запоздавшего Патрика всего несколько секунд, чтобы решить, какую занять позицию. Вариантов два: сцена или зал. Выбрав зал, он отходит в сторону от центра и, развернувшись, цепким взглядом оглядывает собравшихся. Вокруг почти пусто: с два десятка студентов, одетых в шорты и футболки с эмблемой университета. Истомившись ожиданием, они расселись в беспорядке вокруг сцены, непринужденно болтая и хохоча.

— Садитесь поближе, — крикнул им Эванс, подходя к краю сцены. — Не бойтесь, я не буду принимать у вас экзамен и задавать трудные вопросы. Я приехал, чтобы отвечать на ваши вопросы, если они у вас, конечно, есть.

Роберт немного запоздал к началу любимого спектакля. Главный герой уже на сцене. Он моложав и подтянут для своих пятидесяти лет. Легкая седина поблескивает в волосах. Ямочка на подбородке. С такой внешностью в самый раз играть роли стареющих героев-любовников. Но есть что-то притягивающее в Джоне Эвансе, что заставляет людей прислушиваться к его спокойному и уверенному голосу. Есть в нем какая-то надежность и убедительность. Вот он внимательно вглядывается в лица ребят. Ему нужно несколько мгновений, чтобы почувствовать их настроение.

— Недавно со мной разговаривала одна дама, — голос сенатора заглушил шумок уставших от ожидания студентов, — сотрудница большого и хорошо всем известного банка, и жаловалась на то, что многие выпускники колледжей никак не могут начать выплачивать

свои долги. Звонно, говорит, одному бывшему студенту в Пакистан и спрашиваю, когда же он приступит к выплате своего студенческого кредита, а он мне отвечает: — “Никогда!”

В зале хихикнули.

— А что, иностранным студентам тоже дают кредиты на образование? — недоуменно спросил кто-то.

— Тот парень имел американское гражданство, но решил вернуться на родину. Уехал в Пакистан и пропал.

— Подался в ряды Аль-Каиды...

Чья-то шутка оживила настроение студентов.

Роберт оторопело уставился на сенатора: он что, с ума сошел? Это же политически некорректно. Разве можно позволять себе такие неосторожные высказывания. Он беспокойно осматрелся. Кажется, иностранных студентов нет. Слава тебе, Господи. В центре зала сидели три парня с накачанной мускулатурой. Какая-то враждебность исходила от этой компании. Они сидели, задрав ноги на передние сидения, и переговаривались между собой с пренебрежительным видом. Один из них, видимо, намаявшись от долгого ожидания, энергично двигал челюстями, разжевывая резинку, и с громким шлепком хлопал выдуваемый изо рта пузырь. Роберт заметил, что и Патрик внимательно посматривает на эту троицу. Сенатор на сцене продолжал свое соло, как ни в чем не бывало. Речь, естественно, зашла о дороговизне обучения.

— Ну, а для тех, кто не готовится бежать от уплаты своих долгов, выход один: работа. И работа приличная, чтобы зарплаты хватило на погашение кредита и на достойную жизнь, которую вы только начинаете. Добавьте сюда долг родителей, которым тоже приходится платить за ваше образование. Набегает около ста тысяч долларов, да? У кого-то может быть меньше, но все равно, достаточно много. Я так думаю, что это устраивает банки. Устраивает ли это вас?

На этот раз в зале отреагировали более дружно. Было понятно, что это не устраивало никого.

— Что же делать? — продолжил, расхаживая по сцене Эванс.

— Записываться в ряды доблестной американской армии¹, — с вызовом выкрикнул один из подозрительной троицы.

— Кстати, это выход, — откликнулся Эванс. — Но я приехал не для того, чтобы вербовать вас в армию. К тому же, это не решение проблемы. А вот почему бы нашему губернатору не подумать о подрастающем поколении. Пусть найдет в бюджете штата деньги и для доступных студенческих кредитов, и для финансирования государственных колледжей. И потом, учтите, только конкуренция может справиться с диктатом банков, и только государству по силам такая роль. Короче, я считаю, что мы должны больше уделять внимания государственной системе образования, чтобы она могла достойно конкурировать с частными колледжами. Обещаю заняться этой проблемой на свой будущий срок в сенате.

¹ Бывшие военнослужащие США пользуются значительными льготами при поступлении в высшие учебные заведения

Пузырь из жевательной резинки хлопнул в очередной раз:

— Во-во! Все и так говорят, что вы социалист.

— Кто говорит? — живо откликнулся Эванс.

— Ну, мой отец, например.

— Тогда он не знает, что такое социализм. Можете так ему и передать. Кстати, мне всегда было непонятно, почему у нас принято пугать этим словом. Идея равенства издавна привлекала людей. Мой отец, — Эванс сделал ударение на слове “мой”, — человек искренне верующий, говорил: “Бог сотворил людей рав-ны-ми”. Надеюсь, вы понимаете, что он имел в виду не раздел имущества поровну между всеми. Скорее всего, он подразумевал равную ответственность каждого перед Богом за дела свои. Я за такое равенство. Еще я за равные права всех членов нашего общества, и готов их отстаивать.

— Равенство здесь ни при чем. Это демагогия. Мы знаем “Билль о правах”, сенатор. Но вы же все время говорите об усилении роли государства, а я считаю, что это и есть социализм, — парень явно нарывался на скандал.

— Да что ж такое? Стоит мне заговорить о равных правах каждого перед Богом, как я сразу получаю обвинение в демагогии. Ладно. Давайте тогда говорить о необходимости конкуренции между корпорациями и государством. А без такой конкуренции, сами знаете, как далеко могут зайти частные монополии. Более того, я считаю, что только государству по силам осуществлять над ними контроль. Вы что-то хотели сказать? — обратился он к одному из студентов.

— Вот вы обвиняете корпорации чуть ли не во всех бедах нашего общества, — начал тот, не вставая с места. — Роберту не удалось разглядеть, кому принадлежал этот голос. — Но вспомните, сенатор, наш штат прозябал, пока к нам не пришел большой бизнес. Люди получили работу. Разве это плохо?

— А вы вспомните, что случилось с “Энроном”. Вспомнили? Еще бы. Такие истории долго не забываются. Меня тоже чрезвычайно занимает это дело. Падение “Энрона” казалось невысказанным. Вы представляете, что это была за махина? Многомиллиардные обороты, практическая монополия на рынке продажи электроэнергии, крутые инновации. Тем не менее, невысказанное произошло: “Энрона” не стало за три недели. Двадцать тысяч человек потеряли работу в одночасье. А ведь эти люди были уверены в том, что работают в одной из лучших компаний мира, они думали, что покупая акции этой самой прекрасной и надежной компании в мире, они обеспечивают себя до конца жизни. В этом, по крайней мере, их без устали убеждали. И вот ни компании, ни работы, ни сбережений. Все оказалось обманом. Фикцией. Как это могло случиться? Почему? Кто виноват? Что бы не отвечать на эти вопросы, они разрезали и превратили в серпантин тонну, я не преувеличиваю, тонну отчетных бумаг.

Нютики особой доверительности зазвучали в голосе сенатора. Обычно в такие минуты в зале суда устанавливалась тишина. Немного притихли и студенты. Видимо, и на них подействовал тон Эванса.

— В истории “Энрона” меня меньше всего интересуют цифры. В конце концов, я не финансист. Я просто хочу понять людей, сна-

чала создавших одну из лучших компаний в мире, а потом эту компанию погубивших. Никто из них, между прочим, своей вины не признает, а судебное разбирательство еще не началось. Персонаж номер один, конечно же, Кен Лэй.

— Предупреждаю, что я тут же покину зал, если услышу хоть одно плохое слово о Кене Лэе, — подскочил молодой человек, которого удалось, наконец, разглядеть Роберту. Парень был невысокого роста и ничем примечательным, вроде бы, не отличался. Очки. Белобрысый чуб. Такая же белая футболка, как и у всех других ребят.

— Вы не знаете этого молодого человека? — Роберт повернулся к примостившейся неподалеку администраторше.

— Так это Джефф Макмэрфи, — восторженно воскликнула та, — наш университет многим обязан мистеру Лэю. “Энрон” спонсировал множество учебных программ, а Джефф, насколько я знаю, учится на стипендию имени Лея.

— А он случайно не сын... Сэма Макмэрфи? — еще больше заинтересовался Роберт.

— Нет. Он внук.

“Отлично, — подумал Роберт, — у Хозяина появился шанс удовлетворить свой интерес. Сейчас он получит скандал”. Между тем, Эванс на сцене и не думал обострять ситуацию.

— А почему вы решили, что я намерен говорить плохо о Кене Лэе? Все-таки я адвокат, а не прокурор. И если бы мне пришлось защищать Лэя в суде, я непременно бы начал с его происхождения. Мне кажется важным, что он из семьи баптистского пастора. Поэтому он, как никто другой, знал разницу между добром и злом, правдой и ложью. К тому же, семья была бедной, и ему пришлось рано начать работать. Ничего удивительного нет и в том, что он с детства, как многие люди его поколения, мечтал разбогатеть. Правда, не все стали докторами экономических наук, а Лэй стал. Это говорит о многом. Бесспорно, он умный и энергичный человек. Вы что-то хотите добавить? — обратился Эванс к Джеффу Макмэрфи. Но тот только пожал плечами, предпочитая промолчать.

— Да. Так вот... — продолжил сенатор, — и не все смогли так разбогатеть, как мистер Лэй. Справедливости ради надо заметить, что такая компания, как “Энрон”, могла появиться только при Рейгане. Ну, вы, — он снова обратился к Джеффу, — лучше меня знаете основы рейганомики. Как он там говорил про правительство-то?, — и поскольку ответа не последовало, закончил сам. — “Нам не стоит ждать решения проблем от правительства, потому что правительство и есть наша проблема”. Правильно?

Джефф кивнул.

— Эти слова очаровали тогда многих, или скажем так, вдохновили многих на борьбу с собственным правительством — с единственной силой, способной регулировать, а значит, контролировать их деятельность.

На этот раз Джефф был явно не согласен со словами сенатора.

— Рынок — система саморегулирующая. Это известная основа нашей экономики, а любая попытка регулирования приводит к кризису, — громко и с вызовом сказал он.

— Ну, да, — не растерялся сенатор, — если мы говорим о товарном рынке. Мистер Эдисон избрал простую и надежную систему энергоснабжения, и электричество было доступно всем, пока цены контролировало государство. Но мистер Рейган этот контроль отменил, и “Энрон” стал круто набирать обороты на производстве и продаже электроэнергии. Понятное дело, пока у компании были конкуренты, она не могла безостановочно наращивать цены. Но вот “Энрон” стал монополистом и вышел на фондовый рынок, а там действуют совсем другие законы. Чем выше цена товара — тем ниже спрос, да? А на фондовом рынке высокая цена акции говорит о ее высоком спросе. Естественно, энроновские трейдеры были заинтересованы в том, чтобы держать цены на акции “Энрона” как можно выше. Мы не будем сейчас разбираться в том, как им это удавалось делать на протяжении многих лет. Этим займется суд. И я не могу вам сказать с точностью, когда Кен Лэй перестал отличать добро от зла, правду от лжи. Скорее всего, это произошло не сразу, а постепенно. Цель оправдывает средства, не правда ли, друзья мои? А целью его была прибыль и ничего кроме прибыли. И очень даже может быть, что мистер Лэй какое-то время думал не только о себе, но и о своих сотрудниках. Может, он думал и о новых рабочих местах, — Эванс выразительно посмотрел на молодого Макмэрфи. — Только то, что “Энрон” устроил в Калифорнии, было уже откровенным преступлением. Они вогнали этот штат в тяжелейший энергетический кризис.

— А отличаете ли вы правду от лжи, сенатор? — Джефф прервал Эванса, не дав ему договорить. — Калифорнию вогнали в кризис сильнейшая засуха и губернатор-идиот. Кстати, демократ. Поставщики вынуждены были покупать электроэнергию в других штатах по повышенным тарифам. Это была игра по правилам, и “Энрон” здесь абсолютно ни при чем. А работа трейдера предполагает определенную агрессивность. Кто же будет продавать свою продукцию по заниженным ценам?

— Не все было так безобидно, как вы здесь пытаетесь нам представить, молодой человек. Знаете, что делали энроновские трейдеры? Они договаривались с электростанциями об отключении подачи электроэнергии, ну, скажем на один-два часа в день. Для профилактических работ. На электростанциях-то сидели свои же энронщики и могли это устроить в любое время. Так создавался искусственный дефицит электроэнергии. А в условиях дефицита, да еще если производитель монополист, цена продукции растет, а значит, растет и цена акций. То есть, пока Калифорния оставалась без света, компания наживала миллионы долларов. Такая манипуляция на бирже выходит за рамки, как вы говорите, “агрессивности” трейдеров. Тогда-то казалось, что для “Энрона” все идет отлично. Только люди опытные, понимающие толк в финансах, стали несколько удивляться такому постоянному везению одной отдельно взятой компании на бирже.

“Не бывает так, ребята, — говорили они. — Так свободная экономика не работает. Акции компании должны то подниматься, то падать. И потом, почему у нас нет информации об убытках “Энро-

на”? Прямо не компания, а черный ящик какой-то”. Да и в самой компании кое-кто прекрасно понимал, что происходит на самом деле. И эти “кое-кто” стали валить оттуда, пока не поздно. Говорят, что компанию можно было спасти. Но как-то так получалось, что никто не хотел этим заниматься. Люди, стоявшие у руля, не только Лэй, их было много, этих людей-то, думали только о себе. Они спешили скинуть свои акции, пока не поздно, получив за них миллионы долларов, а потом бежали с этого “Титаника”. На первых же слушаниях в Конгрессе...

— Не утруждайтесь, сенатор, вся Америка знает, что там было в Конгрессе. Вы пытаетесь использовать падение “Энрона” в своих политических целях, — снова довольно неучтиво прервал его Джефф. — Кен Лэй — человек достойный и, на мой взгляд, жертва обстоятельств...

— Значит, у нас с вами разные взгляды на достоинство, — не дал перебить себя Эванс. Я стал говорить об “Энроне” только с одной целью — показать вам, молодой человек, к чему приводит ослабление контроля государства. В этой истории были замешаны самые крупные банки Америки, финансовые ревизоры, юристы. Все они знали или должны были знать об истинном положении дел в компании. И все они приняли участие в преступном сокрытии информации. Почему? Да потому что акции этой компании до поры до времени котировались невероятно высоко, и все просто спешили сорвать куш пока не поздно, забыв обо всем другом. И главное, такие истории будут повторяться снова и снова, пока государство не вернет себе утраченные позиции. И я первый же начну работать над проектом закона, препятствующего развитию подобного сценария. Но мне нужна ваша помощь, ребята...

При этих словах Джефф Макмэрфи встал, громко хлопнув откидным сидением, и направился к выходу. Остальные с интересом уставились на сенатора.

— И уверяю вас, свободные цены на газ и электроэнергию в нашем штате не пройдут, — крикнул уже ему в спину Эванс.

Роберта снова охватило беспокойство: почему они заранее не обговорили это выступление. Ему казалось, что сенатору не удастся заинтересовать ребят. Разговор как-то не шел. Некоторую нервозность создавала и не сидящая на месте администраторша. Она все время вскакивала и куда-то убегала, проворно перебирая мускулистыми ногами, обутыми в кроссовки, явно неподходящими к ее официальному темно-синему костюму.

Спасение пришло в виде белобрысенькой девушки с волосами, собранными в хвостик на макушке. Подняв руку, она терпеливо ждала, когда ее, наконец, заметят

— А какой колледж вы закончили? — спросила она сенатора, — И вообще, расскажите о себе.

— Знаете, у меня не было особого выбора. Мой отец работал на ткацкой фабрике, а пределом моих мечтаний был мотоцикл и работа в гараже. Но мои родители страстно хотели дать мне образование, на которое у них не было денег. И, собственно, только ради них я и подался в футбол еще в школе и даже стал капитаном школьной ко-

манды. Не верите? — Последняя фраза принесла кое-какое оживление. — Вот и тренер не поверил, что я могу играть в футбол, когда я к нему пришел в первый раз. Он так оценивающе посмотрел на меня... — Сенатор показал, как именно тренер посмотрел на него. В зале раздался смех. Всем было видно, что он невысокого роста, и хотя телосложение его было достаточно крепкое, плечи не отличались шириной, — и говорит: “Ну что ж, приходи завтра на тренировку. Посмотрим, на что ты годишься”. Я, конечно, пришел. Был отличный прохладный летний день. Градусов так тридцать пять тепла. Солнце в зените. Тренер дал мне для начала пять кругов. И вот пока я бежал первый круг, я увидел на соседнем поле девушек в белых юбочках, играющих в теннис. Помню, я еще успел подумать, что надо бы с ними познакомиться. На втором круге я подумал, а почему я хочу играть в футбол, а не в теннис, например. Я уже не помню сейчас, что думал на третьем и четвертом, помню, что пробежал-таки все пять, а потом упал прямо на беговую дорожку и понял, что это провал. Настоящий провал, и я ни на что не гожусь. Мне кажется, я даже отключился на какое-то время. А когда открыл глаза, увидел над собой тренера, который мне и говорит: “Отлично, парень. Придешь осенью тренироваться”. По сей день я благодарен этому человеку за то, что он дал мне шанс. Пришлось поработать летом на бензоколонке, чтобы купить себе форму. Ну, знаете, шлем и все такое. А осенью начал-таки играть в школьной команде. Оказалось, что я довольно быстро бегаю и неплохо пасую мяч. Так что, окончив школу, я даже и не выбирал колледж, а пошел туда, где мне дали стипендию. Это был частный колледж с либеральными традициями, но я как-то не мог понять, зачем я там оказался, и уже подумывал об уходе, когда познакомился с Лизой Миррей. Встреча с ней изменила всю мою жизнь.

— Ой, расскажите, — сразу несколько девушек захотели узнать подробности этой решающей для сенатора встречи.

— Хорошо, — улыбнулся Эванс. Он был не прочь рассказать о себе. — Лиза была человеком целеустремленным и, уже закончив школу, знала, что будет адвокатом. Я же...

— Ненавижу адвокатов. Они все рвачи и лгуны, — снова не выдержал кто-то из непонравившихся Роберту молодых людей.

— Я и сам так долго думал, — вполне дружелюбно согласился сенатор. — Во всяком случае, пока не встретил Лизу. Это было давно, в начале семидесятых, когда ваши будущие родители смотрели по телевизору бесконечный сериал “Беглец” про доктора Ричарда Кимбэлла, обвиненного в убийстве жены, которого он не совершал, и приговоренного к смертной казни. “Невинная жертва слепого правосудия” — до сих пор помню голос за кадром.

Оказалось, что многие в зале смотрели ремейк этого фильма с Харрисоном Фордом¹.

— Отлично. Значит, вы видели, как случай помог доктору Кимбэлла бежать из поезда, сошедшего с рельсов, когда его везли в тюрьму для исполнения приговора. И как весь фильм за ним гонялся

¹ Известный американский актер.

инспектор Жерард, который, между прочим, прекрасно понимал, что Кимбэлл не убийца, но считал своим долгом поймать его и привести приговор в исполнение потому, что присяжные вынесли вердикт — виновен. На наших глазах разворачивалась история вопиющей несправедливости, допущенной судебной системой: осуждение невиновного. В конце концов, настоящий убийца был найден и Кимбэлл оправдан, но в реальной жизни это случается далеко не всегда. И вот Лиза решила, что мы должны что-то делать, чтобы положить этому конец. Так мы стали адвокатами и мужем и женой.

Было видно, что Эвансу приятно это воспоминание и, возможно, он хотел добавить что-то еще про свои достижения на поприще борца за справедливость судебной системы, но появление молодого человека, несущего на плече здоровенную пупырчатую игуану яркого зеленого цвета, отвлекло внимание всех находящихся в зале. Ничуть не смутившись, парень направился прямо к сцене.

— Мне велели забрать ее из общежития, а пойти нам больше некуда. Пусть Чика слушает сенатора тоже. Можно, мы потом вместе сфотографируемся?

Парень явно упивался всеобщим вниманием в отличие от Чики, которая, упираясь растопыренными лапками в его плечо, не проявляла никакого интереса к происходящему. Особенно радовалась все та же самая тройца в центре зала. Кто-то защелкал мобильником, делая фотографии игуаны. Ощущение провала снова повисло в воздухе. Эванс с надеждой взглянул на администраторшу. Та только пожала в ответ плечами: не вышвыривать же их из зала. Справляйтесь сами.

И снова положение спасла девушка. На этот раз рыженькая, с большим количеством веснушек на круглом лице и гривой волнистых волос ниже плеч.

— Отнеси ее в зоопарк, Карлос, — сказала она неожиданно громко, перекрывая шум в зале. — Я сюда пришла не фотографироваться с игуаной, а послушать сенатора Эванса. К тому же у меня есть несколько вопросов.

Охватившее зал веселье несколько успокоилось после ее слов.

— Мы так ведем себя, — продолжала рыжеволосая девушка, — как будто ничего не происходит в мире и нас волнует только плата за обучение. Ты сам говорил, Карлос, что твой брат сейчас в Ираке.

— В самом деле? — постаралась перехватить инициативу Эванс. — И что он пишет?

— Ну, у них там под пятьдесят градусов жары и песчаные бури, а техника никуда не годится. Моторы забивает песком. Он пишет, что эта война надолго. А вот вы, сенатор, что думаете? — не снимая полусонную игуану с плеча, Карлос уселся недалеко от сцены.

— Меня трудно заподозрить в любви к президенту Бушу, но я голосовал за эту войну. Мир изменился вокруг нас после 11 сентября. Кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке? А я был. И видел, что осталось от башен-близнецов. Советую вам когда-нибудь навредить это место. Впечатляет, поверьте. Такое злодеяние нельзя оставлять безнаказанным. К тому же я уверен, что мы найдем у Саддама если не атомную бомбу, то что-нибудь подобное. У меня нет ни малейших сомнений на этот счет и, насколько я знаю, есть серьезные свидетельства его связи с террористами.

Сенатор мог еще долго говорить об опасности исходящей от Саддама и Аль-Каиды, но тут все тот же Карлос с игуаной на плече в нетерпении поднял руку для вопроса:

— А я вот слышал, сенатор, что все это дело спецслужб. Может такое быть? Я не знаю, что и думать.

Роберту показалось, что на мгновение Эванс опешил, не ожидая такого вопроса.

“Да пошли ты его подальше”, — мысленно подсказал он сенатору, но тот решил отвечать, пустив в ход, как всегда делал в трудных случаях, тон особой доверительности. В зале притихли опять.

— Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы подготовить операцию такого масштаба? Год, два, три? Насколько я знаю, у Усамы Бен Ладена на это ушло десять лет. А теперь давайте вспомним, сколько времени было у Буша к моменту атаки. Вы ведь подразумевали именно его в центре заговора, если я не ошибаюсь?

Карлос пожал плечами, слегка потревожив сон игуаны, испугано открывшей глаза.

— Так вот, — продолжал Эванс, — в распоряжении Буша и его компании было всего полгода. Маловато, прямо скажем, для подготовки такого события как “одиннадцатое сентября”, и потом, давайте посмотрим, а кто, собственно, исполнитель этого страшного заказа. ЦРУ? Но во главе ЦРУ человек, совершенно чуждый техасской мафии. Джордж Тенет стал директором еще при Клинтоне. Может ли Чейни доверить ему что-либо? Очень сомневаюсь. Кто-то помимо Тенета? Но, опять же, заговор такого масштаба не прошел бы незамеченным в ЦРУ. Пентагон? Но Рамсфельд испортил отношения с генералитетом уже через два месяца после своего назначения. Все ожидали его отставки как раз накануне 11 сентября. На него непременно бы донесли. И вообще, вы недооцениваете способностей наших журналистов. Именно им принадлежит заслуга разоблачения всех предыдущих заговоров. Я не большой поклонник республиканцев, но одно могу сказать про них совершенно определенно — они не самоубийцы. В случае малейшего подозрения с этой партией было бы покончено раз и навсегда. Нет, ребята, мое твердое убеждение — никакого заговора не было. Другое дело, что для нашего правительства оказалось удобно использовать 9/11¹ в своих интересах. И вот это-то и должно быть объектом пристального расследования, — добавил Эванс, вспомнив телефонный разговор с журналистом, — не исключаю, что парочка скандалов у нас еще впереди, да и комиссия Конгресса пока не закончила свою работу. Думаю, они попытаются ответить на многие вопросы и, прежде всего, как вообще эта атака оказалась возможной.

— А вот я смотрел фильм в интернете, — не сдавался Карлос, — где доказывается, что Башни были взорваны, а не обрушились из-за пожара...

— Да? — не дал договорить ему сенатор уже с легким раздражением в голосе. — Что это за фильм такой? — при этом он быстро

¹ Найдено название в Америке событий 11 сентября.

взглянул на Роберта. Тот, правильно истолковав его взгляд, три раза сжал растопыренную пятерню в воздухе, дав понять, что у них только пятнадцать минут до конца встречи.

— В интернете сейчас миллион таких фильмов, — откликнулась рыженькая девушка из зала.

— Окей, вот что я скажу: что бы они там ни показывали, я уверен, это все абсолютная хрень, хотя и кажется убедительной. Архитекторы будут рассуждать с умным видом и рисовать схемы, журналисты будут брать интервью у свидетелей, Бог знает что видевших своими глазами, а инженеры будут рассказывать о правильном цвете дыма. Мне в своей жизни уже приходилось встречаться с кое-чем похожим... Где-то лет тридцать назад, когда мне было примерно столько же лет, сколько вам сейчас, меня ужасно занимала модная тогда идея посещения нашей планеты представителями иных миров. Я даже помню, как мы всей семьей смотрели по телеку докфильм на эту тему. И в фильме выходило так, что инопланетяне не только были на Земле, но и оставили после себя тысячи загадочных следов, над которыми человечество бьется и никак не может разгадать до сих пор. На что моя мама, женщина простая и наивная, сказала: “Вот зачем они нам головы-то так заморочили? Какая странная была у них цель: как можно больше наследить, но открыто так и не явиться”. Папа мой был человеком прагматичным и решил, что ни во что такое не поверит, пока своими глазами не увидит, ну, а у меня, как и у всех моих сверстников, появилось горячее желание встречи с этими загадочными посетителями, потому что я всем сердцем верил в их существование. Еще бы! По телевизору-то все так убедительно показали. Правда, с годами это желание ослабело.

— Но это же другой случай, согласитесь, — крикнул кто-то из студентов.

— Разве? Вы хотите сказать, что зеленые человечки и горящие «близнецы» — не одно и то же. Согласен. Но в обоих случаях это события, потрясшие человеческое воображение, и так уж мы устроены, что часто верим в то, во что хотим верить, отмечая доводы разума.

— Тогда поделитесь доводами своего разума, сенатор, — донесся тот же голос.

Но у сцены уже стояла администраторша, в нетерпении переминаясь с ноги на ногу, словно ожидая подходящего момента пуститься в дальний забег. Сенатор одарил ребят одной из своих самых обаятельных улыбок:

— Все не так уж сложно, друзья мои. До того достопамятного сентябрьского утра “боинги” не врезались в небоскребы, подобные «близнецам». У нас нет данных для сравнений и умозаключений, поэтому-то многие с легкостью поддаются тем доводам, которые кажутся им убедительными. И часто эти доводы недостоверны. На каждую версию всегда найдется контрверсия, и так будет до тех пор, пока нам не станут известны точные факты...

— Разрешите мне поблагодарить сенатора Джона Эванса за интересную встречу, — наконец встряла администраторша, дав понять собравшимся, что “сеанс окончен”.

Несмотря на духоту, висевшую в полуденном воздухе, кампус походил на муравейник. Студенты сновали между корпусов, навьючивали автомобили своим нехитрым скарбом, шумно прощались друг с другом с неперенными пожеланиями счастливого лета и обязательной встречи осенью и, рассевшись, наконец, по машинам, медленно ехали в сторону главных ворот, чтобы оттуда выбраться на простор хайвэя и навсегда скрыться с глаз Роберта, поджидавшего сенатора на стоянке у театра.

Глядя на эти шумные расставания, он испытывал что-то сродни уколам зависти. Ему не пришлось закончить колледж, да и друзей у него не было. Так, одни многочисленные знакомые, с которыми приходилось иметь дело по работе у сенатора.

“Ну, сколько это может продолжаться”, — в нетерпении думал он, глядя, как Эванс разговаривает о чем-то с рыжей девушкой и еще несколькими ребятами, вышедшими его проводить. Свежая с утра рубашка сенатора пропиталась потом, да и весь его вид говорил скорее об усталости, чем о радости общения с молодым поколением избирателей. “Ладно, сейчас поможем”, — Роберт набрал номер мобильного сенатора.

— Иду, — коротко ответил тот, торопливо распрощавшись со студентами и решительно направляясь к машине.

— Ну, и как вам подрастающее поколение? Интерес удовлетворен? — не без ехидства спросил Роберт сенатора, когда они выехали из ворот университета. — И что это за некая дама из банка?

— Какая дама? — не понял Эванс.

— Ну, которая жаловалась на то, что студенты не выплачивают свои долги.

— Да нет никакой дамы, Бобби, я ее придумал. Надо же было как-то начать разговор с ребятами.

— Ну, вы даете, сенатор... Кстати, знаете как зовут того парня очкарика, который все время защищал Лэя, а потом и вовсе демонстративно убрался?

— Да откуда ж мне знать. Занудный пацан попался.

— Он не просто занудный пацан. Он внук Сэма Макмэрфи, — сидящий на заднем сидении Роберт многозначительно посмотрел на затылок сенатора.

— Да ну? — слабо отреагировал тот. — Кажется, поумней своего деда будет. А рыженькая девочка очень даже хорошенькая, ты не находишь, Патрик? — и Эванс повернулся к охраннику, почувствовав какое-то напряжение в его молчании.

— Не знаю насчет девушки, сэр, но троица, сидящая по центру, вызывала у меня беспокойство.

— Это, с жевательной резинкой-то? — подхватил Роберт. — Я их со спины узнаю. Самоуверенные такие задницы. Техас, одним словом. К ним не подходи, а то пристрелят.

— Во-во. Предупреждаю, сэр, я напишу рапорт о нарушении вами протокола при входе в закрытое помещение, — в беспристрастном голосе Патрика звучали легкие нотки недовольства.

— Черт знает, как это получилось, — сенатор искренне переживал, когда кто-то был им недоволен. — Обещаю исправиться и соблюдать этот твой протокол в следующий раз.

Он откинулся на сидении и закрыл глаза. И тут же в памяти его возникло худенькое личико и спутанные темные волосы девушки, сидящей во дворе того жуткого барака под кустом акации.

“Кого же мне напомнила эта девочка?”, — успел подумать Эванс перед тем, как провалиться в короткий и крепкий сон усталого человека, только что завершившего важное для него дело.

Утро одиннадцатого сентября 2001 года. Прекрасный город Сарасота во Флориде. Визит президента Джорджа Буша в начальную школу. На заднем плане учительница, что-то читающая детям. Дети за кадром, зато президент виден отчетливо. О первом самолете, врезавшемся в небоскреб Всемирного торгового центра, он узнал еще по пути в школу. В девять часов пять минут ему сообщают о втором самолете. Ни о какой ошибке пилота больше не может быть и речи — это спланированная атака. Вглядимся в лицо президента. Дайте крупный план, пожалуйста. Растерянность. Видно, что в своих мыслях он уже покинул класс начальной школы, хотя продолжает сидеть перед детьми, держа в руках книгу. Позднее он скажет, что ему было важно продемонстрировать отсутствие паники и спокойствие. Вид у него скорее подавленный. О чем он сейчас думает? Пытается вычислить тех, кто напал? Составляет в голове план действий? Он хочет немедленно вернуться в Вашингтон. Вице-президент Дик Чейни и советник по национальной безопасности Кондолиза Райс категорически против.

После десяти часов утра местонахождение президента США засекречено.

Лора Буш в красном строгом костюме и с двумя нитками белого жемчуга вокруг шеи приготовилась докладывать комиссии Сената в Вашингтоне о программе обучения детей младшего возраста. Выслушать доклад первой леди комиссии не пришлось. Сотрудники Секретной службы доставили ее в бункер. Под их защиту взяты также дочери президента.

Преподобный отец Майкл Джадж уже отслужил утреннюю мессу. Начинается последний, ничем пока не примечательный, день его жизни. Он капеллан Нью-Йоркского департамента пожарных. Частый гость на их свадьбах и похоронах. Хорошо знаком и полицейским. Тревожный вой пожарных сирен заставляет его выйти на улицу. Вместе со всеми отец Майкл бросается туда, где дымятся два небоскреба. Оцепление полицейских пропускает его в вестибюль Северной башни. В хаосе происходящего мэр Джулиани замечает фигуру высокого седого старика, склоненную над умирающим. Они знакомы.

- Опасно, здесь очень опасно, святой отец. Надо уходить.
- Нет-нет. Я останусь...
- Тогда помолитесь за всех нас...

Преподобный Майкл погиб еще до того, как рухнула Северная Башня. Пожарные успели вынести его тело. Он стал первой официально зарегистрированной жертвой теракта 9/11. На его похороны собрались сотни людей.

— Какую счастливую жизнь прожил преподобный Майкл, — сказал архиепископ Нью-Йорка, — он жил и умер так, как хотел.

Государственный секретарь Колин Пауэлл находится в Перу, в Лиме. Только вечером ему удается прилететь в Вашингтон.

Директор ЦРУ Джордж Тенет завтракает в кафе с приятелем. Узнав о нападении, он бросается в свой офис. Двенадцать минут в дороге кажутся ему вечностью. Тенет один из немногих людей в Америке, понимающих, что сейчас происходит.

После того, как второй самолет врывается в Башню, он отдает распоряжение об эвакуации главного штаба ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. На месте остаются двести человек, работающих в антитеррористическом центре. Они, как и Тенет, знают, кто стоит за атакой. Бен Ладен. Значит, удары будут продолжены. Это их поражение. Шок. О чем они сейчас думают?

О том, что упустили возможность убить Бен Ладена еще в феврале 1999 года, когда обнаружили его лагерь в Афганистане? Предотвратила бы атаку его смерть? Вряд ли. Надо продолжать работу.

Директор ЦРУ должен представить президенту и его советникам доказательства участия Аль-Каиды в нападении на Америку. Делаются срочные запросы списков пассажиров, летевших в угнанный самолет. Авиакомпания отказывает органам разведки в получении личной информации. Всегда уравновешенный и спокойный Тенет на этот раз срывается. Несколько нецензурных слов, сказанных им по телефону, убеждают бюрократов рассекретить списки. Так и есть. Два имени известны. Халид аль-Михдхар и Наваф аль-Хазми. Они члены Аль-Каиды и значатся в списках наблюдения не только ЦРУ, но и ФБР. Как можно было пропустить этих людей в самолеты?

Министр обороны Дональд Рамсфельд в Пентагоне. Он отказывается переместиться в бункер.

— Я уже стар бегать туда-сюда.

Через несколько минут самолет врывается в Пентагон. Какое-то время Райс не может связаться с ним по телефону. Наконец, его мобильник отвечает.

— Жертвы есть. Пока не знаем сколько.

Глава правительственной группы по борьбе с терроризмом Ричард Кларк срочно покидает конференцию, не имеющую ничего общего с происходящим сейчас в Америке. Уже через пятнадцать минут он в Белом доме. Кларк, как и Тенет, понимает, что атака не закончена.

— Это что, война? Сколько еще самолетов превращены в ракеты? Что будет следующей мишенью?

С борта номер один президент закончил короткий разговор по телефону с вице-президентом.

— Да. Это война, — обращается он к находящимся неподалеку членам экипажа, — и кто-то получит сполна за все, что они сделали сегодня. Это я вам обещаю. В конце концов, за это мне платят зарплату.

Взглянуть в лицо Дику Чейни этим утром удается немногим. Ворвавшемуся к нему в кабинет Ричарду Кларку показалось, что он увидел ужас в его глазах. Разглядывать некогда.

Сотрудники Секретной службы поспешно уводят вице-президента и его жену в бункер под Белым домом. Рядом с ним Кондолиза Райс и другие высокопоставленные чиновники. В бункер набивается слишком много народу. Кислорода не хватает. Лишних просят срочно покинуть помещение. Объявлена эвакуация Белого дома и Конгресса. В Вашингтоне хаос. Дамам советуют снять туфли на шпильках и бежать. Куда? Подальше от правительственных зданий. В толпе покидающих Белый дом сотрудников Дэвид Эддингтон. Обычно он едет домой на метро. Сегодня приходится идти пешком.

Ричард Кларк в Антикризисном центре. Принято решение закрыть воздушное пространство над всей страной. Больше нет вылетов из аэропортов. Всем, кто в воздухе, приказано срочно идти на посадку. С тремя "Боингами 757" нет связи. Два самолета откликнутся немного позже. Там все в порядке. Рейс "Юнайтед-93" не отвечает.

Бункер оснащен по последнему слову техники. Отсюда можно связаться со всеми стратегически важными государственными структурами. Чейни отдает приказ поднять в воздух истребители. Решение сбивать захваченные террористами самолеты гражданской авиации согласовано с президентом. Один из летчиков, получивших приказ, запрашивает диспетчера:

— Это игра?

— Нет, сэр! Это реальное задание.

Держа на руках годовалую дочку, Лизабет Глик в ужасе не сводит глаз с экрана телевизора, по которому показывают горящие башни-близнецы.

— Какое счастье, что у Джереми другой рейс, и он летит в Калифорнию, — думает она. Но тревога сжимает ее сердце. — Скорей бы он позвонил и дал знать, что с ним все в порядке.

Она не помнит, в какое время раздался долгожданный звонок.

— Наш самолет захвачен.

Лизабет не может точно вспомнить, о чем они говорили потом. Несколько мгновений прощания. Она помнит слова Джереми:

— Слушай, Лиз, мы тут с ребятами решили взломать дверь в кабину и атаковать угонщиков. А ты что думаешь об этом?

— Я думаю, вы должны попробовать, — говорит Лизабет. Через несколько минут ей слышен какой-то шум. Крики. Рев. Тишина.

“Юнайтед-93” исчезает с радара. В бункере становится тихо. Здесь думают, что самолет сбит истребителями. Через какое-то время Чейни сообщают, что военные не обнаружили “Юнайтед-93” в воздухе, но внизу они видят дымящуюся воронку. Скорее всего, это след упавшего самолета.

— Господи! — не выдерживает кто-то в бункере.

Рухнула первая башня. Кажется, на секунду Чейни прикрывает глаза. Голос спокоен:

— Соедините меня с Эддингтоном.

Вот он — звездный час. Дождался. Наконец, Чейни оказывается в ситуации, требующей от него сосредоточения всех сил и накопленного за тридцать лет опыта политической игры. У этой ситуации есть название. Война. Чейни понимает, что ее придется вести на два фронта. У себя дома — с Конгрессом, а за пределами Америки — с террористами. Эддингтону приходится вернуться в Белый дом. Секретная служба проводит его в бункер. Отсюда он начнет атаку на американскую демократию.

Между тем, советник президента по национальной безопасности Кондолиза Райс проводит бесконечные совещания по телефону. Всем ясно, что это война и ответные действия неизбежны.

Война с кем? А что, мисс Райс, вы до сих пор не знаете, кто наш враг? Странно. Ричард Кларк еще в январе ввел вас в курс дела. Рассказал о террористической группе, имеющей филиалы в шести десяти странах мирах. Написал докладную, требующую немедленного принятия чрезвычайных мер по предотвращению угрозы террористических атак на территории Америки. Такие чрезвычайные меры могут быть приняты только совместными усилиями президента и его кабинета. Когда вы провели первое совещание с этой повесткой? В апреле. И как? Да никак. Никто из “главных” не поверил в то, что кучка бедуинов может стать реальной угрозой для сверхдержавы.

Пол Вулфовец скептически отмахнулся от докладывающего Кларка:

— Вы слишком много уделяете внимания этому, как его, Усаме Бен Ладену, Ричард.

— Других террористов у меня для вас нет.

— Как нет? А Саддам?

Но и у Тенета нет ничего на Саддама. Не он — угроза национальной безопасности страны.

— Странно. Саддам Хуссейн наш враг, а вам ничего об этом неизвестно. Плохо работаете, ребята.

Ребята поняли, что дело и вправду плохо. Их окружают стеной непонимания. Самые тревожные данные разведки предпочитают считать ненадежными и недостоверными. Но таких данных накапливается все больше и больше. Аналитики в ЦРУ сравнивают сведе-

ния различных источников о готовящемся теракте на территории США. У них нет сомнений. Что делать? Ну-у, писать докладные. Первая докладная о том, что Бен Ладен готовит похищение самолета для атаки на Америку, была написана еще Клинтону. Американские авиакомпании завалены предупреждениями о возможных проникновениях в кабину и нападениях на пилотов. Что предпринято? Ничего. Почему? У Тенета нет ответа на этот вопрос. Теперь он пишет докладные Бушу и Райс. Наконец, после одного особенно тревожного совещания, она подходит к нему с вопросом:

— Что вам нужно, мистер Тенет, чтобы предотвратить возможное нападение?

— Разрешение долбануть ракетами по лагерю Бен Ладена в Афганистане. Мы не можем сидеть и ждать, когда они ударят первыми. Это слишком опасно.

Дать такое распоряжение Райс не может. Это не в ее компетенции. Но Тенет может ознакомить Конгресс с тревожной информацией, сыплющейся на него со всех сторон. Здесь все помнят казус Клинтона, отдавшего приказ нанести ракетный удар по опустевшему лагерю Аль-Каиды. Может, там никогда и не было никого, а Клинтону просто понадобилось отвлечь внимание общества от своих личных проблем, связанных с Моникой Левински.

— У вас есть гарантии, что Бен Ладен будет уничтожен в результате ракетного удара? Таких гарантий у Тенета нет.

— Тогда все. Тема закрыта. Мы не можем разбазаривать деньги налогоплательщиков. Вы знаете, когда и где террористы нанесут удар? Не знаете. Тогда собирайте информацию. Работайте. До новых встреч.

Ну что ж, ребята продолжают работать. На срочном совещании у Райс в июле 2001 года присутствует не только Тенет. Он привел с собой высших офицеров ЦРУ. Здесь же Ричард Кларк со всей своей группой. Семь различных источников за последние сутки информируют о приближающемся грандиозном ударе по Америке.

— Это война, мисс Райс.

Она оборачивается к Кларку.

— Вы согласны с этим, Ричард? Это правда?

— Да.

Казалось бы, вещи названы своими именами. Теперь-то уж что-то будет предпринято. В срочном порядке будет разработана новая политика национальной безопасности, развязывающая руки ЦРУ. Они готовы к военной операции в Афганистане. Они готовились к этой операции последние три года. Король Иордании Абдулла пишет лично Тенету: “Два батальона иорданского спецназа будут предоставлены ЦРУ для наземной операции в Афганистане”.

— Спасибо, ваше величество, — отвечает Тенет, — мы сами не можем дожидаться разрешения нанести упредительный удар. Вот у нас есть, наконец, “Предатор”. Беспилотник, кружащий над Афганистаном, передающий наземное изображение прямо в Центр. Может, мы видели и Бен Ладена. Только долбануть все никак не можем, ракеты к беспилотнику не готовы. Так и кружит пока. Высматривает.

В августе люди Тенета навещают президента на его ранчо. Отпуск не прерван. Рубит кусты президент. Отдыхает.

Наконец, 4-го сентября 2001 снова совещание “главных”.

— А у вас есть точные данные, когда и где? Опять нет. Так что вы хотите от нас?

— Что-то надо делать.

Все согласны. Кондолиза посмотрит, как идут дела с ракетами для беспилотника. На крайний случай можно обойтись и простыми. Пауэлл отправится в Пакистан договариваться с Мушаррафом. Все-таки ракеты полетят над ними. Вдруг недолет?

И это все? Боже, спаси Америку!

Мисс Райс, вы до сих пор не знаете, кто это сделал? Пентагон еще горит. Манхэттен покрыт слоем белой пыли и разлетевшимися бумагами. Башен-близнецов больше нет. Люди выстроились в очередь сдавать кровь для раненых. Раненых не оказалось. Одни погибли. Пока неизвестно сколько. Президент вернется в столицу в семь вечера. Он должен сказать людям, кто это сделал. Спичрайтер готовит обращение к нации.

— Так что писать-то?

Вопрос непростой. Мэр Нью-Йорка Джулиани на связи.

— Счет жертв пойдет на тысячи. Одних пожарных и полицейских человек четыреста.

Что сказать фермеру, бросившемуся к месту падения “Юнайтед-93” на поле в Пенсильвании? Что сказать обезумевшим от горя родственникам, пытающимся найти неоткликнувшихся близких?

— За что они нас ненавидят? — спрашивает пожилая негритянка охрипшего телекомментатора. Он и сам хотел бы это знать.

— Значит, так. Не надо ничего конкретного. Ни слова об Аль-Каиде. Обозначим врага словом “террористы”, но непременно упомянем и тех, кто дает им пристанище. Пусть весь мир услышит: повсюду будет крупномасштабным и решительным.

Обращение написано и послано факсом на Борт номер один. Буш просит соединить его с Райс.

— Конди, мне говорить только о террористах?

— Говорите, как написано. Чем раньше мы это скажем, тем лучше для нас.

— Значит, война будет объявлена не только террористам, но и тем, кто их укрывает.

— Выходит, так.

— Ну что ж. Я согласен с таким решением.

В восемь часов вечера президент Америки Джордж Буш обращается с коротким посланием к народу своей страны. Читает все как написано, без изменений.

— Сегодня на нас и нашу свободу было совершено нападение...

Дело серьезное. Война. Пока не понятно с кем, может, со всем миром. Вон, Тенет, говорит, что у Аль-Каиды базы в шестидесяти странах мира. Значит, будем выдерживать эти базы одну за другой, как морковку с грядки, пока все не уничтожим.

Эддингтон работает в бункере. Конституция США открыта на Статье II. Снова и снова читает он давно знакомые положения. Исполнительная власть в стране предоставляется президенту. Так. Подробное описание порядка выборов и требований к кандидату в президенты. Так. Не это сейчас важно. Вот оно: президент имеет звание главнокомандующего. Но в Конституции нет ни слова о полномочиях президента как главнокомандующего. Похоже, отцы-основатели оставили будущим поколениям разрабатывать это положение. Тогда откроем Свод Законов США. Есть в бункере эта книга? Непременно. Открываем. Президент США может вводить в стране чрезвычайное положение и отдавать приказ на ведение боевых действий. Хорошо. Зато отменить чрезвычайное положение может и Конгресс, и только Конгресс имеет право объявлять войну. Как все сложно. Какое-то постоянное переплетение обязанностей и прав. Сколько возможностей для различных толкований. Дальше. Не всякий военный конфликт приравнивается к войне. Понятно. А что делать, если возникает ситуация срочного реагирования? Тогда есть "Резолюция о военных полномочиях", принятая в 1973 году, вопреки вето президента Никсона. В ней говорится, что в случаях, когда президент посылает войска за границу для проведения военной операции, он обязан в течение последующих 48 часов представить отчет о своих действиях Конгрессу. Если действия президента не получают поддержки и война не будет объявлена, войска должны быть возвращены на родину через 60 дней. Самая длительная отсрочка еще на 30 дней.

А вот тут нужно очень серьезно подумать. Аль-Каида — международная террористическая организация, объявившая джихад западной цивилизации. Острие их ненависти направлено на Америку. Каков будет ответ Америки на этот вызов? Мощный кратковременный удар по лагерям террористов или затяжная война? Если война, то совершенно новая, с которой еще никому не приходилось иметь дела, ведь, несмотря на то, что ни одно государство не угрожает Америке, военные действия могут быть начаты против тех стран, где укрываются террористы. Заявка на такого рода действия уже подана в речи президента. И если это будет война с несколькими странами, то почему президент должен каждый раз обращаться к Конгрессу за разрешением ее начать?

Так или иначе, Дэвид Эддингтон работает над черновиком нового закона, дающего чрезвычайные неограниченные права президенту как главнокомандующему вооруженных сил, объявлять войну в любое время и в любой точке земного шара. Вмешательство Конгресса и Верховного суда в управление и контроль над государством должны быть приостановлены. Вот она — старая идея Чейни в новом воплощении. Надо срочно закрепить ее в виде закона.

Звонок из бункера в Министерство юстиции.

— Соедините с дежурным консулом.

— Джон Ю слушает.

Да, он видел по телевидению то, что видел весь мир. Да, он понимает, что ответом на такое нападение будет объявление войны. Да. Он согласен с тем, что президент должен расширить свои полномочия в чрезвычайной ситуации. Подробности будут обсуждаться несколько часов на всевозможных видео-конференциях. Состав конференций расширен. Это уже не дуэт Эддингтон-Чейни. Это трио.

Джон Ю молод, ему всего тридцать пять лет, но он добился значительных высот в своей карьере. Профессор одного из самых престижных университетов в Америке. Консерватор. Его трактовка законов, принятых отцами-основателями, любопытна. Окажется, они предполагали наделить президента нового государства королевскими полномочиями в области внешней политики. Какое везение, что сейчас он работает в Управлении юрисконсульта. Это небольшой отдел в Министерстве юстиции при Генеральном прокуроре США, о котором мало что известно несведущим в политике людям. Только не Аддингтону. Он-то прекрасно знает, что Управление юрисконсульта самое влиятельное в федеральном правительстве. Действие президента, получившее там “обоснованное одобрение”, считается правовым. Рассылаемые этим отделом меморандумы имеют силу законов. Какая удача. Джон Ю готов написать меморандум, в котором будет обосновано законное право президента начинать войну где, когда и с кем угодно по своему усмотрению, минуя Конгресс. Что вы хотите? Это же чрезвычайная ситуация, а для чрезвычайной ситуации должны быть приняты чрезвычайные законы.

Государственный секретарь Колин Пауэлл, наконец, возвращается в Вашингтон. По его просьбе самолет делает круг над дымящимся Пентагоном. Территория Америки не подвергалась нападению сто восемьдесят девять лет. Он успеет к первому совещанию военного кабинета. Все главные члены правительства в сборе. Джордж Буш отводит в сторону своего вице-президента.

— Знаешь, Дик, с этого дня я буду сам проводить совещания.

Новая интонация в голосе. Внимательный взгляд Чейни из-под очков.

— Конечно, мистер президент. Кто бы спорил.

— Ну что ж, начнем с Джорджа Тенета.

У ЦРУ сомнений нет. Это дело рук Аль-Каиды. Их почерк. Дик Чейни с недоверием смотрит на Тенета. У него есть основания не доверять данным разведки. Хотя бы потому, что Тенет для него чужой. Вообще непонятно, как этот человек до сих пор возглавляет ЦРУ. К тому же, девять лет назад, сразу после войны в Персидском заливе, инспекторы ООН совершенно случайно обнаружили место в Ираке, где шла разработка атомного оружия. Еще немного, и у Саддама была бы своя бомба, и американцы ничего об этом не знали. Для них полной неожиданностью было и испытание атомной бомбы в Индии, не говоря уже о падении Берлинской стены и развале СССР.

Они много чего проворонили тогда, могут проворонить и сейчас. Нет. Доверять данным разведки нельзя. Вернее, доверять данным этой разведки нельзя.

— Господин Тенет, вы понимаете, что для осуществления такого нападения нужны колоссальные средства? Откуда они у Аль-Каиды? Я думаю, за их спинами должны стоять мощные государственные структуры. Ирак, например.

Про нефть ни слова. Не тот момент. Рамсфельд поддерживает Чейни. Как всегда, они работают в паре.

— Уже три года как инспекторам ООН закрыт доступ в эту страну. Их последние донесения чрезвычайно тревожны. Саддам располагает химическим и бактериологическим оружием. Вполне возможно, у него уже есть и атомная бомба.

Коллин Пауэлл живо реагирует на это предположение. Ему понятно, что направление удара смещается в сторону Ирака. Однажды он уже имел дело с Саддамом, впрочем, как и Чейни. Только теперь он государственный секретарь, и несет ответственность за международную политику своей страны.

— Мы не можем начать военные действия против Ирака, не имея для этого твердых оснований. Более того, нам нужна коалиция. Надо немедленно созывать сессию ООН и требовать от Хуссейна возобновления работы инспекторов.

Кондолиза Райс молча записывает что-то в блокнот. Тишину нарушает скрипящий голос Рамсфельда.

— Есть то, о чём мы знаем, что мы это знаем. Есть то, о чём мы знаем, что мы это не знаем. Но есть также и то, про что мы не знаем, что мы этого не знаем.

Это что же он такое сейчас сказал? А то, что нам придется начать серьезно работать над сбором секретной информации против наших врагов. Удар по Тенету. Его информация их не устраивает. И вообще, пусть не думает, что знает больше других. Чейни поправляет очки.

— Нам предстоит много работать, оставаясь в тени.

Большой и грузный Тенет разворачивается в сторону вице-президента. Похоже, терпение начинает ему отказывать.

— Хочу вам напомнить, мистер Чейни, я много лет прошу дополнительных средств на подготовку секретных агентов. Нам нужно вести как можно больше своих людей в сеть Аль-Каиды.

— Деньги будут. Столько, сколько вам надо.

Тенет переглядывается с Кларком. Понадобилась гибель тысяч людей, чтобы до “главных” дошла опасность “кучки террористов”. Все смотрят на президента. Ему принимать решения. Возможно, в первый раз.

— Значит, так: разведка еще раз по всем своим каналам прощупает связь Бен Ладена с Хуссейном. Первый доклад Тенета завтра в 6:30 утра. Мисс Райс, что у нас там дальше на повестке дня? Письмо Конгрессу о введении чрезвычайного положения? Так. Подписано. Что дальше?

Чейни достает проект приказа о наделении президента чрезвычайными полномочиями на время войны.

— Мистер президент, знаете, вы и сами можете объявить войну, не спрашивая полномочий у Конгресса.

Джордж Буш задумывается на минуту. Его папа получил полную поддержку Конгресса, когда начинал войну в Персидском заливе.

— А как там у нас в Конституции-то написано?

В Конституции написано, что Конгресс является главным законодательным органом США. Четырнадцатого сентября открывается его срочная сессия. Читается письмо президента о введении чрезвычайного положения в стране и необходимости применения военных сил в ответ на нападение 11 сентября. Какой силы должен быть ответный удар? Какими полномочиями наделить президента?

Готовится проект решения. Он должен соответствовать “Резолюции о военном положении”, той самой, которая связывала руки еще Никсону. Чейни внимательно вслушивается в начавшуюся дискуссию. Ясное дело, Буш получит право начать войну и все понимают, что война эта будет отличаться от тех, которые приходилось вести раньше, но никто не говорит о необходимости даровать дополнительные полномочия президенту. Что еще можно ожидать от Конгресса, где большинство демократов. Чейни нужна другая резолюция, наподобие той, которую получил в свое время Линдон Джонсон: “Принятие всех необходимых мер для отражения атаки”. Голосование его уже не интересует. Идет подсчет. Единоголосно. Нет, подождите. Один голос против. Это кто же? Чернокожая демократка Барбара Ли, конгрессмен от Калифорнии. Она просит слова. Полторы минуты.

— Спасибо. Думаю, я уложусь. Мистер спикер, сегодня я стою перед вами с тяжелым сердцем, переполненным болью и глубокой печалью. Трагическое событие навсегда изменило нашу жизнь, — Барбаре удается справиться со слезами. — Я говорю с вами, повинуюсь голосу Бога и своей совести. Дело не в том, что я против резолюции, дающей право президенту начать войну, тем более что он может ее начать и без нашего разрешения, а в том, что кто-то из нас должен сказать: давайте остановимся и задумаемся над последствиями принятого нами решения. Против кого мы собираемся обрушить всю мощь нашего государства, и когда эта война будет считаться законченной? Сколько еще невинных жертв попадет под перекрестный огонь? Кстати, я думаю, нам не справиться одними военными действиями с терроризмом, настолько сложна и серьезна эта проблема. Мы не должны спешить сейчас, чтобы нам не пришлось сожалеть о нашем решении потом.

Барбара заканчивает свое короткое выступление словами:

— Да не уподобимся мы сами тому злу, которое преследуем.

Призыв не услышан.

— Конгрессмен Ли, такие выступления хороши в церкви, а не в Конгрессе. Сейчас время не рефлексий, а быстрых и решительных действий.

На адрес офиса Барбары Ли посыпались письма с обвинениями в предательстве и угрозы. Пришлось приставить к ней охрану.

Но и призыв Чейни-Эддингтона не услышан. Казалось бы все. Дело сделано. Проигрыши. Не совсем так. Есть еще путь в обход. Через Министерство юстиции. Там у них свой человек. Вроде. Генеральный прокурор Джон Эшкрофт. Настало время юрисконсульту Ю выполнять свое обещание.

И новый меморандум написан за десять дней. На двадцати пяти страницах Джон Ю рассматривает краткую американскую историю войн со ссылками на прецеденты, в которых президент-главнокомандующий действовал на свое усмотрение во время войны или чрезвычайной ситуации. Если подобные полномочия предоставлялись раньше, почему мы должны отказываться от такой практики теперь? Написано убедительно. Меморандум принимается Эшкрофтом и приобретает силу закона. Вот что делает знание бюрократических лазеек! То, что не проходит в Конгрессе, проводится через Офис юрисконсульта. Но генеральному прокурору не нравятся, что Джон Ю чересчур охотно сотрудничает с Бельем домом. Его отправят обратно на преподавательскую работу в университет, а президенту Бушу скажут, что пока Америка ведет войну, никто и ничто не может ограничить его власть в стране.

В то время как в Вашингтоне заседает Конгресс, Борт номер один доставляет президента в Нью-Йорк. Пересев на вертолет, он облетает Граунд Зиро. Картина ужасающая. Горы покореженного металла и бетона. Внизу тысячи людей копошатся как муравьи. Это добровольцы, записавшиеся работать здесь днем и ночью. Они уверены, что под завалами еще есть живые люди. Большинство из них пожарные. В Америке эта специальность почетная, передается от отца к сыну. Считается братством. Люди сюда явились семьями. Сыновья ищут под завалами отцов, отцы пришли откапывать сыновей. Здоровенные мужики, привыкшие к тяжелой и опасной работе. За три дня уже расчищена небольшая площадка. Они столпились на этом пятачке.

Появившегося президента толпа встречает криками: "USA! USA! USA!" Бушу передается настроение этих людей. Он понимает, чего они ждут от него сейчас. Он с ними. Бывший пожарный Боб Бекки забрался на крышу покореженной пожарной машины, чтобы оттуда лучше разглядеть обходящего завалы президента. Неожиданно для всех Буш вскакивает на свободное место рядом с Бобом. Теперь президент стоит рядом с ним, положив руку ему на плечо. Крики "USA!" усиливаются. Бушу протягивают мегафон.

— Я пришел, чтобы сказать, вся Америка скорбит вместе с вами... — начал он.

— Не слышно, — кричит кто-то. — Мы вас не слышим. Громче...

— Зато я слышу вас! И весь мир слышит вас!

Крики "USA" заглушают последние слова президента. Боб Бекки плачет.

— Мы найдем тех, кто это сделал. Мы выхурим их из нор. Мы будем их судить, и они ответят нам за то, что сделали.

Лучшая речь сорок третьего президента Америки сказана. Его рейтинг зашкаливает. Сорок первый президент может гордиться своим сыном.

Мэр Джулиани распорядился поставить охрану у всех мечетей Нью-Йорка во избежание актов возмездия. Никаких актов возмездия в городе не последовало.

В другой жизни, которую он почти не помнил, Рэй был дальнобойщиком. Время от времени память вымывала обломки воспоминаний на берег его скучного и монотонного существования в бараке, и в этих обломках он узнавал лица родителей, слышал приглушенную интонацию их голосов. Иногда во сне до него доносились отголоски какого-то гула, но чаще всего ему виделась бесконечная дорога, разрезающая пополам бегущий навстречу пейзаж. Со слов врачей Рэй знал, что на дороге с ним случилось что-то, изменившее его жизнь навсегда, но так и не мог вспомнить, что же это было. Прележав в коме почти два года, он очнулся, когда надежды на возвращение его сознания практически ни у кого уже не было, а еще через год попал в барак, где Джуди начала упорную борьбу за восстановление его памяти. Шли годы, но добиться успехов ей так и не удалось. Память Рэя оставалась фрагментарной и никакое лечение уже не могло улучшить его состояния.

“Спасибо и на этом. Он вообще чудом остался жив”, — думала Джуди, глядя на сухоощавую фигуру Рэя, маячившую во дворе под окном ее кабинета. Если бы у него сохранились хоть какие-нибудь фотографии или вещи, связывающие его с прошлым, она могла бы добиться лучших результатов, но в барак его доставили с зубной щеткой и парой футболок со штампом госпиталая, где он провел почти три года. В истории болезни упоминались какие-то люди, навещавшие Рэя сразу после аварии, но их след позднее затерялся.

“Ну что ж, значит, его жизнь не будет отягощена воспоминаниями”, — смирилась, наконец, Джуди. — Может, это даже и к лучшему.

И все же ей самой хотелось побольше узнать о Рэе, узнать то, о чем он забыл, скорее всего, уже навсегда.

— Посмотри, Скотти, здесь написано, эти двое проехали из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за 32 часа и 7 минут. Это же меньше двух дней.

Сложная умственная работа отразилась на потном лице Скотти.

— Значит, они гнали под 90 миль в час¹, — наконец сказал он. — Ни фигя себе, повезло ребятам.

— Разогнаться-то по прямой на автобане всякий может, а жать на такой скорости три тысячи миль, это уже высший пилотаж. Я вот удивляюсь, как это их копы² за задницу не прихватили на хайвэе.

¹ Одна миля равна 1,6 км, скорость 90 миль в час — это 145 км в час.

² Прозвище полицейских, вероятно, связанное со словом “соорег” (медь) — первые бляхи-медальоны полицейских были сделаны из меди.

Там не написано, как они Огайо проскочили? В Огайо самые сволочные полицейские. Злые как собаки. А если вдруг погода плохая, да? Ну, там, скажем, дождь или буря. На 90 уже не пойдешь. Могли ведь и сломаться. Да мало ли что... Олень мог выскочить или какая-нибудь другая живность. А чего это их так разогнало?

Скотти ждет, орудуя разводным ключом под открытым капотом машины, пока Рэй дочитает заметку в газете. Хотя ему семнадцать лет, читает он плохо — по складам, а пишет и того хуже, зато не было еще ни одной сломанной машины, даже самой завалающей, которую бы он не починил в мастерской Скотти Дутласа.

— Тут, это... написано, они протестовали против установления общенационального ограничения скорости на хайвэях до 55.

Упоминание общенационального ограничения скорости придало заметную долю энтузиазма к рассуждениям Скотти и расширило охват тем в его монологе. От негодования по поводу государственного регулирования скорости на хайвэях он перешел к негодованию по поводу любого государственного регулирования. Высказывания подтверждались резкими движениями правой руки, продолжающей что-то подкручивать и подвинчивать в беспомощно раскрытой пасти автомобиля.

— Ну и что? Много они сэкономили на бензине, введя 55? — гневно вопрошал он невидимого собеседника, поскольку Рэй с отсутствующим видом уставился в газету, пытаясь дочитать до конца статью о трансконтинентальном пробеге. — Зато копам теперь раздолье на хайвэях. Дальше последовал долгий и подробный рассказ о том, как однажды коп прихватил Скотти на хайвэе, спрятавшись на обочине справа, когда тот, ни о чем не подозревая, съезжал с небольшого холма и немного разогнался, ну, на 65, не больше.

— Самая их паскудная манера — затаиться на спуске и зажопить зеваку.

Как с него сняли тогда 80 баксов, большие деньги по тем временам, и все это случилось в проклятом Огайо, куда Скотти больше ни ногой.

Рэй уже слышал эту историю раз сто. Ему нет дела до скучного происшествия в Огайо, ему до смерти хочется проехать в гоночном автомобиле от Атлантики до Тихого, через всю страну, разогнавшись до 90, а может, и больше. Случалось, он выжимал такую скорость из “бьюика”, да только тот давно уже сдох и разобран на детали.

— Царствие ему небесное, — Рэй незаметно перекрестился.

Он всегда поминает свой старый “бьюик” как близкого человека. Вроде бы, он даже в нем родился, может, его в нем и зачали, а уж водить он его стал, как только смог дотянуться ногой до педалей. Но совершить такой пробег одному ему не по силам, а друга у Рэя нет. В округе его все знают, но близких друзей у него — никого. Даже Скотти не в счет, хоть он и свой человек, но на такой подвиг не готов. У него гараж, бензоколонка, семья, дети. На одной из его машин Рэй ездит, так и не заработав на свою собственную. Что же ему делать? В задумчивости он свернул газету в трубочку и уставился в одну точку. На гоночный автомобиль ему никогда не заработать. Правда, можно выпирать деньги в лотерею. Миллион. Нет, два миллиона ...

— Ну-ка, поди сюда. Хватит там мечтать. Лучше давай поставим старушку на подъемник и посмотрим что у нее с тормозами, — Скотти захопнул капот машины и повернулся к Рэю. — Да брось ты эту газету. Потом дочитаешь.

Невидимая рука развернула брошенную на верстак газету, явив миру картинку тяжелой фуры с хромированной фигуркой крылатой Ники на капоте. Ника отважно разрезала грудью раскаленный воздух необъятных прерий.

“Набор в школу водителей-дальнобойщиков” — гласила надпись под картинкой.

Между тем, Рэю далеко не сразу удалось сесть за баранку фуры, на которой он мечтал пересечь континент с востока на запад. Для начала нужна была тысяча баксов за обучение и сдачу экзамена на права, да и бросать Скотти, принявшего его как родного несколько лет назад, когда его собственный отец исчез навсегда во мраке душевной ночи, ему было жалко. Конечно, о покупке собственной фуры не могло быть и речи. Сердце Рэя сжималось каждый раз, когда он проезжал мимо этих громадин, выставленных на продажу на обочинах дорог. Иногда он заскакивал на такие распродажи, забирался в кабину приглянувшегося гиганта и долго и придирчиво рассматривал ее внутреннее убранство, вдыхая знакомый запах соляры.

В школу дальнобойщиков вместе с ним записались человек пятнадцать приветливых латинос-нелегалов, умевших сказать пару слов по-английски. Водилами они были слабыми. Во всяком случае, Рэй был единственным из класса, кто смог загнать задним ходом старый грузовик с прицепом между двух оранжевых фишек. Зато вождение по городу далось нелегко даже ему. Тормоза у этого грузовика были никуда не годными. На первом же перекрестке Рэй чуть не снес светофор, пытаясь затормозить. По счастью, рядом оказалось полиция, да и городок был полупустынным. Пришлось и ему учиться разворачивать фуру с прицепом, переключать десять скоростей и запоминать дороги, по которым разрешалось ездить тяжеловозам. Остальными премудростями вождения он овладел уже на трассе, после того, как получил удостоверение водителя-дальнобойщика и нашел работу.

Его первый грузовичок был тупорылым бескапотником с нарисованным веселым розовым бегемотом на стенках фургона. Развезил этот веселый “бегемот” утварь для вечеринок. Но поскольку вечеринок было не так уж и много, он или простаивал в гараже, или перебивался на лобых подвернувшихся заказах. Конечно, не о такой работе мечтал Рэй, но до двадцати одного года работать на трансконтинентальных трассах он не мог по закону.

Настоящий дальнобой он начал на красавце “фрейтлайнере” с прицепом, прогнав его через сорок штатов от Атлантики до Тихого океана и обратно. Уже ко второй поездке, набив непроходящие мозоли на ладонях, Рэй научился управляться с восемнадцатиколесной машиной длиной почти в двадцать метров. Конечно, за тридцать два часа на таком гиганте через всю Америку не проехать,

но за сорок восемь, случалось, они с напарником и проскакивали, останавливаясь только на заправках и разгоняясь на безопасных участках за 90.

Работа дальнбойщика тяжелая, но неплохо оплачиваемая. Где-то через полгода Рэй съехал от Скотти, сняв небольшую квартирку в Мейзон-сити, куда приезжал отсыпаться между рейсами. Он втянулся в изнурительный ритм многомесячных сидений за баранкой с короткими перерывами и, по сути дела, фура стала его настоящим домом. И чем дольше он проводил времени в этом своем доме, тем меньше хотелось ему делить кабину с напарником. Напарники у него менялись часто. В основном это были молодые ребята-нелегалы, не имеющие даже права на работу. Они казались Рэю небрежными и на второй же день начинали его раздражать. Поэтому-то он и упрямился хозяина давать ему поездки покороче, чтобы можно было водить машину одному. Хозяина такая просьба не удивила, он и сам отсидел за баранкой грузовика больше десяти лет и много чего повидал на трассе. С этих одиноких рейсов и началось лучшее время жизни Рэя.

Особенно он любил ночные перегоны по полупустым хайвэям. Ему казалось, что душа покидает его тело, уже ставшее к тому времени частью послушного механизма, и летит в ночном небе, указывая ему дорогу. Он видел себя и свой грузовик с высоты ее полета и одновременно чувствовал и движение тяжелой машины, и то усилие, с которым то ли он сам, то ли его грузовик прорывал черноту ночи. А в ранние утренние часы, когда дымка только начинала рассеиваться, он любил проезжать по длинным мостам, перекинутым через заливы, воображая себя в грузовике, плывущем прямо по морю.

Иногда он удивлялся продуманности и красоте гигантских развилок, как бы с высоты видя направленное движение потока машин, повиனுющегося волшебному чередованию трех цветов.

Желтый был его любимым. Желтый давал право выбора. А так как Рей не любил тормозить, ему казалось, что резкое торможение причиняет машине боль, то он всегда успевал проскочить под светомфором до появления красного цвета.

— Это же танец, — думал Рэй. — Менуэт. — И не мог вспомнить, откуда пришло к нему это слово.

Странное слово приводило в память другое, сказанное ему однажды подсевшей в дороге девицей. Инструкция его компании запрещала водителям подсаживать пассажиров, но в ее одинокой фигуре, отчаянно машущей ему с обочины дороги, было что-то настолько жалькое, что он машинально нажал на тормоз. Девица не понравилась Рэю с самого начала. Выкурив все его сигареты, она стала вертеть ручку настройки радио и всё не могла поймать ничего подходящего. Рэй надеялся, что она утомонится и задремлет хоть ненадолго, но девица не сдавалась.

— Слышь, парень, — она пихнула его в бок. — Тебе сойдет минут за 10 баксов?

— Чего-чего? — не понял Рэй.

— Ну, отсосу за 10 баксов, и высадишь меня потом у первой заправки.

Он с отвращением посмотрел на ее рот.

— Н-е-е. Я не по этой части. Мне не надо.

— Так ты че, пидор, что ли? Так бы сразу и сказал.

— Н-е-е, мисс. Я не по этой части. Мне не надо. Не хочу я этого вашего “минета” и вообще ничего не хочу вашего. Вы куда путь держите? Если подрабатываете на линии, то с меня взять нечего. Я за это не плачу.

— Ну ты, блин, и бедолага,— вздохнула она. — Такие мне еще не попадались. А как у тебя с детками? Мальчишки-девочки...— Она сделала определенный жест рукой.

— Н-е-е, мисс. Мне кажется, я могу убить того, кто обидит ребенка.

Она с любопытством уставилась на его сосредоточенный профиль, освещаемый фарами встречных машин.

— Ты это серьезно, парень? И где таких, как ты, делают?

— Пап рассказывал, что я родился в “бьюике”. Он, между прочим, сам принял роды у мамы. Вообще-то, сначала у нас был еще и трейлер. Небольшой такой домик на колесах. Но когда мне было лет пять, пап потерял работу и мы продали трейлер. Вот тогда-то у нас и остался один “бьюик”... Потом мама умерла... После ее смерти пап долго колесил по Луизиане — там дороги были бесплатные, и в школу брали таких, как я. Он хотел, чтобы я учился. Потом в один прекрасный день он подогнал машину к тротуару, вышел из нее и говорит: “Ну, теперь ты сам, сынок, себе хозяин, езжай куда хочешь, а я остаюсь здесь”.

— И где ж он тебя так кинул? — присвистнула девушка.

— Кажись, в Мемфисе дело было. По радио как раз передавали об убийстве губернатора Дейвиса, а пап говорил, что Дейвис — правильный человек, справедливый и за таких, как мы, болеет, и богатым, видать, поперек горла встал, вот они его и убили.

Он замолчал.

— Ну, а потом-то что было? Нашел ты своего отца или он так и помер незнамо где?

— Потом-то? Потом шериф Берк как-то разыскал леди, у которой отец работал садовником. Она же его и похоронила. Шериф даже хотел меня свозить на кладбище, да я отказался.

— А с чего это шериф так пекся, что отца твоего стал искать?

— Так я его “форд” чинил, когда в мастерской у Скотти работал.

Он много чего еще мог рассказать своей попутчице, но не был уверен, что ей это будет интересно. Он бы мог рассказать, что уже в двенадцать лет разбирал и собирал все тот же “бьюик” по винтикам, или как в пятнадцать лет, когда папаша бросил его, скрывшись в неизвестном направлении, он кружил в этом “бьюике” по каким-то городкам, пока не кончился бензин. Кажется, у него оставалась пара долларов. На первой же попавшейся бензостанции, купив пакет с чипсами и колу, он робко спросил о работе. Все равно какой... А Скотт Дуглас не только взял его к себе в мастерскую, но и оформил на него опеку.

Но ничего такого он не стал рассказывать этой неопрятной с виду девушке, а вместо этого поинтересовался:

— А вы чем занимались, мисс?

— Я-то... Ну-у-у, у нас была ферма в Канзасе, — усмехнулась та. — Ну, знаешь, коровы там, бычки... цыплята... ио-ио-о. Навоз, помет, дерьмо¹. Мне кажется, я этим делом провонялась на всю жизнь. И так мне это все в один прекрасный день надоело... — и она замолчала, уставясь в окно. Разговаривать не было желания у обоих.

— Ладно, сгружай, — сказала она через какое-то время.

Он высадил ее на развилке и, отъехав, ни разу не взглянул в боковое зеркало.

Вернувшись из поездки, Рэй спал беспробудно первые два дня, но вид убегающей вперед трассы и ее неумолкающий шум не оставлял его даже во сне. Просыпаясь разбитым и неотдохнувшим, он тупо обводил глазами свое неопрятное жилище, словно пытаясь вспомнить, где он и зачем. Потом с трудом вставал, ожидая, когда жизнь вернется к нему снова. И жизнь возвращалась с ощущением голода и воспоминанием о запахе кофе. Торопливо одевшись, он быстро сбежал по лестнице, пересекал почти безлюдную улицу, и счастливо улыбаясь, врвался в маленькое кафе со смешным названием «Ночная чашка». В городке это место все называли просто «Чашка».

— Что ты будешь есть сегодня, сынок? Омлет или сэндвич? — спрашивала его хозяйка.

Годами сюда приходили одни и те же посетители, и она знала их вкусы и привычки. Здесь любили простую пищу, вели бесхитростные разговоры и оберегали свой незатейливый мир от вторжения посторонних.

Вечером, когда начинало темнеть, по соседству с «Чашкой» открывался бар. В небольшом полуподвальном помещении стоял бильярдный стол, освещенный тусклой нависшей люстрой, и, не умолкая, работал телевизор, обычно показывающий баскетбол. Пара игровых автоматов пристроилась в углу возле стойки. Лирически настроенные посетители могли опустить монетку в допотопную музыкальную машину, особую гордость хозяина бара, и послушать Элвиса или Джони Кэша.

Рэй пришел сюда «покатать шары». Много лет назад, когда он случайно заскочил в этот бар, мелькание разбегающихся по зеленому бархату разноцветных шаров заворожило его. Неуверенно взяв в руки кий и натерев его остриё мелом, он долго присматривался к шарам, рассыпанным по полю, потом склонился над столом и робко ткнул кием белый шар. Шар закрутился и стукнул красный бок другого шара, разбежавшегося до середины поля. Следующий удар он нанес уже более уверенной рукой и выбил краснобокий шар в лузу.

Конечно же, он проиграл свою первую партию, но игра так увлекла его, что он стал захаживать в этот бар каждый свободный вечер и вскоре даже снял комнату в доме напротив. С годами он стал здесь лучшим игроком. Дело было не в умении быстро выбрать прицел и точно направить кий, щегольски склонившись над столом, а в том, что в ударе Рэя чувствовалась абсолютная раскованность и уве-

¹ Девушка пародирует известную детскую песенку «У старика Макдональда была ферма»

ренность. Особенно красиво ему удавались дальние шары, вбиваемые в лузу прямым сильным ударом под аплодисменты зрителей. А посмотреть его игру любили многие. Наверное, он бы мог зарабатывать на бильярде неплохие деньги, но ему была скучна ровная и умеренно-расчетливая игра. Обычно проигравший партнер покупал Рэю пива или приглашал его посидеть за свой столик. По будням бар пустовал.

В один из таких вечеров, когда в баре никого не было, кроме Рэя, лениво гоняющего шары, хозяина, сидящего за столиком с кем-то из своих друзей, да бармена, перемывающего пустые стаканы, туда робко зашли двое: поленькая девушка с распущенными по плечам темными волосами и молодой человек в футболке и джинсах. Этих ребят здесь раньше никто не видел. Оглядевшись, они подошли к стойке. Забравшись на высокий стул, девушка заказала коктейль. Бармен молча продолжал перемывать стаканы. Девушка повторила свой заказ громче. Она говорила с каким-то странным акцентом, показавшимся Рэю смешным.

Никто не отреагировал и на этот раз. Парень что-то сказал девушке на незнакомом языке, и та, явно расстроенная, оглянулась на Рэя, как бы ища у него защиты.

— Эй, — сказал тот, — это мои гости. Я хочу угостить их пивом, — он отложил кий и подошел к хозяину бара. — Пусть ребята посидят со мной, у тебя всё равно сегодня пусто.

Хозяин пожал плечами.

— Да мне что... пусть сидят, если ты им ставишь...

Так он познакомился с Хавой и Дэвидом. В тот вечер ребята чувствовали себя неуютно и вскоре, поблагодарив Рэя, уехали, обменявшись с ним телефонами.

Вернувшись через неделю из поездки, он услышал на автоответчике знакомый ему голос Хавы.

— Слушай, нам надо говорить. У нас проблемы. Очень.

Отославшись, он перезвонил ей. Ничего не поняв из торопливого и сбивчивого рассказа девушки, он толком разобрал только ее адрес.

Хава, одетая в халатик, трещавший по швам на ее поленьком теле, открыла Рэю дверь маленького опрятного домика и заставила его снять обувь на пороге. Удивившись такому требованию, Рэй разулся и прошел в гостиную, где неловко поздоровался с сидевшей на диване женщиной, приветливо ему улыбнувшейся и не сказавшей ни слова в ответ.

— Не обращай на нее внимания. Она всё равно тебя не понимает, — предупредила Хава и, указав ему на стул, тут же бурно принялась рассказывать свою историю, восполняя жестами недостаток слов.

Из ее рассказа Рэй понял, что где-то на следующий день после их знакомства к домику подкатил громила на мотоцикле, весь в татуировках и в смешном остроконечном серебряном шлеме на лысой голове. Хава показала, с какой важностью громила снял свой шлем и, держа его под мышкой, вломился к ним в прихожую, испугав её маму. Дэвида не было дома, и Хаве пришлось самой принимать непро-

шенного гостя. Его визит был довольно коротким, но устрашающим для обитателей чистенького домика. Громила, поздоровавшись, сразу же перешёл к делу. Ты, говорит, бэби, не обижайся. Лично мне ты даже нравишься, но ребята хотят знать, кто вы и откуда к нам приехали. Вроде, вы не белые, но и на чёрных не похожи. Мы, говорит, тут не хотим чужаков. Так и знай.

— Ну и что ты ему сказала? — спросил Рэй, пытаясь припомнить громиду в серебряном шлеме.

— Я сказала, что мы белые... нас здесь пригласили.

Хава подскочила и поспешно куда-то удалилась. Пока ее не было, Рэй с любопытством огляделся. Ему редко доводилось бывать в гостях у кого-либо. Уютно. Светло. Ковёр на полу. Попавшая в солнечный луч вуалехвостка сверкнула чешуей в аквариуме, стоявшем на подоконнике. Приветливая женщина куда-то ушла, наверное, на кухню. Оттуда запахло незнакомой пищей. И правда, интересно, откуда здесь появились эти люди. Рэй рассматривал лениво плавающих золотых рыбок со шлейфами длинных хвостов, когда вернулась Хава, прижимая к груди какие-то бумаги.

— Вот тут всё написано, смотри. Мы приехали из Чечни по приглашению вот этой организации, видишь, тут написаны все наши имена: я, Дэвид — мой брат и наша мама. Видишь, сколько подписей... Видишь, письмо из офиса сенатора Эванса... Добро пожаловать в наш штат. А тут всякие приезжают и спрашивают: чёрный — белый. Я боюсь. Мама боится.

— А где эта Чеч-нья находится? Никогда не слышал про такую страну, — спросил Рэй.

— Ты Европа знаешь?

— Ну-у, это через океан.

— Хорошо. Кавказ знаешь? Горы такие. Черное море?

Рэй растерянно пожал плечами.

— О, Господи! Джорджия знаешь? Страна такая. Чеченская республика находится недалеко от Грузии, или Джорджии по-вашему.

Рэй хорошо знал Джорджию, исколесил её вдоль и поперек. Чечны там не было. Он решительно не понимал, откуда появилась Хава.

— Ну, хорошо, — наконец сказал он, — а что же ты хочешь от меня?

— Мы беженцы, понимаешь? У нас там война. Мы бежать отсюда, понимаешь? Нас приняла еврейская община вашего штата. Дом этот, — Хава обвела пальцем вокруг комнаты, — машина и всё нам дать, понимаешь?

— Кто дал? — не понял Рэй. — Ему в жизни никто ничего не давал, кроме жевательной резинки и куска индюшки в День Благодарения. Хава в отчаянии всплеснула руками. Как еще ему объяснить?

— Америка — страна иммигрантов, так? — начала она. Рэй кивнул. Это он знал. — Люди весь мир приезжают сюда, да? Новая жизнь начать. Мы приехали начать новую жизнь. Мы легальные, понимаешь? Не мексиканцы. Американское правительство, — для убедительности она показала пальцем на кипу бумаг, — нам помо-

гать. У нас есть документы. А этот, в наколках, приехал спрашивать, черные или белые. Я боюсь. Я не хочу здесь быть. Думаешь, я не поняла тогда в баре, да? Я в зеркало всё видеть. Я заказывать коктейль, бармен не слышать и смотреть на человека за столиком, хозяин, да? А хозяин так тихо головой качать, не наливать. А потом этот в наколках узнавать кто мы такие. А откуда наш адрес? Следили за нами, да? Что ж нам даже в бар нельзя ходить, да? А что тут еще делать, в ваших полях? Мне скука. Мы хотим в Нью-Йорк. Помоги мне написать письмо сенатору Эвансу, пожалуйста. Пусть нас заберут отсюда.

Тут уже испугался Рэй.

— Слушай, Хава, я ...это... писать не очень умею, а уж сенатору и вообще не знаю как. Пусть тебе напишут люди из твоей организации, — он тоже потыкал пальцем в Хавины бумажки, рассыпанные на столе.

— Как писать не умеешь? — изумилась Хава. — Ты в школу ходить? Нет, не так. Ты в школу ходил?

Рэй от неловкости заёрзал на стуле. Ему всегда было стыдно сознаваться в своей полутрамотности.

— Нет, ты не думай, читать я могу, писать тоже, но не всё. Вообще-то, я ходил в школу, но недолго. Мы много ездили, пап всё время терял работу, а ма потом заболела. У неё был рак. Так я работал лет с двенадцати. Рано научился водить машину, потом получил права, устроился перевозить грузы в больших грузовиках. Видела, наверное, на трассах. Я вот что подумал, я ведь могу найти того парня, напугавшего тебя и сказать ему, что вы мои друзья. Он отстанет. Люди здесь живут хорошие, ты не думай. Просто здесь не любят чужих.

Рэй взглянул на Хаву и, увидев заинтересованность и даже, может быть, сострадание в её глазах, почему-то захотел рассказать ей про своё детство. У него тоже был свой дом когда-то, но на колёсах. Он помнил, как с лёгкостью забирался под приставное крыльцо и поползал под этот дом, прячась от взрослых. Запах, доносившийся с Хавиной кухни, чем-то напомнил ему запах бисквитов, которые мама пекла по утрам. Иногда они ездили помогать папе собирать клубнику, если плантация была неподалеку и кто-нибудь из соседей брался их подвезти. Фермер разрешал ему есть ягоды прямо с грядки, и никогда уже после клубника не казалась ему такой сочной и вкусной. Этот солнечный рай его раннего детства назывался Флоридой.

— Хава, ты видела апельсиновые деревья? Такие тяжелые оранжевые шары на зеленых ветках? — только и спросил он.

— Я видела мандарины у нас на базаре, — сказала Хава, — а почему ты спрашивать?

Как ей рассказать, что тогда, в его раннем детстве, во Флориду пришли холодные зимы, клубничные поля вымерзли, и его любимые апельсины тоже не росли. Работы не было. Домик на колесах был продан со всеми вещами, а они отправились колесить по штатам. Несколько лет подряд им везло. Мама устроилась в супермаркет, и у него даже был свой велосипед. По утрам он развозил газеты. Домики были разбросаны далеко друг от друга посреди полей, и ему приходилось рано вставать, чтобы успевать до школы. Это была уже Индиана.

— Слушай, у нас тут не так скучно, как тебе показалось, да и полей не так уж и много. Вот в Индиане кукурузные поля тянутся до горизонта, и кукуруза в человеческий рост.

— Ну, спасибо. Я уже люблю здесь. Здесь нет кукуруза, — надула губки Хава. Она разочарованно собрала свои бумаги в одну кипу и снова вышла из комнаты.

Рэй почувствовал себя виноватым. К чувству неловкости добавилось желание затянуться сигареткой, но в доме наверняка не курят. Он прислушался к голосам, доносящимся из-за двери. Кажется, там о чем-то спорили. Наконец, снова появилась Хава, но на этот раз с ножницами в руках. Дверь она оставила открытой.

— Мама сказала дверь не закрыть, а я хочу тебя подстричь.

— Что-что? — не понял Рэй. — Это еще зачем?

— Практика, практика и еще раз практика, — Хава защелкала ножницами, сделав строгое лицо, насмешлившее Рэя. — Я учусь на парикмахера, понимаешь? Давай, я тебя бесплатно сделаю красивым.

— Меня мама с папой уже сделали бесплатно красивым, — пошутил он. — Но, пожалуйста, мне не жалко. Стриги.

Хава накинула Рэю на плечи какую-то тряпицу и, обдав его легким запахом пота, принялась орудовать расческой. Скосив глаза, он увидел смуглую грудь в вырезе халатика, накрашенные ногти пальчиков, продернутых в кольца ножниц, и охватившее его волнение помешало ему разобрать слова девушки, переговаривающейся с кем-то на кухне. Тогда он просто закрыл глаза и отдался во власть её рук, каждое прикосновение которых вызывало прилив теплой волны к его голове.

— Всё. Открывай глаза, — наконец сказала Хава.

Она стояла перед ним, держа небольшое зеркало, из которого на Рэя посмотрело его испуганное лицо с оттопыренными ушами и кривоватой челочкой.

— Ничего, до свадьбы отрастет.

Рэй обернулся на голос и увидел Дэвида, стоящего в дверях и приветливо ему улыбающегося.

— Она нас тут всех стрижет. Видишь, у меня волос совсем не осталось, выстригла под корень. — Дэвид снял с головы бейсбольную кепочку, обнажив блестящий от пота абсолютно безволосый череп. Хава заговорила с братом на их родном языке, не обращая внимания на Рэя.

Воспользовавшись паузой, тот незаметно попытался выскользнуть за дверь, чтобы, наконец, покурить. Визит затягивался.

— А мне еще надо учиться вас и брить. Ты куда? — Хава проворно схватила Рэя за руку, явно не собираясь отпускать его из дому.

— Я это... мне, наверное, пора. Надо готовиться к новой поездке.

Но уйти ему не дали, а вместо этого повели на кухню и, усадив за стол, накормили какой-то совершенно неизвестной, но вкусной едой. И, сидя с этими почти незнакомыми и плохо понимающими его людьми, Рэй почему-то стал рассказывать о своих поездках по Америке, кактусах Аризоны высотой с двухэтажный дом, Большом кань-

оне и о телефонной будке, стоявшей прямо посередине пустыни Мохаве. А потом, брат с сестрой то перебивая, то подсказывая друг другу слова чужого языка, рассказали ему о том, как несколько лет назад увидели в первый раз падающие с неба бомбы.

— Я-то сначала думать, самолет бочки какие-то бросать на нашу деревню, — возбужденно тараторила Хава, — а Давидик мне и кричать: “Дура, беги! Это не бочки, это бомбы!” Мы давай убегать. А убегать-то куда? Убегать нигде. Слава богу, в нас не попасть, а вот деревня рядом горела. Там дома гореть. Люди умирать.

И было в этом рассказе что-то ужаснувшее Рэя:

— Так они же могли вас убить, — только и сказал он.

— Вот мы и бежать. Нет. Убежали. А тут этот приходится в на-колках. Опять бежать?

— Не надо больше убегать. Здесь вам будет спокойно, — убежденно сказал Рэй, глядя в глаза маленькой женщине.

И ему показалось, что до сих пор молчавшая и не понимающая ни слова из их разговора женщина вдруг кивнула ему и благодарно улыбнулась.

Вернувшись из гостей, Рэй долго не мог уснуть. Ночью ма и па въехали на своём старом “бьюике” прямо к нему в комнату. Па бесшумно затормозил машину у его постели, но остался сидеть за рулем. Ма с трудом открыла дверцу и выбралась в комнату.

— Тесно тут у тебя, — сказала она, оглядываясь по сторонам, — и беспорядок какой. Ужас.

— Ой, мамочка, — обрадовался Рэй, — как ты хорошо выглядишь. Я никогда не видел тебя такой красивой.

— У нас там все хорошо выглядят, — пожалала она плечами.

— И папа тоже? — Рэй хотел посмотреть на па, но почему-то никак не мог разглядеть его в темноте. Он потянулся к лампе, но мама остановила его жестом.

— Вы что, поспорились опять? — почему-то спросил Рэй.

— С чего ты взял, малыш? — удивилась мама. — Мы и не думали ссориться.

— Тогда почему он прячется?

— Наверное, ему стыдно. Ведь он бросил тебя одного, помнишь?

— Ну, это когда было... и потом, всё оказалось к лучшему. Я, правда, даже не знаю, где его похоронили.

— Да нашлись добрые люди, не волнуйся. Похоронили и его.

— Смотри, это Хава меня подстригла, — Рэй пригладил взерошенные волосы. Она смешная... смешно так говорит. Я не всё понимаю. Они приехали из Чейчньи. Она говорит, это недалеко от Джорджии, но я не знаю такого места.

— Так это не та Джорджия, сынок. Это далеко отсюда, ты там никогда не был.

— Знаешь, я как-то волновался, когда она мне стригла волосы, правда. Не то, чтобы я в неё влюбился, нет... не понимаю что это такое.

— Скажите пожалуйста, — вдруг вставился из темноты молчавший до этого па. — Далила остригла нашего Самсона. Ты там с ней осторожней, хотя дело это и не хитрое, — хихикнул он. — И понимать тут тебе особенно нечего. Давно пора.

— Ну, какой я Самсон, па, ты чего? И Хава на Далилу не похожа. Она такая... полненькая.

— Хава-Далила, Хава-Далила, — запел па противным голосом... И Рэй проснулся.

В Мейзон-сити к этой дружбе отнеслись настороженно. Чужих здесь не любили. Но Хаву взяли-таки работать в салон, где она довольно быстро научилась щебетать по-английски, бодро орудуя ножницами на головах своих клиентов. Ее пышненькие формы, обтянутые фирменным халатиком, были оценены по достоинству, и уже через пару месяцев к ней потянулась стрижься и бриться мужская половина нашего города. Признали ее, наконец, и в баре, куда она навещалась с братом по выходным. Довольно часто к ним присоединялся Рэй. Хава казалась ему забавной и доброй. Он даже начал учить ее играть в бильярд, с улыбкой наблюдая, как она старательно примеривается к шару, положив грудь на зеленое сукно стола и отставив для упора ножку с ярким педикюром. Точного удара у нее не было, зато было явное желание побольше проводить время с новым другом.

Однажды, когда брата не было рядом, Хава попросила Рэя покатать ее на фуре. Просьба казалась невинной, хотя в ее интонации и улавливалось вполне определенное обещание. Помня свой странный сон, Рэй пытался оттянуть то, что было “давно пора”, испытывая не столько желание, сколько страх перед “этим”. И когда попытка первой близости с женщиной в кабине его грузовика закончилась позором и разочарованным сочувствием Хавы, он понял, наконец, что ему не нужно в этой жизни ничего, кроме тянущейся вдаль нескончаемой дороги под раскинувшимся бесконечным небом.

Высадив Хаву возле ее дома, он оставил фуру на стоянке и вернулся к себе, ничего не чувствуя, кроме отвращения и усталости. “Хорошо, что па ничего не знает”, — почему-то подумал он. И усмехнулся этой дурацкой мысли.

Ночью, проплутав в лесу, Рэй вышел на поляну, освещенную мягким, неслепящим светом. Кажется, была весна, хотя он не мог сказать наверняка. Нет, это все-таки была весна, потому что он увидел первые нежные цветы, пробивающиеся из оттаявшей земли.

Потом на поляне появился белый дом с невысоким крыльцом, куда он вошел, осторожно толкнув дверь. По старой скрипучей лестнице он поднялся на второй этаж и остановился перед еще одной дверью, но не стал ее открывать, а прислушался к приглушенным голосам, доносящимся из-за двери. Он узнал эти голоса, но не мог разобрать слов. От осторожного прикосновения дверь открылась, но комната оказалась пустой. Потом вдруг появилась Хава.

— Стоп думать об этом много, — строго сказала она, — Все там будем. — И многозначительно показала пальцем на небо.
 — Чего-чего? — не понял Рэй и проснулся.

С Дэвидом было проще. Он все как-то не мог никуда устроить-ся, да и особого желания работать у него не наблюдалось. “Дальнобой” его не привлекал, машины не интересовали, даже бильярд был ему скучен. Зато с его подачи Рэй пристрастился гонять мяч по полю и к немалому своему удивлению узнал, что игра эта называется футболом. В одной из поездок он разговорился по радио с другим дальнобойщиком по имени Лопе Родригес. Оказалось, что и тот играет в такой же футбол. Договорились о встрече, на которую с Лопе приехали еще несколько парней. Постепенно сложилась команда. Они даже наши пустырь за бывшей фабрикой, где устраивали настоящие матчи. Через какое-то время здесь появились и болельщики. На одеялах, расстеленных вокруг поля, беременные подруги футболистов, подставляя животы солнцу, не обращали малейшего внимания на игру. Тут же молодые матери с выводком орущих малышей, готовили фахиту¹ на гриле. Запах подгоревшего мяса перемешивался с тягучими мелодиями, воспевающими вечную “амор”. Время от времени кто-то из детей выбегал на поле, путаясь под ногами игроков и оглашая пустырь ревом. Покой Мейзон-сити был нарушен.

Скорее всего, по этой причине сюда однажды прикатил и мэр. Немного посмотрев игру, он похлопал Рэя по плечу, обменялся рукопожатиями кое с кем в толпе беременных болельщиц и уехал, махнув рукой на прощанье: “Играйте, амигос! Футбол так футбол”. Приближались выборы и ему были нужны голоса латиноамериканцев.

Рано наступившая жара, необычная даже для наших мест, превратила пустырь в настоящее пекао. Было решено отложить игры до осени. Мейзон-сити снова уснул в расплавленном мареве, и Дэвид впал в уныние: Хава работала допоздна в парикмахерской, а у Рэя было много поездок. Целыми днями он слонялся по дому, не зная чем заняться. На его счастье в соседнем штате объявился земляк, к которому он стал наведываться почти каждые выходные. Похоже, дела у земляка шли совсем неплохо. Во всяком случае, он давал уроки точных единоборств в одной из частных школ и, судя по всему, отлично зарабатывал. Гордый новым знакомством, Дэвид потащил Рэя познакомиться с Хасаном.

Хасан с двумя сыновьями почтительно встретил ребят во дворе своего дома. На вид ему было лет сорок. Голубой спортивный костюм обтягивал его мускулистые кривоватые ноги и длинные сильные руки. Несмотря на приветливый тон и улыбку, обнажающую отличные белые зубы, он чем-то напомнил Рэю медведя гризли, вставшего на задние лапы и готового к атаке в любой момент. По-английски Хасан говорил плохо, но его сыновей, несмотря на уже знакомый сильный

¹ Блюдо мексиканской кухни, представляющее собой завернутое в лепешку жареное на гриле мясо

акцент, Рэй понимал без труда. Сначала было решено поиграть в футбол тут же во дворе, а потом искупаться в бассейне и отдохнуть. Набегавшись и накупавшись, все принялись за угощение, расставленное на столе какими-то бесшумными женщинами, тут же исчезнувшими в глубине дома. Рэй с удовольствием запил горьким чаем несколько лепешек, начиненных творогом. Его все время не покидало ощущение, что Хасан только ждет удобного момента, чтобы начать какой-то важный для него разговор.

— Слушай, — наконец, приступил он, — Дэвид говорит, ты дальнбойщик. Фуру водишь. Зарабатываешь хорошо. Свою работу любишь.

— Ну да, — кивнул Рэй. — Все правильно говорит. Вот завтра опять еду на четыре дня. Сначала везу груз в Висконсин, на обратном пути загрузюсь в Небраске и — домой.

— Пойдем-ка, я тебе что-то покажу.

Они спустились в просторный подвал, оборудованный под спортивный зал. В дальнем углу Рэй разглядел штангу. На полках, расставленных вдоль стен, красовались кубки и другие награды. Из какого-то ящика Хасан вытащил пистолет.

— А это ты видел? Стрелять умеешь? — строго спросил он Рэя.

— Да на фига мне пистолет? — удивился тот.

— Как на фига, — оскорбился Хасан. — Ты что, не знаешь, как у вас говорят? Асан, — обратился он к сыну, — как там у них говорят?

— Авраам Линкольн освободил всех людей, а Сэмюэль Кольт сделал их равными, — с готовностью отозвался Асан.

— А! — засмеялся Рэй. — У нас говорят немного по-другому, но суть примерно та же.

— Ну, да все равно, — с легким неудовольствием продолжал Хасан. — Знаешь, что это за штучка? — Он протянул Рэю пистолет.

— Мать честная! Кольт “Миротворец” 45 калибра! Я такую игрушку видел только в кино у Клинта Иствуда, да у нашего шерифа. Он любил всякие старые штуки. Я ему еще “форд” чинил. Тоже допотопный. Их что же, до сих пор делают?

Хасан пожал плечами. Откуда, мол, мне знать. А Дэвид сказал:

— Это подарок. Ценный. За особые заслуги.

“Надо же, — подумал Рэй. — Мне-то никто таких подарков не делает. Правда, и заслуг особых у меня нет”.

— Пострелять хочешь? Я заряджу, — перевел Асан слова отца. — А рука у вас сильная? — добавил уже от себя.

— Сильная-сильная, — засмеялся Дэвид. — Он в бильярд тока так всех делает. Я сам видел.

— Можно и пострелять, — согласился Рэй. — Никогда не пробовал раньше. Вдруг понравится.

Хасан крутанул барабан кольта.

— Люблю этот звук, — осклабился он. — Не бойся, патроны у меня учебные. Мишень, видишь, там на стене. Слегка расставь ноги и распредели вес тела. Устойчиво встал? Оружие должно плотно ле-

жать в ладони. Понял? Лучше согни руку в локте, а то не увидишь мушку. Другой рукой поддерживай. Кисть выше. Так. Указательный палец на спуск. Мизинце подбери. Так. Зажмурь левый глаз и установи мушку посреди прорези. Прицеливайся. Видишь мушку? Направь на цель. Теперь плавно нажми на курок указательным пальцем. Куда-куда!!! Первым суставом, а то в сторону уйдет. Теперь загни дыхание. Давай.

Рэй примерно исполнил все указания Хасана, и только отстреляв шесть раз, вдруг понял, что тот говорил с ним по-английски. Удивиться он не успел. Все пробитые шесть дырочек были далеко от центра.

— Не расстраивайся, — улыбнулся ему Асан. Я сначала тоже много мазал. Практика тут нужна регулярная.

— Я вот удивляюсь, как ты ходишь в дальнбой без оружия. А если на тебя нападут, ну, бандиты, к примеру. Грабители.

Странное дело, в подвале английский язык Хасана стал вполне сносным, и он спокойно начал объясняться с Рэем без помощи старшего сына.

— Не знаю, как-то никогда не думал об этом. Денег у меня всегда в обрез, а угнать фуру далеко не каждый может. Тут надо еще уметь справляться с такой машиной. Вообще-то нам запрещено подсаживать посторонних на трассе, нельзя останавливаться даже, если кто-то стоит возле машины с раскрытым капотом и рукой машет, мол, помогите. А если фура остановится, капот быстренько закроет, в машину скакнет и — под фуру. Мол, наезд, туда-сюда. А потом с компанией судится и деньги себе сшибает. Этим всю жизнь и промышляет. Такие ребята опасней грабителей. Я в Висконсин везу мягкие игрушки. Кто будет толкать налево вагон зайчиков, а? Намучаются, — рассмеялся Рэй.

Идея реализации вагона с ворованными зайчиками показалась смешной всем.

— А вообще-то, — продолжил он уже серьезно, — дальнбойщики — это такое братство. Мы друг за друга стоим. Я по радию могу связаться со всеми фурами, идущими в моей зоне и знаю, что мне всегда помогут по первому зову. По мне, так главный враг на дальнбойе не грабитель, а усталость. Тут пистолет не поможет.

— Слушай, а платят тебе хорошо? — разговор принимал деловой характер.

Рэй стал подробно объяснять систему оплаты. Она была несложной. Расстояние, помноженное на часы в пути. Плюс-минус особые тонкости, о которых Рэй предпочел не распространяться.

— Ну, а сына моего старшего, устроить можешь? — медвежьими глазами Хасана испытующе уставились на Рэя.

— А чего тут устраивать? — не понял Рэй. Пусть он газету возьмет. Объявления посмотрит. Правда, мне пришлось еще тысячу баксов заплатить за классы и получение водительских прав.

— Ну, — Хасан потер большой палец о средний и указательный, изображая характерным жестом, понятным во всем мире, — день-

ги — это не проблема. Я хочу его к хорошим людям устроить. Надежным. Вот ты можешь взять его в рейс, зайчиков в Висконсин везти?

Рэй беспомощно оглянулся на Дэвида. Ему неудобно было откалывать в просьбе, казавшейся любому нормальному человеку неприличной. Ведь он только что говорил о том, что посторонние люди не могут находиться у него в кабине. Это запрещено и может стоить ему работы.

— Не могу, Хасан. Меня уволят. Пусть он сначала получит права дальнобойщика. Если захочет, я его познакомлю со своим менеджером, только моя компания в другом штате. А сколько лет Асану?

— Девятнадцать.

— Ну вот, через два года он может ходить в дальнобой и развозить зайчиков по всем штатам Америки, — попытался шуткой смягчить отказ Рэй.

— Понятно, — сухо отрезал Хасан.

Он как-то снова перешел на родной язык и перестал обращаться к гостю напрямую. Его явно разочаровал отказ Рэя.

“Какие странные люди, — думал Рэй, возвращаясь домой и поглядывая на закемарившего рядом Дэвида. — Этот здоровый мужик сидит на шее у сестры и матери. Скучает”.

Он так и не понял, чего от него хотел Хасан, а про Хаву старался просто не думать. Ему скорее хотелось вернуться туда, где все было понятно, где он был предоставлен сам себе и поэтому свободен. Только дорога давала ему это ощущение, и он с нетерпением ждал наступления завтра.

В последнюю ночь счастливой жизни Рэя лил проливной дождь. Он вовремя доставил груз в Милуоки, и у него было несколько часов на отдых перед Небраской. Но тут зарядил дождь.

Собравшиеся на стоянке грузовиков мужики вышли обсудить ситуацию: переждать дождь или гнать по мокрой трассе, что было делом опасным. Многие уже выбились из графиков. Получать штрафы за опоздание не хотелось никому. Было решено рискнуть и пойти на предельной скорости. Первыми в колонне встали успевшие отоспаться. Остальные все время перестраивались, чтобы не оказаться в хвосте. Обычно полицейские следуют за такой колонной и прихватывают последнего. За Рэем шли еще две фуры, но неожиданно для него они сошли с трассы. Он как раз пытался перейти на скоростную полосу для обгона, когда услышал по радию предупреждение о притаившемся полицейском. Сбавлять скорость было поздно. В зеркале заднего вида отразились красно-синие огни патрульной машины.

Офицер внимательно просмотрел документы Рэя, скользнул лучом фонарика по его лицу, кабине и пустому отсеку за сиденьями.

— Где твой напарник, парень? А ну, покажи журнал.

Порывшись в бардачке, Рэй протянул ему журнал, в который писал график и маршрут своей поездки.

— Взвешивался давно? — продолжал полицейский.

— Так я ж пустой, — как можно дружелюбнее отозвался Рэй.

— А это мы сейчас посмотрим. Открой-ка прицеп.

Убедившись в том, что рейс порожний, он удалился в свою машину и долго там сидел, переговариваясь с кем-то по радиии. Согласно неписаным правилам поведения на хайвэе, шофер должен терпеливо ждать своей участи без проявления признаков недовольства.

“Да что он там, уснул, что ли, — вернувшись в кабину, думал Рэй. — Выписал бы уже штраф да отпустил с Богом. Знает ведь, что я опаздываю. Зануда, видать, попался”.

По радиии водители запрашивали его об обстановке, но он отвечал коротко и сдержанно. Всем было понятно, что идет разборка. Треплют парню нервы.

Наконец, полицейский вышел из своей машины и неторопливо направился к фуре.

— Вот что, сынок, не гони так, — сказал он, протягивая удивленному Рэю права. — Я вижу, ты давно не спал. Осторожней. Впереди большая развилка. Еще раз мне попадешься — получишь максимальный штраф. Понял? А теперь давай, вали в Небраску.

Дождь кончился. Отъехав пару миль, Рэй решил прибавить скорость и слегка разогнался, не заметив в темноте крутого поворота. Вдруг колеса тяжелой фуры потеряли сцепление с дорогой. Кабину развернуло поперек хайвэя, все заскрежетало, прицеп сломился, как перочинный нож, и потянул кабину на обочину. Переключить скорость и отпустить педаль газа Рэй не успел. Фура завалилась набок. Со счастливой жизнью Рэя Адамса было покончено в одно мгновение.

Постепенно память стала возвращаться к нему. Перед глазами поплыли белые домики, которые он так любил разглядывать из окна старого “бьюика”. Мама. Вот она сидит на заднем сидении, протягивает ему виноград.

— Открой окно побольше, Рэй. Очень душно.

По радио передают её любимую песню. Она подпевает.

— Смотри, какие красивые птицы, Рэй. Как я хочу, чтобы они пролетели еще раз.

Птицы пролетают. Она смеется. Он слышит их голоса. Отец говорит что-то матери. Он не может разобрать отдельные слова. Отец поворачивается к нему.

— Скоро-скоро, Рэй, ты сядешь за руль. Будешь водить машину лучше меня. Хочешь попробовать? — Он пытается что-то сказать в ответ. Всё исчезает.

— Рэй, Рэй! — Кто-то опять зовет его. Он открывает глаза. Где он сейчас? Если он слышал голоса родителей и их смех, то где же они сейчас? Это страшно тревожит его. Какие-то люди что-то делают с ним, вернее, с его телом. Наконец, он снова может закрыть глаза.

— Этот щенок — настоящий защитник. Ох, как страшно! Сейчас ты меня разорвешь на части, да малыш? Ну не буду, не буду тебя беспокоить, собачер.

Мама садится за руль. Отец спит на заднем сидении. Щенок примостился у него в ногах. Он рычит на маму. Мама смеется. Они едут.

— Посмотри, что у меня есть. Мыло. Наконец-то я могу добраться до твоей грязной шеи.

Он вспоминает запах мыла.

Поначалу он не мог отличить себя прошлого от настоящего. Очнувшись и обводя глазами свою палату, он не понимал, куда исчезало все виденное им мгновение назад и где он сам сейчас. Он снова проваливался в сон.

Потом в памяти стали появляться новые картины. Ночное шоссе. Поток встречных огней. Он вспомнил Хаву. Да, он точно помнил имя этой девушки, ее странный акцент, но никак не мог вспомнить ее лицо. Тогда память стала играть с ним в очень странную игру. Она подставляла Хаве лицо совершенно ей не принадлежащее, а вот чье оно, Рей никак не мог отгадать. И это никогда не виденное прежде им лицо казалось ему родным и любимым.

Шло время. Постепенно он понял, что с ним что-то случилось, какое-то событие жизни отделило его, настоящего, от прошлого. Он стал реже проваливаться в полусознательное забытье, и когда однажды чей-то голос спросил его: “Ты помнишь, как тебя зовут, парень?” Он ответил: “Меня зовут Адамс. Рэймонд Адамс”.

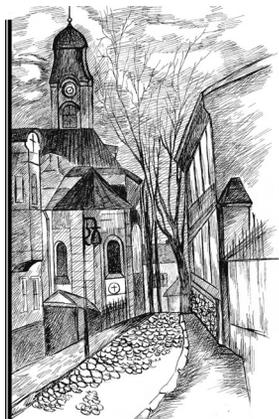


Рис. Ю. Филипчук

К.С. ФАРАЙ

/ Москва /



Фото М. Арюкова

Из книги
«Голова всадника»

ВАРВАРЫ

Пусть не покинет меня дыхание!
Пусть не уйдет прочь, оставив (меня), выдох...
Атхарва-веда

Цивилизация варваров подходит к концу! Мы испробовали все формы правления: тиранию, демократию, фашизм; возвели города на пепелищах, подчинили себе континенты; изобрели новые религии, истощили природные ресурсы; создали шедевры в живописи, в музыке, в поэзии; истребили великие народы, редкие виды животных и растений, уничтожили целые нации и культуры. Мы кутились в звериные шкуры и норковые шубы, носили золотые камзолы, фраки, цилиндры, коричневые рубашки, цветные футболки, драные джинсы. Империализм и народовластие, диктатуры и геноцид: от «цветов зла» сохранилось лишь воспоминание... В конце невероятных открытий и прибыльных предприятий, цинизма, анархии, регресса, производительности труда и легкой наживы, освободительных движений и закручивания гаек, существования «до и после Истории», мы вымираем, как те римские парни, творя свой Апокалипсис, в котором наступающие с Востока племена войдут в начало допотопной Эпохи, а наши следы и флаги останутся обломками экзистенций на планетах: Земля, Луна, Марс.

2010

ПЕНЕЛОПА

Кто объяснит, зачем клепсида в море?..
М. Спаццани

Узкая щель натюрморта. Изображаю цветы
густыми мазками, кистью хвоста обмахнув

(в образе греческой вазы) виды Толедо — Эль Греко,
в Римини домик Гуэрры и, философствующие букетом,
швы на полях дневника. В этот центр,
усматривающийся пропавшим Улиссом
в свернутом воздухе между двух скал,
по мертвым цветам не идет Пенелопа;
и не к тому, где узор, тысячу раз превращенный Овидием
(вроде морских побережий) от проходящего катера
нежной волны отхлебнуть от испуга —
плавает.

2011

В АЛЬБОМ ДРУГУ

Hunc, Macrine, diem numera meliore lapillo,
Qui tibi labentes apponit candidus annos¹.

Persius, Sat. II

Пока не полна дата жизни твоей, нам ведом
левый бок ее, резво ж время течет вправо.
Камушки, что у ворот сложил, не возьмут воры.
Сходи, прибавь еще один к груди этой.
Полною ль жизнь взойдет луной с этим годом,
кто узнает? Молишься нынче богам рьяно.
Рано с постели встаешь, тяжела тога.
Пешим ходом идти не легко к храму.
Время чертою разделит ровно с чужим — наше.
Правые начертать числа твои сложно ль,
сбивая колени о камень, что ты выбрал,
уплатив за него на треть цены больше?
Людных чураясь мест, где молений велик шепот,
не раздавая долгов богам, стороной вел их
ты вдоль стены городской, чтобы в уши им льстить сладко.
Каждой трещинкой петь губ своему духу.
Или, это мои вспомнив в ночи песни,
ты говорил им то, что от меня услышал,
долго что-то шептал, в сердце меня вспомнив
и, поливая вином дубы, о моих думал
манах, из чаши возлив им то же вино щедро?
Камни лет твоих собрались уж давно в кучу!
Дождь хлестал их и серебрил иней,
в с е в голубиной жиже, в листве палой
они, новый бросишь, сверкать и ему с месяц.

¹ «Маркин, отметь этот день хорошим знаком (камешком), этот светлый день, который к текущим твоим годам присоединяет еще один». — Персий, Сатира II.

Эху слов этих в день твоего рожденья
не внимай грустно, искусным чтецом стань я,
то, сказаа бы тебе по-латыни живым слогом,
что поэт уместил в пару стихов кратких.

2010

СЕЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Дуй, дуй, Борей, неси их дальше, прочь...

И. Бродский

«Подумаешь — соседи!» Я из тех,
Кто до сих пор читает Харта Крейна
И мечется меж двух библиотек.
Выстукивая чувственно Шопена
Ногтем на окантовке рулевой,
В горах вы будете дышать, а я
Всплыву полоской хмари городской
Средь дачной зелени, где вьется колея,
На объездной сползая в бездорожье.
Свой бурный век я доживу вот здесь,
И примирюсь, должно быть, с волей Божьей.
Но как ручной медведь у входа в лес
Припомнит прелесть лестничных пролетов,
Когда бежишь, но, кажется — летишь
На поводке, так вспомню я природу
Вещей, что свыкнуться успели лишь
С подобием меня в плену квартирном.
Подумаешь!.. До душа и — назад,
Кряхтя и проклиная этот мир, но,
Другой, что впереди — Эдемский сад.
И на ветвях плоды отяжелели,
Садовник с изумленьем смотрит как
Из-под колод повылезали змеи...
Но не попасть бы мне опять впросак,
Попробовав отрисовать с природы
Неприхотливый деревенский вид,
Где жизнь течет без лоска и халтуры
И в каждой тени облик наш открыт.

2011

ГОЛОВА ВСАДНИКА

Пусть о рае расскажет ветер...

Э. Паунд

Это стихи, которых я еще не написал.
Они о голове. Но, пережить ее,

вот главное, что я обязан сделать.
Построить плот и переплыть, но чтобы
картонным глобусом вращались
два вкривь соединенных полушария,
где посреди пустыни — гладь морская,
а горная вершина смотрит в пропасть,
и пропасть ей взбирается на плечи.
Покуда мчится с туловищем конь,
она покойна, как всегда, болтлива,
но чувствует, что может захлебнуться
водой и воздухом, что стали бесполезны.
Последнее, с чем примирюсь, когда
начну писать: слова, глаголы, буквы
от головы. Вот это ей доступно:
укатится в Платонову пещеру
да и переместится в зазеркалье.
Покажется ей — вот она идет,
почудится, что семенит вприпрыжку,
движенья претворяя в тему фуги. И все
в похожем духе, а болтать
не разучилась в темноте, напротив,
озвучивает все, что проплывает,
все то, что в силах разом оживить
без помощи двух крепких кулаков,
содействия объятий и событий
да беготни бесцельной по ступенькам
щербатых лестниц и поездов в лифте...
Но выбора, пожалуй, нет, придется
произнести случайный приговор
тому, кто на коне несется по равнинам,
сказать, что знаю этого уродца,
а тот не ведает, что сотворил на воле,
где первым канул в очередь слепых
с картины Брейгеля, похожий сам на куклу,
на целый легион без имени — немой
с колышущейся почвой под ногами!
И что держало вместе нас, меня
и туловище! — взвизгнет напоследок.
Где спрятан я?.. Там — всадник, тут — кувшин
наполненный самосознанием, речью,
воспоминаниями о предметах,
словами без вещей, названиями без смысла.
Вот голова — она опять повисла
среди абстракций, переходящих в вопль
молчания, а туловище едет на коне
и топчет землю, шпоря без причины;
так значит — всадник? Только голова
саму себя не уболтала б к смерти.

Стихи, которых я не написал,
похоже, совершили что-то сами,
болтаясь между жизнью и предметом
нежданной встречи перед входом в рай.

2011

НАДПИСЬ

Давиду Паташинскому

Он лежит под деревом, по рту его бегают муравьи,
на лбу пропечатался след от истлевшей бабочки;
червь вползает в зад (похожий на мозг свиньи), —
на нем рубец от крючка с утонувшей удочки...
Ископаемые жуки преграждают пути туда,
к раю, где шепот последней его извилины
прерывается звуком бурения — муравьи занимают места
в Колизее, как сановитые римляне.
Он лежит, постепенно превращаясь в пятно...
Пятками — вместе, носками к другому свету
катится. Наспех вывернутое дно
его собирает надломленной глыбой — где-то...

2011

НАПИСАННОЕ НА РОДУ

Вальдемару Веберу

Родовое поместье прадеда
близ озера Севан.
На обороте снимка: *Гарнык, Эмма, Арцвик* (полустерто...).
Африканская деревушка
прибитая к шершавой скале.
Жертвенный черный козел
приезд мой праздновал смертью...
В Москве через шторы
Кремлевская горка видна
из Иофанова серого дома —
Корабля призрачного
у Полуострова безбрежного...

2013



Сергей ВОЛЧЕНКО

/ Москва /

НЕОПРЕДЕЛЁННЫЙ РОДСТВЕННИК

Я вошёл в квартиру своей матери и увидел незнакомого (среди её разбросанных вещей).

Увидев меня, он сразу стал говорить, именно не сказал, а стал говорить, говорить, потому что даже когда замолкал, то, казалось, слова всё равно продолжают литься сквозь него и в следующий миг вновь столкнут с места его гладкую чётко очерченную челюсть с широким, мягко раздвоенным подбородком:

— О, это вы! Я вас давно дожидаясь, почему вы так долго? А, собственно, вас же не известили, что я здесь, так что могли бы и не приходить. Я б не обиделся, если б вы не пришли — значит на то, как говорится, была б Божья воля... Вы верите в Бога и его волю? Для этого, говорят, нужны километры молитвы!

— А кто вы? — спросил я, продолжая разглядывать его: у него были чёрные длинные, но ровно обрезанные волосы, чёрные, но ясные глаза, широкие плечи, он был в тёмных брюках и светлой сиреновой рубашке из тонкого хлопка с перламутровыми запонками. И, похоже, находился в том месте своей жизни, когда заложённая в нём красота и возраст максимально совпали, чтобы слепить столь притягательное внешне, что я отшатнулся, ещё раньше, когда в первый момент увидел его. При этом я ощущал его зыбкость: словно сами мгновения времени, наполняя и неся тело к разрушению, отлили его таким идеальным случайно и вот только сейчас, пока я его продолжал видеть. Я, конечно же, не мог за столь короткий миг заметить само это плотное, непрерывное к увяданию течение, но сиюминутная его неподвижность, будто зацепившись за меня, уже соскользнула и как красивая форма невесомо застыла поверх, уже не плавя в нём, но ещё и не отлетев окончательно в пустоту воспоминаний. Стало как-то жалко его — его красоту. Я смотрел и ущербно довольствовался лишь его обрезанной, выхваченной из времени внешностью, потому что никогда раньше этого человека не видел. Странно: он казался мне то чужим, то родным.

— Кто я? А вам не кажется, что это вопрос личный? Поменьше задавать личных вопросов, тогда всё будет у нас хорошо, — он захохотал. — Согласен? Ну?

— Что, «ну»? — спросил я в растерянности, но чувствуя в себе раздражение

— На что ты хочешь ещё получить ответ?

Он стал подходить ко мне... или наступать... то ли с намерением вытолкнуть наружу, то ли даже ударить. Какая-то угроза от него и весёлость при этом... — что-то непонятное, неопределённое. Это неопределённое проникало в меня: верно ли я чувствую, что он хочет ударить, верно ли, что он, несмотря на это, всё равно приятен?

Не спрашивать больше, кто он! И, вообще, как-нибудь выпроводить его из квартиры! Но как? Он здоровенный и может ударить, но всё-таки не вор и оказался здесь не случайно; и чем-то даже приятен мне. Я не уверен, что выставив и не узнав предварительно кто он, потом не пожалео об этом. Но его, вроде бы, постоянное и опасное намерение напасть вызывало моё упорное желание избавиться от него и удерживало от этого, чему я был отчасти и рад: вдруг всё-таки станет понятно, кто он и зачем тут.

С его появлением начался хаос. Вся квартира матери почему-то оказалась перевёрнутой вверх дном. Хотя, может мать недоделала уборку? Этот тип пришёл сюда явно без её ведома, это очевидно, но всё же я продолжал чувствовать, что в этом была неслучайность, дающая ему такую уверенность.

— Вы меня не можете выставить отсюда. Во-первых, я не сделал ничего плохого, а во-вторых, я имею к вам прямое отношение. Ну, скажите! Что вы! Чем-то! Недовольны! Мною!

И мне показалось, что он уже вот-вот замахнётся, чтобы ударить меня.

«Если я затею с ним драку, и он одолеет, то тогда, скорее всего, поселится здесь навсегда, тем более что может быть это какой-нибудь наш дальний родственник, о котором я не слышал. Поэтому надо всё же как-то выманить его на улицу, а там будет видно...»

— Вы ведь с улицы пришли? — спросил я.

— Нет, я не с улицы.

— Откуда же?

— Опять личный вопрос, да?

— Да.

— Хотите всё знать?

— Я этого не говорил...

— Хотите, чтоб я вас навсегда покинул?

— Возможно и так.

— Даже не узнав, кто я?

— Но вы ведь сами боитесь личных вопросов.

— Изменит ли это что-нибудь?

«Он сам боится сказать, кто он, — подумал я, — потому что, узнав, мы можем однозначно решить, что ему у нас не место, а не зная и только предполагая, можем и оставить...»

— Пойдём лучше выйдем на улицу, там всё спокойно обсудим...

— По-моему тут спокойнее, чем снаружи.

— Нет, улица — она для всех нас, там и найдётся место всё обсудить, — неуклюже, но твёрдо сказал я, и сразу представил себе, как обаяние его растворится в необъятных сумерках, почувствовал, как родственность к нему уйдёт с меня в землю сквозь мокрый асфальт, и вся эта вязкая неопределённость исчезнет. Но для этого нужно было выманить его. Мне очень захотелось скорее на улицу, увидеть его там, в сыром прохладном воздухе.

И тогда мы оказались на улице. Вокруг бесцветные дома. Он в светло-сиреневой рубашке, лицо всё такое же самоуверенное, красивое, улыбающееся. Пока ничто не изменилось: он так же рядом со мной и так же не собирается исчезать, и то же самое ощущение, что от него никуда не деться, и так же он продолжал мне и здесь чем-то даже нравиться. Я боялся сказать сразу «проваливай» — вдруг врежет, и начал издали:

— Мы вот вышли...

— Куда? — спросил он.

— На улицу, не видишь?

— Я впервые здесь, — сказал он и резко подошёл почти вплотную ко мне.

— Существует демаркационная линия, — сказал я, отходя от него.

— Дальше... — и вновь эластично скользнул ко мне.

— Что дальше? — сказал я, растягивая дистанцию.

— Продолжай, — и вновь подошёл, словно был прикреплён натянутой резиной ко мне.

И вот вроде он готов ударить... Крупнее меня, длинные тяжёлые натренированные руки свисают вдоль тела, но в любой миг могут придти в движение, как и его язык, легко и постоянно выбрасывающий в воздух слова, за которыми как фон висит всегда одинаковая и уже надоевшая нейтрально весёлая улыбка. У него очень тяжёлый кулак, тяжелее моей головы, и если скажу «убирайся, гад», он меня легко собьёт с ног. При этом не увижу даже движения его молниеносной руки, именно вот без этого промежуточного момента между внешней приветливостью и явной агрессией сразу окажусь на земле! В этом будет слишком его большое преимущество, и я себя почувствую совсем уж беспомощным дураком. Но такое совершенство не могло не нравиться! Вот если б не эта неопределённая симпатия к нему, мне было б тогда гораздо легче первым напасть, и свалил бы даже его. Но, возможно, он и не собирается вовсе меня бить, может мне это кажется, а может, если я скажу что-то грубое, то только тогда захочет ударить, а сейчас даже и не думает; а может он и не предполагает, что я хочу сказать ему грубость... непонятно.

И вот стоим. И он улыбается.

Улица ничего не проясняет, не изменяет.

И тогда мы вновь оказались в квартире моей матери. Родители дома. Он стал ходить из комнаты в комнату. С его появлением в комнатах всё пришло в необозримый хаос. Вещи почему-то оказались

разбросаны по полу (и то ли вот сейчас, то ли раньше он всё разбросал...), мебель сдвинулась, книги слетали с полок; мне безумно хотелось избавиться от него, тем более что родители не прилагали к этому никаких усилий. Мать сидела в большой комнате с явным видом то ли смирения, то ли безразличия, отец же себя вообще никак не проявлял, а этот уже ходил как хозяин, насвистывая, ничего не говоря! Собственно, на каком основании мы его терпим?! При этом он передвигал мебель, роняя на пол шкафы! Я вдруг увидел рисунок Михаила Соколова — он оказался порванным, на рисунке была изображена прекрасная дама в широкополой шляпе, наверно из серии иллюстраций к Диккенсу, я стал пытаться состыковать края, может быть ещё и можно было бы склеить, но всё равно это будет уже не то! И вот, особенно разорванный этот рисунок дал ощущение какой-то страшной непоправимости и необратимости несчастья, он наверно порвался, когда *этой* опрокинул на него книжную полку (папка с рисунками вертикально стояла прямо под полкой). Зачем он её опрокинул?! Для утверждения себя? Чтоб показать, что он тут имеет на всё право? А может, сама неопределённость (кто же он всё-таки?) стала всё разрушать?!

Мать сидела в большой комнате и плакала. У неё на немолодых, уже сильно морщинистых щеках распластались слёзы и щёки блестели. Непонятно, почему она плачет, казалось, она плачет без причины, смирившись перед неизбежным роком, в котором нет ни причин, ни следствий, который даже и не связан с этим парнем, потому что она даже не подняла порванный рисунок Соколова, словно даже рисунок этот не имел значения сейчас для неё...

— Ну что же это за сволочь, — сказал я. А потом матери, с возмущением:

— Почему ты сидишь? Надо всё-таки узнать, кто он?! А ты даже не спрашиваешь! — и бросился на кухню: там что-то с грохотом обрушилось, значит, он сейчас наверняка там. На кухне уже всё опрокинуто, я замахнулся на него медным пестиком от ступки, а он лежал на перевёрнутых кухонных шкафах, изображая пьяного и смеялся.

— Да кто ты?!

— Я? — он видит занесённый над своей головой медный пестик, но всё так же улыбается. — Ну я скажу... Я от тёти Тани.

— Он от тёти Тани, слышала! — кричу я матери.

— Да, — отвечает мать (тётя Тания — это жена дяди Гути, брата моей бабушки, она живёт в Ташкенте и мы никогда её не видели, и связь с ней прервалась много лет назад, когда умер дядя Гутя).

— И что теперь? — говорю я. — Надо проверить!

— Не знаю, — говорит мать, — я никогда к ней не звонила и не хочу звонить.

— Позвоните, если не верите, позвоните к тётке Тане! — закричал он и ринулся в комнату к отцу. — Ну, если ваша жена не хочет позвонить, то вы проверьте — от тёти Тани я или нет!

И вот, то ли он сам задел очередной рисунок Соколова, то ли вихрь, который он создал, несясь по коридору в маленькую комнату, где был отец, то ли сама создающая хаос неопределённость, вызванная им, рванула рисунок наискосок. Я это увидел не сразу, а когда

стал собирать обломки старого, очень ломкого немецкого приёмника (он тоже оказался разбитым) и под ним лежало несколько рисунков тушью Соколова на прозрачной папиросной бумаге — все разорваны, летящие кареты с прекрасными дамами — разорваны, серия «Цирк»: Пьеро в чудном колпаке — разорван, пейзажи с трепетными осенними деревьями и зыбко исчезающими в холодных облаках птицами — разорваны, на одном из обрывков надпись, которую я знал и помнил неотделимой от рисунка: *«Дорогой Леночке, верной памяти Сергея, с благодарностью от всего сердца»* — это гениальный Соколов всё подарил моей бабушке и дяде Олегу, незадолго до смерти, когда они во время войны, в эвакуации, очень рискуя, пустили его, умирающего, спасающегося зимой из лагеря и упавшего уже без сил у них на пороге. А сейчас эти рисунки из старой серо-жёлтой папки брошены, и они на полу и часть их порвана и смята. Почти неосязаемое равновесие и гармония, и красота каждого мига ускользающей жизни, но навечно, неподвижно впрессованное в глубину прошлого века вместе с пожелтевшей бумагой от выпотрошенных в лагере папирос, сейчас вдруг сдвинулось, разомкнулось и разломилось навсегда...

Это была необратимая страшная утрата.

Я вскочил, чувствуя как эта утрата даёт мне силы, возможность видеть, что он слаб и что я с ним справлюсь. Вернее, я и не хотел с ним справиться, мне хотелось только толкнуть его за эти разорванные рисунки (повторяю, он был очень красив и обаятелен). Я схватил его рукой за лицо и, сделав шаг вперёд, изо всех сил толкнул. Он вдруг необычайно легко поддался и, пролетев через всю комнату, падая, разбил головой стекло в книжном шкафу. Я не ожидал, что получится так сильно и испугался. Опередив отца и мать, я склонился над ним, и опять то же самое разъедающее чувство необратимости и несчастья нахлынуло на меня, но с неизмеримо большей силой. Его лицо было всё искажено, но не гримасой боли: от удара у него под кожей сместились кости черепа и красивое лицо всё было смято. И вот только сейчас понимаю: к этому, всё к этому и шло: развал квартиры, потом погибшие рисунки — всё это лишь начало было, непрерывный путь необратимости несчастья, самого жуткого. Порванные рисунки были ещё не пределом, продолжение — вот! Из-за меня! Всё это теперь из-за меня! Но если б он умер уже к тому моменту, как я склонился над ним! Мне было бы тогда не так тяжело: его изуродованное и уже неузнаваемое лицо на раздавленных костях шевелилось, нет, это переломанные и сдвинутые кости черепа шевелились под кожей. Он не испытывал ко мне злобы или обиды, хотя такое смещение лица уже не могло выносить наружу мысли и чувства (или их нельзя было распознать), они уже были невыразимы и никак не связывали его с внешней жизнью. Ужасно жалко его мне. Надо было обязательно терпеть его и его хаос, чтобы вот этого не случилось, но я не знал раньше.

А у матери всё так же на щеках слёзы, и она, видимо, также как и раньше не чувствовала их, глядя в сторону, вдаль, куда-то сквозь стену. Для неё всё это, видимо, не было неожиданностью. Она тогда молчала, не поддерживала меня... зря я тогда возмущался ею...

Татьяна ГРАУЗ

/ Москва /



ВОЛЬНО И НЕЖНО

в знойном июле небо медленно зреет
 облако зацепилось за ветку черешни
 оторвалось
 п о л е т е л о
 вольно и нежно
 над тёмной волной
 над колоколом неумолчным земли
 в жарком полуденном немигающем свете

* * *

могучий сон природы
 неведом день когда она заговорит
 на языке игольчатом высоких елей
 и лопухов прохладных глянцевиных

когда вздохнёт бездонно небо
 и выдохнет свободный млечный путь
 и темноту зернистую
 и нас
 в сияющую вечность

* * *

а вы там спите тихие
 бессмертные
 или вы смертные и спите тихо-тихо
 вам под землей не холодно спокойно
 и в вашей углублённой темноте
 где человеческий забыт навеки голос
 рябина прорастает
 и мыши тычутся в сухие ваши лбы

а мы сметаем пыль с крестов скамеек
сажаем фиалки и барвинок
и повторяем

«как тихо здесь,
как хорошо»

и расстаемся с вами ненадолго

ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕЧЕР

припекает
и облака бегут невозвратно
сияют прощальным светом

и будто снова
опять ты в пятом классе
заросший Бог весть чем забытый школьный двор
и снова видишь
учительницу с рыжей чёлкой
она качается на тонких каблучках
и объясняет разницу
между сурепкой пижмой девясилом

ВЕТКА СИРЕНИ

среди пустырей — озеро заболоченное
узкая дамба камыш
домики с плоскими крышами
запах сирени весной

в окна настезь открытые
звук самолёта в мутном небе степном

когда меня вовсе не будет
останутся эти пыльные далёкие вязы
сухая потрескавшаяся земля
и ветка сирени
в стакане прозрачном невозвратимого детства

* * *

и я уже не та, кем я была
дождь радугой рассыпался по сердцу
приходит то
о чём так просто не расскажешь
когда увидишь чудо — лист осенний
на сонной ветке серенького утра

НАД ПРОШЛОГОДНЕЙ ТРАВОЙ

в увеличительной линзе — вербное воскресенье
 дети траву прошлогоднюю поджигают
 а над ними стоят как замороженные облака
 и кириллицей алой застыло название
 кинотеатра «Родина»
 над свежим газоном где были когда-то могилы
 над омертвевшей травой в кардиограмме тропинок
 в воздухе сером цветёт растревоженная душа

НЕДОЛГОЕ

когда мы забудем
 забудемся
 и как наледь сорвёмся в пустой
 оживающий к вечеру город
 где балки балконы и даже бельё от мороза железно
 где слюдяное стекло с металлической солнечной долькой
 и улицы густо синеют на теневой стороне
 когда мы всё это забудем забудемся и засияем покоем
 может снова полюбим
 простое дыхание слов
 и недолгую — ранищую — безысходную жизнь

ГДЕ ТЫ КАК Я

а там где ты
 как я бываешь
 счастлив
 повсюду там синее хвойный лес
 и воздух вычищен весёлой жёсткой щёткой
 до бесполезной лёгкой белизны
 и ты
 как я
 лежишь в тепле растений
 (пыльца сияющая света)
 и в зеркале бегущих облаков
 небесный сор — нет, сонм — из лиц усталых
 сквозь линзу озарённую росы
 приветствует тебя как боги
 кивни хотя бы улыбнись вослед

Михаил АРАНОВ

/ Жанновер /



ПЛОЩАДЬ КАЛИНИНА¹

(Глава из повести «Вернутся ли голуби в ковчег?»)

Эти воспоминания мои связаны со временем, когда мы с мамой после блокады вернулись из эвакуации в Ленинград. Тогда папа несколько дней был с нами.

Папино имя было Генрих. Папиного отца звали Фридрих. Но «там», на службе папе ненавязчиво посоветовали изменить имя и отчество. Особенно не мудрствуя, папа превратился в Григория Фёдоровича. Кому надо папин начальник объяснял, что, хотя по паспорту папа немец, на самом деле он немецкий еврей. «Наверху» эту легенду приняли.

Сочинители папиного имени-отчества и его биографии были весьма предусмотрительны. Не жаловали в Красной Армии немцев.

Как-то, в свой последний приезд, глядя на меня, папа сказал: «Какой ариец родился у коммуниста Генриха». Больше он этого никогда не говорил. Шла война.

После войны папа ещё несколько лет оставался в кадрах вооружённых сил. Среди его друзей много было военных. Кто-то приходил к нам в форме. Я помню синие околыши фуражек и синие погоны. Я спрашивал отца: «Они что, лётчики?»

Отец отвечал: «Нет, они другие». У отца была такая же форма. Но он редко надевал её. Потом я узнал, что это форма МГБ. Зловещий смысл этой аббревиатуры до меня ещё тогда не доходил.

Был январь сорок шестого года. В тот день папа на службу не пошёл. С утра он о чём-то горячо спорил с мамой. Я запомнил только одну фразу, которую папа повторял несколько раз: «Он должен это видеть и знать».

Мама одела меня в зимнее пальто и ещё под пальто тёплую одежду. Я сопротивлялся. Но мама строго сказала: «Будет холодно».

¹ Полностью — М. Аранов «Страх замкнутого». Повести и рассказы. — «Алетейя» (СПб.)

За нами заехала чёрная «эмка»¹. В ней были два офицера. Папа был в штатском.

Когда мы сели в машину, папа негромко сказал мне:

«Сейчас ты увидишь, как будут вешать врагов, фашистских преступников».

— Вешать? Как пальто на вешалку? — я засмеялся. Папа переглянулся с офицерами. Никто из них мою шутку не поддержал.

Мы долго ехали вдоль Невы, мимо разрушенных заводских строений.

— Завод имени товарища Сталина, — сказал папа. Офицеры согласно кивнули.

Это была окраина города. Где-то здесь теперь площадь Калинина.

Перед огромным зданием кинотеатра «Гигант» стояла длинная виселица из грубо отёсанных брёвен. Откуда-то, со стороны «Крестов» под виселицу въехали четыре «студебеккера», окрашенных в тёмно-зелёный цвет. В кузове каждой машины находилось по два немецких офицера. Руки их были связаны за спиной. Вместе с немцами сидели красноармейцы в стальных шлемах.

Из «эмки», такой же, на какой мы приехали, но с радиостановкой, раздаётся глухой, простуженный голос. Это прокурор читает приговор. Солдаты заставляют немцев встать. Немецкие офицеры были в серо-голубых шинелях с расстёгнутыми воротниками и без погон. Их было восемь человек. Я точно запомнил — восемь. Папа взял меня за руку, и мне стало страшно.

Мы находились недалеке от машин. И я запомнил лицо одного из приговорённых. Серое, измятое, с развевающимися на ветру седыми волосами и безумными глазами. Он стоял ближе всех других к нам.

Папа кивнул в его сторону и сказал своим спутникам: «Я допрашивал этого полковника. Несчастный человек». Те удивлённо взглянули на него. Но тут же напряжённо замерли, устремив взгляды на виселицу. Прокурор замолчал. Солдаты набросили петли на шею приговорённых.

Какой-то военный выскочил вперёд и срывающимся голосом закричал:

— Смерть немецко-фашистским палачам!

Взревели моторы, и «студебеккеры», набирая скорость, выехали из-под виселицы.

Толпа тяжело охнула, и я увидел невысоко над землёй вздрагивающие ноги в начищенных до блеска сапогах.

Народ глухо молчал. Только по рядам солдат оцепенья прошёл нестройный шум. Потом вдруг раздался аплодисменты, свистки. Люди устремились, смятая оцепление, к центру площади, где стояла виселица. Охрана никому не препятствовала. Какой-то мальчишка поворачивает тело того самого полковника с безумными

¹ «Эмка» — модель легкового автомобиля. «М» — от Молотова, именем которого назван завод.

глазами, которого опознал мой отец. И повешенный вертится на верёвке как мешок с картошкой. Никто мальчишку не останавливает.

Возле стены здания кинотеатра «Гигант» несколько женщин плачут. И каждой из них было о ком плакать.

Плакало серое низкое небо хлопьями мокрого снега. Снег расползался влажными пятнами на серых выгоревших фуфайках, на затёртых довоенных пальто, на шинелях без погон и с погонями. Всем людям было о ком плакать. О любимых и не пришедших с этой проклятой войны.

В памяти многих ещё звучал из сорок первого года пронзительный голос И. Эренбурга: «Убей немца, иначе он убьёт тебя».

Когда мы ехали обратно, папа, как бы оправдываясь, сказал своим товарищам:

— Этот полковник мне всё время говорил: «Я не разделял идей национал-социализма. Я только выполнял приказ».

— Они все так говорят, — откликнулся один из офицеров, молоденький лейтенант.

Другой, постарше — капитан, обращаясь к папе, проговорил:

— Гриша, мы всё понимаем. Умерло. Да?

Он строго взглянул на лейтенанта.

— Да, — с готовностью подтвердил тот.

— Всё мы делаем как-то тяп-ляп, — задумчиво в пространство говорит капитан.

— Ты имеешь в виду виселицу из необструганных брёвен? — криво усмехается мой папа.

— И это тоже. Ведь хотели устроить казнь на Дворцовой площади! — восклицает капитан. — Слава Богу, Борис Борисович Пиотровский воспротивился.

— Конечно, осквернять Дворцовую площадь... — отозвался папа.

— Кто это может нам воспротивиться? — взвинчено воскликнул лейтенант.

— Нам — никто. Но в органах есть умные люди, — улыбнулся папа.

Все трое понимающе засмеялись. Смерть для них была не в новинку. Но война кончалась, и надо было думать, как жить дальше. Без подлости. В мирной жизни — это будет трудней, чем на войне. Но этого они ещё не знали.

Когда расставались, лейтенант шепнул на ухо папе:

— Скажите, а кто это Пиотровский? Генерал, из наших?

— Держи выше. Это директор Эрмитажа, — ответил папа.



Юрий ИЗВЕКОВ

/ Улан-Удэ /

* * *

Дрожащее живое колесо,
Стальное дерево с глазами без ресниц.

Полет за очень близкий горизонт
Тяжелых, круглых и короткокрылых птиц.

Кровь на промерзших рельсах. Голоса
Невидимых в передраппельной мгле.

Под ставнем золотая полоса
Напоминает о чужом тепле.

Что ж? Спертый воздух и не прибран стол,
Нечистый пот и жалобы во сне...

Неколебимый светоносный столп
Пронзает тучи и уходит в снег.

13 ЧЕРТИКОВ

В общем, не обидно ведь.
Закопают простенько.
Книжки дефицитные
Разворуют родственники.

Череп там оскалится,
Трещина испортится,
А душа развалится
На тринадцать чертиков.

Каждый будет крошкой
Розовым и толстеньким,
С гранеными рожками,
С бантиком на хвостике,

Со звонкими копытцами,
С завитыми усиками,
С райскими птицами
На бархатных трусиках.

Будем к вам являться
С часу до полтретьего,
Мило кувыркаться
В скользком лунном свете и

Нежную избранницу
Свежей адской силы мы
Будем тыкать в задницу
Золотыми вилами.

* * *

....., а ведь мог бы успеть
доказать, удержать, убедить,
разорвать эту липкую сеть,
как собачка бежать впереди,

оглянуться, сказать: «я не прав»
(а я прав), заглянуть в зеркала
честных глаз, закричать: «я не прав»,
честных глаз из простого стекла,

честных глаз: «проживу без тебя»,
честных глаз: «заполний пустоту»,
как же можно прожить без меня,
как постигнуть твою простоту?

как-то так вот зажмуришь глаза —
ты исчезнешь совсем, навсегда,
ТЫ.....

ЭТОТ ГЛАЗ

Этот Глаз. Я один. Мне страшно.
Что же, что же я сделал неправильно?
Что же я забыла очень важное,
Почему на меня направлен он?

Этим, ватой обложенным, вечером
Я за каждым деревом прячусь.
Все равно выплывает навстречу он
Злой, большой, золотой и горячий.

Закрываю глаза ладонями.
 Остывающей темной речью
 Мое имя в пространстве тонет и
 Становлюсь бездонный, вечный.

Я — один... Я — все... Больше нет меня...
 Но из сгустков тьмы в глубине
 Проявляется, все заметнее,
 Расцветает, гневный во мне

Этот Глаз. Он меня обнаружил.
 Размягчаюсь. Иду на убыль.
 Растекаюсь зловонной лужей.
 Остаются очки и зубы.

* * *

И дерево в саду. И путник у ворот.
 Ворота заперты. Он сверлит взглядом стену,
 что окружает сад. Разинув рот
 и голову задрав, и постепенно

он забывает кто он и зачем
 сюда пришел, и долго ль шел. Он видит
 лишь дерево в саду. Недвижен, нем,
 забыв все неудачи, все обиды,

всеет радости, что встретил на пути
 и был ли путь. Он видит только это
 сухое дерево. Бессильно опустив
 пустые руки. Выронив монету,

которой заплатить хотел за вход
 туда, где в самом, самом сердце сада
 его так долго терпеливо ждет
 такая долгожданная награда.

ТАМ ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК

Ну, вот и все. Теплей и безнадежней
 И глуше и невнятной голоса,
 А он летит, он камень-пересмешник
 И пялит спелые глаза.

Он видел все, что было и что будет,
 Холодную иглой в сияющую твердь,
 По полю теплых незабудок
 Он подошел к стене и стал, как дверь

И свет, и шорох, и слегка дрожащей,
И мягкой без ногтей, и нежной, словно дым
Ночной медузой расплывался спящий
И солнце дрогнуло над ним.

Там тоже человек. Не скрыть и не нарушить.
Пылинок лета золотистый оборот.
Степенный взгляд замученной лягушки.
И дерево в саду. И путник у ворот.

* * *

Распознав еле слышимый зов,
В золотом и мерцающем свете,
Разведем этот легкий покров
И почувствуем время и ветер.

Под малиновой россыпью звезд,
Как картину в облупленной раме,
Мы увидим старинный погост,
С трех сторон окруженный горами.

Там, под мертвенным оком луны,
Где верхушки сосен, как море,
Словно ветренный сын Сатаны,
Молод, весел, красив и проворен,

Лысый холмик поправши ногой,
Взгляд вперивши в пространство незрячий,
Весь в лохмотьях, почти что нагой
Труп брадатый ликует и скачет.

Что ж ты пляшешь мертвец удалой?
Где ты взял неумную силу?
Почему не почтят твой покой
Твои детки с супругою милой?

Знаем, спят уж столетья оне,
Одному тебе буйно и сладко.
И топорщим мы перья во тьме
Над бездонною этой загадкой.



А. Киров

/ Картональ /

ПОЛНОЧЬ ВО ЛЬДАХ¹

Повесть

**ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,
в которой обязательно разыграется сказка,
потому что глава — Новогодняя**

Повзрослевший за год Решётников солировал — на этот раз в отрыве от шахматной доски.

«Толща под нашими ногами начала раскалываться. Тогда я перерезал ремни, и собаки с визгом разбежались по образовавшимся льдинам. Пришлось бросить всю провизию, холсты, краски так, как мы бросили несколько недель назад и сам наш корабль «Мечта»... Сейчас мы несли на себе только самое необходимое. Через несколько часов силы наши иссякли, и мы упали на льдину, занесённую снегом. Мои товарищи сказали, что это верный признак её неподвижности. Проспав около четырёх часов, мы решили двигаться дальше, пока нашу льдину не оторвало и не понесло в океан. И вдруг с ужасом увидели, что это уже случилось».

Приключенческие романы были второй страстью Решётникова после шахмат. Шахматы и книги, которых в бывшем особняке Северова хватало, не давали мальчику упасть духом. Некоторое время требовалось, чтобы привыкнуть к «ятям» и «ерам», как называла старший алфавит их учительница русского языка, но уж привыкнув, не хотелось возвращаться к новому.

Читать в отделении могли не все. Поэтому Решётникова часто просили почитать вслух, что он и делал со скрытым удовольствием, солидно откашлявшись, голосом не своим, а какого-то прожжённого мужика. Время от времени Решётникова перебивал Валёк, чтобы подтвердить правдивость той или иной сюжетной ситуации или, наоборот, усомниться в истинности того-другого высказывания. Иногда девочки вставляли эмоциональный комментарий. В таких случаях Решётников делал паузу и через некоторое время продолжал.

— Бедняшкие! — воскликнула сейчас Зина, сочувствуя героям.

— Батя говорил: жить захочешь, из лесу придёшь, — успокоил её Валёк.

На них зашикали.

¹ Окончание. Начало «Крещатик» № 60, 2013.

«Грустно сидел я и ждал смерти. Состояние моё усугублялось тем, что это у привёл сюда моих товарищей, и, значит, их неизбежная гибель ляжет на меня тяжким грехом».

— Да уж. За чужой головой идти, свою нести, — пробубнил Валёк.

Тут даже Решётников оторвался от книги «В стране холода и смерти» и строго посмотрел на командира отделения.

— Всё-всё, — успокоил его Валёк. — Трави дальше!

«И вдруг вдалеке я увидел что-то, напомнившее мне человека. Я сказал матросу, он схватился за бинокль, но через какое-то время разочарованно вернул его мне обратно, сказав, что не видит ничего. Одержимый последней надеждой (то, что льдина разломиться на мелкие части в течение суток, было очевидно), я схватил ружьё и выстрелил в воздух. Каковы же были мои чувства, когда через несколько времени я услышал выстрел с той стороны...»

Дочитать конец главы не дала тётя Маша, буквально ворвавшаяся в палату. Тёти Машины глаза сверкали. Она буквально ликовала:

— Чижики мои драгоценные! Сюрприз! Вы знаете, что теперь у нас по соседству расположен госпиталь?

— Да!

— Знаем!

— Так вот, — тётя Маша сделала внушительную паузу и выпалила. — Завтра нас придут поздравить бойцы!!!

— Ур-рааааа! — прокатилось по отделению.

— Уйяааааа! — не зная ещё ничего, поддержали через стенку «взрослых» малыши.

— Но! — остановила тётя Маша веселье коротким, мягким и одновременно властным взмахом руки. — Но! К приходу дорогих гостей надо хорошо подготовиться. Додельываем уроки, русский язык (тут тётя Маша внушительно посмотрела на Решётникова) и математику (ещё более внушительного взгляда был удостоен Колька Александров), а через час начнётся репетиция. Придёт Лидия Матвеевна с баяном, и Анна Ивановна скажет, какие читать стихи.

В силу обстоятельств, связанных с судьбой мужа, участнице Коминтерна Анне Ивановне Степнер пришлось уехать в областной центр, близ которого располагалась Евма. Здесь её нашла тётя Маша и добилась перевода в санаторий. Дочь Степнер, врач по образованию, тоже работала здесь.

— Тётя... Гм... Мария Николаевна! — подал голос Валёк.

— Да, Валентин.

— А как. Ну то есть — они что, только к нам придут. Надо, чтобы они и к малышам сходили.

— Не беспокойся, Валя. Бойцов много. Они сами распределятся по нашим отделениям. У них тоже командиры есть.

— Так, слушай мою команду, — говорил ровно через сутки молодой лейтенант пятнадцати битым-перебитым жизнью мужикам разного возраста. — Идём в четвёртое отделение, к младшим школьникам.

— А чего не к малышам? — протянул сорокалетний дядька с замотанной головой и правым глазом. — Чего не к малышам, не к малышам? — по нездоровью, несколько раз повторил он.

— Отвечаю, — откашлявшись, чтобы скрыть смущение, отвечал лейтенантик, который успел до ранения повоевать всего-ничего, робел перед «стариками», несмотря на то, что со дня на день ждал отправки на фронт. — К малышам пойдут выздоравливающие.

— Пойдёмте, товарищи бойцы, — образовалась перед военными хорошенёкая медсестра.

(Тётя Маша опаздывала к началу ёлок в отделениях: принимала от начальника госпиталя списанный рентгеновский аппарат).

Столкнувшись взглядом с лейтенантом, медсестра зарделась.

Лейтенант не зарделся, но споткнулся на ровном месте и, наверно, упал бы, если бы двухметровый боец с хмурым лицом, придерживая правой рукой костыль, левой не схватил его за шиворот.

Остальные коротко хохотнули, лейтенант было взвился, но сестричка уже шла вперёд по коридору и, зверски окинув взглядом подчинённых, лейтенант засеменял ей вослед.

— Готов, — коротко брякнул великан и заковылял следом.

Тем временем за дверьми, к которым последовательно приближалась Вовкина «мама», её будущий муж и военные, Валёк делал короткий последний инструктаж:

— Всё как договорились. Главное — не бздеть. Покажем, что и мы здесь не лыком шиты. Товьсь!

Двери открылись — и возникла довольно неловкая пауза. Дети рассматривали бойцов, откровенно восхищаясь ими, особенно — молодым лейтенантом, который выглядел попримичнее и вообще, наверно, был героем (только почему-то без наград). Бойцы — увидели, наконец, детей. Не тех оборвышей на костылях, что бойко сновали в коридорах, а этих — королей Евмы. Лежачих. И обомлели.

— Здравствуйте, дети! — пробубнил великан и первым двинулся в сторону «зрительного зала». Пары десятков стульев у классной доски.

И тут дети захопали. Сначала один кто-то хлопнул в ладоши. Потом — другой. После — третий. И раздалась овация, в ходе которой мужики засмущались, заёрзали. Контуженный — тот вообще потерял ориентацию в пространстве и повернулся к дверям. Но лейтенантик нашёлся, развернул контуженного и пихнул его в сторону стульев, на одном из которых уже восседал одноногий великан...

— А сейчас — песня! — объявила раскрасневшаяся, словно выпившая шампанского, сестричка, выполняяшая, по совместительству, ещё и обязанности конферансье. — Хор Крауса-Александрова!

— П-песню, з-запе-вай, — скомандовал Краус.

— Я люблю про заек и про мишек, — шепнул тем временем одноглазый контуженный одноногую великану. — Как думаешь, про заек или про мишек? Про заек или про мишек?

— Про медведя, — успокоил его великан.

А в зрительный зал полились слова первого куплета.

Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой,
Идем мы в смертный бой за честь родной страны.
Пылают города, охваченные дымом,
Гремит в седых лесах суровый бог войны.

Рот контуженного приоткрылся.
Одноногий великан что-то забурчал себе под нос.
Лейтенант судорожно соглотнул.

Артиллеристы, Сталин дал приказ...

— Я — танкист, танкист... — затынул было одноглазый, но великан пнул его под стулом единственной ногой — и возражений больше не поступало.

Пение продолжалось.

Когда дети добрались до последнего куплета и спели его, Валёк поднял вверх руку, словно бы держал в ней саблю.

Артиллеристы, Сталин дал приказ... —

Исполнили одни девочки, а мальчики по окончании строчки троекратно свистнули.

Артиллеристы, зовёт Отчизна нас... —

Спели одни мальчики; свистнули в конце уже девочки.

Из сотен грозных батарей
За слезы наших матерей... —

Прокричали дети все вместе

За нашу Родину... —

Вступили девочки.

Херачь, херачь, херачь! —

Уверенно закончили мальчики.

Лидия Матвеевна спряталась за баян. Степнер густо покраснела. Возникла пауза, которая была, по самой меньшей мере, неловкой.

— Ну что же вы... — начала было медсестра, но недоговорила.

Военные начали хлопать и вставать.

— Подождите, — по-своему поняла она это вставание.

Но военные и не думал уходить. Они хлопали стоя. Громче всех выбивал своими плитами-ладонями звуки одноногий великан-артиллерист.

— А сейчас Витя Решётников прочитает стихотворение больн... кх-кх... ученика нашей Евмы Кости Кохановского.

Решётников по возможности присанился в кровати и начал:

Где такое может быть?
Вы представьте это:
Диалектика души
В гипсовых корсетах?..

Лейтенант издал горлом странный кудахчущий звук и пулей выскочил из отделения. Возникла бы новая пауза, но в этот момент к ребятам зашёл корреспондент фронтовой газеты, который нёс с собой фотоаппарат.

Решётникову пришлось начинать заново.

Стихотворение было длинное, и медсестра, конферировавшая от дверей, тихонько вышла следом за лейтенантом, которого не сразу нашла в полутёмном коридоре.

Сначала она услышала тоненькие всхлипы, и только потом увидела его, прижавшегося лбом к промёрзшему окну.

— Что ты, миленький...

Не сдержавшись, он ткнулся мокрым носом ей в плечо и затрясся всем телом.

...Храбро бейте вы врага,
Хоть снега, метели.
С вами сердца ураган
В гипсовых постелях... —

Закончил тем временем Решётников.

Ему опять аплодировали стоя.

— А сейчас — сюрприз! — вбежала в палату медсестра. — Внимание. На сцене — симфонический оркестр четвёртого отделения детского ту... э-э-э... детского санатория Евма! Встречаем.

Не все, конечно, — человек двадцать, — кто как мог: кто — с шиком, кто — еле-еле — откинули одеяла и достали на свет божий домбры.

— Таррега «Аделита»...

Как написал об этом журналист фронтовой газеты: «Наверное, это был единственный в мире оркестр, в котором юные музыканты играли, будучи закованными в гипс, лёжа или сидя на своих кроватках».

Концерт закончился. Однорукий великан каким-то чудесным образом извлёк из-под своего стула мешок с подарками. В мешке — невиданная редкость — были игрушки. Бойцы пошли по рядам кроватей.

— А кому мишку? Кому зайчика? — тоненько кричал одноглазый, переходя от одной кровати девочек к другой и повторяя всё одно и то же.

Игрушек было всего два вида: зайчики и мишки.

И только Кошке Александрову за хорошее поведение и за то, что перестал заикаться, досталась собака.

Собаку ему дарил лейтенант.

— А у меня мама есть, — неожиданно похвастался Коля.

— Так это от мамы, — улыбнулся лейтенант.

— Правда?

— Правда.

Фотограф тоже сновал от одной кровати к другой. В отделение набежал персонал. Все норовили сняться друг с другом, с чижиками, все вместе (делать фотографии в будние дни тётя Маша строго-настрого запретила). Общий план корреспондент тоже каким-то чудом умудрился сделать.

— А у меня папа орден «Александра Невского» получил, — похвастался Валёк журналисту.

— Молоток батька у тебя.

— А снимите меня с вашим пистолетом... Ну пожалуйста... Я папке отправлю. Пусть знает.

Военкор уже выщёлкивал обойму из трофейного вальтера.

Тем временем лейтенант о чём-то шептался с Анной Яковлевной, и Анна Яковлевна была явно чем-то не довольна:

— Мальчик в тяжёлом состоянии. Открытый туберкулёз лёгких. В изоляторе.

— В чём дело? — подошла к двум спорящим лейтенантам Мария Николаевна.

— Вот — Кохановского ему дай да подай, вынь да положь. Нельзя, я вам говорю.

— Анна Яковлевна, — Фоминская мягко, но ощутимо положила руку на плечо своей главной помощнице. — Пусть сходит. Пусть. Может, как-нибудь подействует?

Лейтенант уже махал рукой военному журналисту.

Семнадцатилетний Костя Кохановский был натурой сложной, поэтической, считающей, что война до сих пор не закончилась только потому, что на фронте нет его самого и его стихов.

Поскольку он не был лежачим, а передвигался на костылях, мучимый болями в лёгких и левой ноге, то благополучно сбежал месяц назад «на фронт». Каким-то образом добрался до областного центра. Сидя у вокзала и на вокзале, простудился. Грохнулся в обморок, стоя в бесконечную для гражданского очередь за билетом, и был спешно возвращён в Евму. Тут шутки кончились (да их и не было). От простуды и нагрузки организм ослаб, и болезнь накинута на Костю с удесятерённой силой.

Когда в изолятор буквально ворвались двое военных, Кохановский сначала ничего не понял.

А когда понял, заявил:

— Хочу сняться в военной форме.

И от нервной напряжённости момента закашлялся красным.

Далее в изоляторе имел место короткий разговор, после которого лейтенантик на десять минут под закрытыми дверьми, охраняемыми непроходимой Марией Николаевной, оказался в белье, а военкор — без наград.

Корреспондент сдержал своё слово, тайно данное им Кохановскому при прощании.

Через месяц он прислал в санаторий номер фронтовой газеты.

Увидев себя в форме лейтенанта над стихами собственного сочинения и рядом с заметкой о Евме, Костя слабо улыбнулся и, кажется, остался доволен.

На следующий день он умер.

А жизнь продолжалась.

Вступал в права Новый 1945 год.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, в которой дядя Саша помогает долговязому и вообще отрывается по полной

Длинный, который лёг на место Вовки, оказался ничего себе.

Голову с шеей и руки ему вскорости, через полгода, освободили. Тут, правда, выяснилось, что шея у него на бок и одна рука короче другой, потому что без кисти.

Зато у Длинного была настоящая фикса и татуировка с цифрами.

Длинный приехал из лагеря смерти. То есть, конечно, не сразу. Его, в числе прочих, фашисты, перед тем как драпануть, сбросили в колодец.

Длинному повезло. Во-первых, он не убился, а сломал позвоночник. Во-вторых, наши пришли уже на следующий день и успели застать его живым.

Впрочем, Длинный совсем не думал, что ему повезло.

Он, может быть, и вообще ничего не думал. Или думал. Но только не говорил.

Его историю Вальку и компании рассказал истопник дядя Саша, который почему-то выделил Длинного из всех, навещал его, приносил ему яблоч из сада.

— Эх, хоть бы живого фашиста посмотреть! — мечтательно протянул Валёк, когда дядя Саша закончил рассказывать историю Длинного.

— Сегодня вечером увидишь, — пообещал дядя Саша.

— Да ну, немца? — приподнялся на локте Решётников.

— Фашист нйэ нйэмц. Итальян! — вмешался в беседу Краус.

— Никто не угадал-с, — подняв полусогнутый указательный палец вверх, внушительно произнёс дядя Саша и стал возить свой кавалерийский ус по румяной щеке. — Фашист, но не немец, не итальянец, а: один — румын, другой — венгр-с придут к вам сегодня в гости-с. И приведу их к вам — я-с.

— Эти мать, — только и смог вымолвить Валёк.

Откуда взялись фашисты, все, конечно, догадывались. Слухи о том, что на месте госпиталя будут делать лагерь, ходили уже давно и докатились до ребят. Но никому почему-то не пришло в голову спросить, во-первых, зачем дяде Саше понадобилась эта авантюра; во-вторых, каким непостижимым образом он похитит двух фашистов из лагеря, если пообещал привести их сюда. А слов на ветер дядя Саша, подпоковник царской армии и герой гражданской войны, не бросал. Дяде Саше все верили, даже в случае с Чапаевым.

После очередного просмотра легендарного кинофильма с Бабочкиным в роли командарма (кинопередвижку устанавливали прямо в зале), ребята, как всегда, обменивались впечатлениями. Тем временем дядя Саша учил Решётникова, охочего до тонкой работы, ремонтировать часы.

— Неправильно он плыл, — со знанием дела настаивал Валёк. — В таком деле нать нырнуть — и шкрябать по дну, сколько духу хват. А то — соломинку в зубы. Никих пулемётов не хватило б Чапая упетать.

— Тебя-то там не было, — съязвила Колька Александров.

— А что, чем я хуже этого Петьки? Певуны. Такого мужика пропели.

— Ничем ты, Валёк не хуже-с не то что Петьки, а самого Васи, — вступил в разговор дядя Саша.

— А вы что — знали его? — как-то сразу догадался Решётников.

— Так точно-с.

— И за руку здоровались? — не поверил Валёк.

Но дальнейшая часть рассказа дяди Саши была настолько убедительна, что истории с Чапаевым в четвёртом отделении поверили все до одного.

— Никак нет-с. За руку не здоровался. Но под зад один раз получил-с.

— От него? — открыл рот Колька Александров.

— От него самого-с. Я ведь артиллеристом был в гражданскую. Уж не в таких чинах, как при царе, но и не рядовым-с. И вот вышла у нас заминка. Не то чтобы по моей вине, а из-за лошадей. Лошадей я пожалел насмерть загонять. А Вася ведь в лошадях был совсем не того-с. Даже ездил плохо-с. Что сказать — плотник, не казак-с. У него на машине-с лучше получалось. Ну так вот-с, подлетает он на своём драндулете, выскакивает из него — и прямой наводкой ко мне. И ни слова ни полслова, как даст-с.

Дядя Саша встал во весь свой могучий рост и похлопал по ягодичам, показывая, какая именно часть его тела была освящена Василием Ивановичем.

— Вот вы, наверно, струхнули, а дядь Саш? — предположил Валёк.
 — Никак нет-с. Я не то чтобы струхнул-с. Я эдак к нему развернулся и изготвился с разворота герою гражданской войны в бубен дать-с. Там и давать-то было особенно нечего-с: от горшка — два вершка-с, недоразумение одно-с.

— Чапаеву в бубен? — хором крикнули несколько человек.

— Именно-с. Чапаеву-с. В бубен-с. Ибо не пристало плотнику подполковника под жопу пинать-с. Но что-то меня в последний момент остановило-с.

— А! Сгузал всё же, дядечкин Сашечкин! — торжествующе крикнул Валёк.

Дядя Саша лукаво усмехнулся и покачал головой.

— Жалко его стало-с. На нём была печать обречённости-с. Это единственно в фильме правильно подмечено-с. «Всё одно, — думаю, — помрёт-с». Кстати, жизнь ему спас на следующий день. Обложили его в арьергарде плотно-с, по самое оно-с. Опять же надо было решаться. Мог и его накрыть. Повезло-с. Он ко мне потом обниматься полез, а я: «Простите-с». И даже руки не подал-с. Так что, господа офицеры, видите что получается-с? Дядька Сашка мог дважды помешать вам посмотреть сие шедевральное творение кинематографического искусства-с.

Решётников как будто хотел спросить, но всё стеснялся, а потом, наконец, решился:

— Дядь Саш, а как вы к нам истопником-то попали в таком разе? Если бы вы Чапаеву в бубен дали, тогда ещё понятно, а так...

— Году в двадцать первом-с на Дальнем Востоке-с мне другой командарм ещё раз под жопу пнул-с. Тут уж я...

Дядя Саша сделал внушительную паузу, а Валёк забился в конвульсиях гомерического хохота.

— В бьюбьен? — спросил молчавший доселе Краус, робевший перед участником далёкой войны, в которой его дедушка тоже принимал участие и, в отличие от отца, по другую от дяди Сашиной сторону обороны.

— В он самый, господин Керхарт-с. Припечатал как надо-с. Нос так и остался набок-с. Эдак, думаю, жопы моей Красной Армии не хватит-с, если каждый мудака-с будет под неё пинать-с.

— И... что? — осторожно спросил Колька Александров, который один не смеялся.

— Пятнадцать лет в войсках не артиллерийского свойства-с.

— Топорно-деревянных? — хмыкнул Валёк.

— В них самых-с. Мстительным оказался сучок-с. Не то что Вася. Подполковника в лагере обратно не дали-с, но уж и под жопу там не пинал никто-с. Словом, уважали. Выбрали бугром-с.

— А потом к нам? — догадался Решётников.

— Так точно-с. Хотя духом родине ещё бы послужил-с, но здоровьешко на дровах ухряпал-с.

Дядя Саша тоже был болен туберкулёзом.

Пленные действительно пришли вечером.

Румын играл в шахматы с Решётниковым.

Венгр вместе с дядей Сашей сидел у кровати Долговязого.

— Смотри, милый друг! — говорил немому благородный истопник. — Вот сидит живой фашист-с. Ему приказали бы, он бы тебя

второй раз в шахту сбросил-с. А он сидит сейчас и не сбрасывает-с. Хотя виноват-с. И отбывает за это своё страдание-с. Так ведь я горю-с?

Венгр, который не мог отвести от Длинного глаз, судорожно кивнул.

— И не злись ты на людей, мил человек. Не злись. Он был солдат-с. Тот, кто тебя сбросил-с. Он ненавидел себя, когда это делал: иначе и быть не могло-с. У него был и другой выход-с. Но это очень трудно: пойти одному против всех-с.

— Дядя Саша... А ты бы пошёл? — неожиданно подал свой тонкий, высокий, почти девичий голос Длинный, и вся палата онемела, словно пришёл её черёд молчать.

Дядя Саша обвёл глазами ребят, остановился взглядом почему-то на Александрове — и улыбнулся во весь свой беззубый рот:

— А я, братец ты мой, и пошёл-с. В семнадцатом году-с. Потом в двадцать первым. В другую-с. А надо будет, я и в третью пойду-с. И в четвёртую. Только себя не уроню-с. Честь моя не портянка-с, чтобы каждый день её в щёлочке отстирывать-с. Но это я-с. Ни роду, ни племени-с. Ни кола ни двора-с. Дядька Сашка. Истопник-подполковник-с. Не все так могут-с. Понимать надо-с.

Часов в девять вечера за пленными пришёл охранник, но игра Решётников — румын была так увлекательна, что бородачтый, комиссованный с фронта по ранению солдат, усевшись на кровать рядом с Вальком и сунув ему в руки надоевшую винтовку, не сразу решился остановить партию, которую румын, как ни отнекивался смущённый Решётников, всё же уступил ему.

На следующий день венгр принёс Длинному вырезанную из дерева рыбку-серебрянку. А Длинный хлебом его угостил.

Голодно жили пленные. Холодно. Помирали тоже. Они всё время заглядывали в окна четвёртого отделения, смеялись, махали руками. По своим детям, витьда, скучали. Да и жалели чужих.

Не без этого-с.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ, в которой рассказчик ищет зерно правды

Первыми словами Валька при теперь уже далёкой встрече с тётей Машей Фоминской были:

— А правда, что вы заковываете детей в железо?

В деревне, где он жил, о санатории говорили всякое.

Как положено, слухов, домыслов и сплетен в соседском деле хватало.

Говорили, что вроде бы тётя Маша — совсем не тётя Маша.

Она уже была замужем за белогвардейским генералом и потеряла ребёнка от какого-то страшного неизлечимого заболевания (несложно догадаться, от какого именно). Отец её — священник. Врачом она стала поздно — потому что сидела. На свободу её выпустили с другой фамилией. Почему? На этом месте та или иная товарка делала таинственное лицо и говорила, что тётю Машу, или как там её на самом деле, в ОГПУ перевербовали, и она выполнила ряд серьёзных заданий, после чего ей дали начать новую жизнь.

Говорили также, что своего отца, священника, тётя Маша нелегально прячет «на том берегу» (по отношению к самому санаторию).

На этом фантазии сельчан не заканчивалась.

Оказывается, тётя Маша и её теперешний муж, садовник Невзоров (безусловно — граф), были знакомы ещё в Ленинграде и состояли в любовной связи. В Евму приехали поочередно, чтобы отвести друг от друга подозрения, а потом завладеть сокровищами художника Северова (которые жившие до Фоминской с Невзоровым десантники почему-то не тронули, видимо, будучи одержимы высоким и благородным порывам к засекреченным дворянским отпрыскам, о приезде которых знали заранее).

Но и это ещё не всё.

Фоминская-де просилась обратно в контрразведку, но её не взяли из-за Невзорова, морского офицера царской армии (истинная правда, к этому можно добавить: героя русско-японской войны, которому, как и дяде Саше, было что рассказать).

Тогда тётя Маша нашла и привезла в Евму всех своих дворянских друзей и подруг (наверное, в виду имелась пролетарского происхождения разночинка Степнер с дочерью и дворянин по выслуге дядя Саша, который чхать хотел на всякую конспирацию).

И вот все вместе они готовятся к побегу за границу (ладно хоть не вооружённому восстанию против советской власти или покушению на Сталина).

А пока, за временной невозможностью побега, срывают своё имперское зло на бедных детках.

Из всего этого мог бы получиться увлекательный и дешёвенький роман, из-за устного варианта которого Фоминскую не раз вызывали в районный отдел НКВД и заставляли писать анкеты.

Однако, надо признаться, что в некоторых (немногих) деталях, самых грустных деталях романа в сплетнях, его авторы оказались правы.

Когда съехали десантники, ровно на следующий день к особняку подкатила телега, с которой легко соскочила стройная, красивая, породскому одетая тридцатилетняя женщина.

Её выбежал встречать мужчина лет пятидесяти с гаком, тоже не местного разлива, с бородкой и в пенсне. Гостью он ждал уже давно и очень волновался, натянув жарким летним днём суконный костюм. На лбу его выступила испарина. Вообще последнее время его мучила малярия, которую он подхватил во время службы на флоте.

— Здравствуйте, Мария Николаевна, голубушка вы моя! Спасибо, что приехали!

— День добрый, господин Невзоров. Простите, я вас на старый лад...

А он на старый лад уже целовал ей руку. И чувствовал себя при этом уже не таким измождённым и совсем не старым.

Мария Николаевна окинула взглядом имение и сказала... нет, не мечтательно. Сказала как отрезала:

— Это будет наш Царскоесельский лицей...

Фоминская действительно в юности была замужем и потеряла маленькую девочку, умершую от туберкулёза. Причём от той формы туберкулёза, которая, будучи вовремя обнаруженной, излечима. Но болезнь у девочки нашли слишком поздно. Тётя Маша проглядела собственную дочку, и это была едва ли не единственная врачебная ошибка, сделанная Марией Николаевной ещё до того, как она стала врачом.

Вероятно, тогда же она развелась с первым мужем, не в силах преодолеть общее горе. Кем был этот человек, неизвестно, да и не так уж важно.

После этого Фоминская поехала на одну изстроек, куда подрядилась на пятилетку. И только затем поступила в медицинский университет, закончив который, она несколько лет отработала сельским врачом недалеко от Евмы. Её заметили — и предложили новое назначение.

Она прошла хорошую практику в Сокольническом костно-туберкулёзном санатории, где под руководством профессора Зинаиды Юлиановны Рольхе и её сотрудников осваивала уход за костными больными и гипсовальную технику.

Её отцом действительно был священник. И она, в самом деле, привезла дохаживать больного и умирающего от естественной старости родителя в окрестности Евмы. И сделала это инкогнито. Здесь имела место осторожность и страх выйти из фавора власти. Но страх вовсе не за себя. Чего, спрашивается, тётё Маше при её-то нестигаемом характере было так уж бояться?

Детей после дочки Бог не дал. Второй брак был не из тех, которые заключаются по пылкой и страстной любви. Остаётся — пациенты.

В хрупкой, чахоточной жизни Евмы бывали такие периоды, когда становилось очевидно: умрёт в этом месяце один человек или умрут все — зависит только от тётё Маши. От того, удастся ей или нет прийти в тот или иной кабинет и вытряхнуть душу из его обитателя, договорится или не договорится она о шефской помощи, удастся, наконец, ей заготовить берёзовых дров или придётся довольствоваться осиною. Говорят, что незаменимых людей не бывает, но никто, кроме неё, не смог бы сделать того, что сделала она. В ней было то, что называется харизмой, которой не было ни у кого из персонала. И она это знала.

Скрывая отца, Фоминская жертвовала чувством собственного достоинства ради больных.

Здесь нужно сделать одно небольшое отступление и показать пример свойства не пафосного, а физиологического.

Тётю Машу частенько «тревожили» те самые «добрые» сельчане, что и пускали в её сторону пули. «Сердечко у батюшки прихватило», «жинка рожает», «в руке, кажись, слом»... И не было случая, чтобы кому бы то ни было Фоминская отказала в самой незамедлительной помощи.

Вот и на сей раз, зимой, она прыгнула в телегу и отправилась в деревню за десять километров от Евмы, чтобы помочь кому-то в чём-то... Не суть. Главное, что когда она этому кому-то помогла, то обратно её то ли не повезли, то ли сама она наотрез отказалась от подводы и пошла пешком.

В двух километрах от Евмы, в лесу, она наткнулась на волка, которого сначала приняла за собаку. Но собака эта, встретившись взглядом с Фоминской, вдруг оскалила голодную пасть. По словам тётё Маши, только мысль о детях (это было в ранние времена Евмы, когда ещё не приехала Степнер, не прибыла с фронта Аля), о том, что наутро они просто начнут умирать без неё, заставила Марию Николаевну осторожно двинуться дальше. Волк следовал за ней тенью до самых околотков санатория. Она остановится — волк остановится. Фоминская пойдёт — и волк осторожно двинется следом.

Когда Невзоров открыл дверь и жена рассказала ему о провожатом, муж, опытный охотник, упал в обморок.

Кстати, среди сплетен была и ещё одна: «Коммунистка и атеистка днём, Фоминская молится по ночам». Истинная правда. Так и было. Здесь кроется вторая «уступка» времени. Тётя Маша действительно проповедовала с районных трибун атеизм и даже отучила немногих верующих детей молиться, и так, чтобы об этом стало известно наверху. Бог — судья детского врача-фтизиатра. Не об этом ли «отлучённых» детях Фоминская сама так истово молилась ночами?

А брак с Невзоровым — был содружество, именно содружество мужчины и женщины, заключённое по общности интересов, причём высоких. Их можно назвать: спасение детей, служение людям, науке, Отечеству. И содружество помогало решить множество хозяйственных проблем, то есть... ускорить процесс работы и придать ей образ семейного дела, что никогда никакому ремеслу не мешало.

Она сформировала персонал из девушек окрестных деревень. Сама учила их делать первые повязки детям. Прекрасные имена сестёр милосердия говорят сами за себя: Нина Новицкая, Рая Хлебутина, Зина Щедрина, Катя Высотина, Шура Фуфаева, Маша Жгилёва...

Самое печальное, что многие сплетни исходили от детей, вернее сказать, их в полубредовом, нередко умирающем состоянии придумывали дети, рассказывали родственникам, захаживающим их навестить (а это могли себе позволить только те, кто жил рядом с Евмой) — и «шла висть» от двора к двору.

В других районах и областях слухи о Евме почему-то не прижились.

Но вернёмся к детям.

Поводы для пересудов тётя Маша им, что и говорить, давала.

Так, например, в Евме как лечебная терапия практиковалось многочасовое пребывание детей на свежем воздухе. Даже в морозы.

Фоминская, по связям, пробилась на приём к директору одной крупной советской шубной фабрики и умолила его отдать ей «за так» отходы, остающиеся при производстве шуб. Из этих отходов шились специальные шубные одеяла. Ими укрывали детей, оставляя их ночевать на террасах особняка даже в пятнадцатиградусный мороз. Естественно, ребятишкам случалось при этом простужаться.

«Ангиной не болеют никогда», — между тем публично говорила про детей Фоминская.

И они это слышали. И читали об этом в районной газете.

Думается, у Марии Николаевны, как и у любого сильного руководителя (особенно этому подвержены руководители-женщины), была нотка подвешенного решения под ответ задачи. Плюс репутация, которая, как в случае с отцом и верующими девочками, требовала уступок.

Отдельный разговор — наказание детей.

Некоторые из них впоследствии с содроганием вспоминали сковывание движений, привязывание рук посредством полотенец к матрацам.

Другие ужасаются при мысли о том, что их заголяли, причём некоторые медсёстры, якобы, любили заголять мальчиков-подростков.

Третьи утверждают, что в коллективах детей (малышом, младшем, среднем, старшем) присутствовала психологическая травля одних детей другими.

Полотенца были единственным возможным способом спасти и без того тающее здоровье того или иного беспокойного пациента. Ведь бы-

вают же у взрослых людей заболевания такого рода (душевные, наркологические), когда пациенты сами себе не принадлежат, сами с собой не дружат. Тут и говорить нечего.

Совместное лежание девочек и мальчиков (по-другому размещение больных при их количестве было организовать немыслимо) порождало мучительное чувство стыда и беспомощности, когда малейшей оплошности сиделки хватало, чтобы глубоко обидеть и даже оскорбить какого-нибудь паренька. Да и сами сиделки с медсёстрами, при всей тяжести их работы, были девушками жизнерадостными, здоровыми, в пуританских условиях собственного воспитания не имеющими лишнего шанса удовлетворить своё половое любопытство.

Изгои же — увы — как и необходимое насилие — неизбежные спутники любого коллектива, без которого человеческое сообщество просто не может обходиться. И чем казённее коллектив, тем горше чувства, этим самым изгоем или даже не изгоем от насилия испытываемые.

Притом, нужно помнить, что в семье не без урода и что человеческая природа темна, непроглядна, и насилие, пусть неизбежное, подобно заразным палочкам, и может вызывать в любом, даже самом гуманном человеке, отклонения от нормы.

— Так закончил свой пылкий развёрнутый монолог, который я передаю тебе, Велорий, почти дословно, ну если только чуть-чуть приврал в деталях, смотритель Евминского музея, свободный художник Валентин Петрович Гошин.

Впрочем, он и ещё добавил кое-что от себя.

Глядя на меня по-детски, снизу вверх (Валентин очень маленького роста), Гошин сетовал:

— Мне не здоровья жалко. Мне воли жалко! К нам ведь часто приезжали врачи из института. Мы думали, что над ними ставят опыты. Чувствовали себя кроликами. На нас испытывали какие-то лекарства. Большие такие пилюли. Я думал, концы отдам. Не знаю, был ли эффект от этого лечения. А тогда мы придумали, что эти опыты нужны, чтобы лечить бойцов. Я даже лозунг придумал: «Не пищите — всем больно...»

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ, которую, как слово из песни, не выкинешь

Я шёл в гостиницу, оставив ошарашенного Велория сжиматься с новыми мыслями об отце, почерпнутыми мной из воспоминаний Валентина Петровича Гошина и других участников этих событий, вычитанные в малоизвестных медицинских учебниках, толстых папках воспоминаний и шершавых подшивках журналов и газет, которые кому бы то ни было вряд ли захочется взять в руки без личной надобности или профессионального интереса.

И неслись вслед мне детские голоса, и смотрели из полуночной тьмы глаза, каких не бывает даже у людей, вернувшихся из лагеря или с войны.

Преследователи мои были безжалостны и не отступали от меня ни на шаг. Они и сейчас со мной и не влезают в рамки никакой убогой истории.

Болеют туберкулёзом и человек, и животные. И птицы, и даже рыбы. Туберкулёзом часто болеют: крупный рогатый скот, кошки, собаки, попугаи, реже — овцы, лошади. Верблюды, свиньи...

15 лет почти, а голый. Стыд. Не хочется вспоминать...

Туберкулёз известен с очень давних времён. Об этом свидетельствуют изменения tb-характера, которые были обнаружены при археологических раскопках в костных останках человека каменного века и мумий Египта...

Юрик Киров учил меня, как сходить по лестнице на костылях...

Чахоточный вид даже вошёл в моду, и дамы до невозможности затягивались в корсеты, пили уксус для томной бледности и закапывали в глаза экстракт белладонны для лихорадочного блеска.

Лежали рядом три года, но ничего про него толком не помню...

Ежегодно в мире около миллиарда людей инфицируются возбудителем заболевания; 8–10 миллионов заболевают и до 3 миллионов умирают...

Я пошёл после гипса в один день. Штаны у меня сваилились. А уж 14 лет — волосяное всё. Неудобно. Ребята тогда сочинили про меня песню. Исполняли под хлопки.

Наиболее подвержены заболеванию туберкулёзом лица молодого возраста.

Во время победы под Сталинградом старику, сторожу в Евме, попалось сказочно много леща. Полная лодка. Он просто перемотал сетку и тащи её за собой. Молился, чтобы не пошёл пароход.

И в этот же день на кухне углубляли подпол и нашли клад: 40 бутылок вина...

В 1990–2000-е годы дети и подростки 13–18 лет стали болеть туберкулёзом в 2,5–3 раза чаще, чем болели в 1970–80-е гг.

У Анны Ивановны Степнер зятя после войны перевели из военной авиации на кукурузники. Тёщина анкета подвела. Пропал мужик, спился...

Туберкулёз, который развивается у детей и подростков, имеет тяжёлое прогрессирующее течение...

Вылечился, играл, упал — снова горб...

Изучая под микроскопом препараты лёгкого, он заметил многочисленные тоненькие палочки, которые располагались группами (по несколько штук сразу)...

В последнее время (перед Евмой) я ходила в наклонном положении, опираясь ладошками на колени...

Возбудитель туберкулёза сохраняет жизнеспособность при температуре 269 градусов...

Слово общежитие он произносил так же, как мой отец — «общэжитие». Я спросила почему. Выяснилось, что так их всех научила говорить учительница музыки и русского языка Лидия Матвеевна...

Оптимальная температура жизнедеятельности составляет плюс 37 (температура тела человека)...

Я ни одного года не сидела за партой. Школу закончила в кровати. Потом библиотекарем всю жизнь. Сейчас — в богадельне...

Туберкулёзные поражения позвоночника — спондилиты. 20% — поражение тазобедренных суставов (кокситы) и коленных (гониты); около 10 % — поражение мелких костей и суставов...

Отменный персонал. Сколько им досталось! Таскать детей...

Кроватки делали при туберкулёзе позвоночника. Больного клали на живот. Бинтовали с гипсом. Потом пациенты лежали. Кроватка получалась по форме тела. Привыкать к этому, особенно маленьким детям, было трудно. Привыкание длилось неделю-полторы. Если не был поражён верхне-грудной отдел, руки и шея оставались свободны. В противном случае гипсование охватывало шею и голову...

Потом я работал с детьми. Переживал непрожитое детство. Волю!..

При кокситов загипсовывали от сосков...

Я вылечился, приехал через пару лет навестить. Тётя Маша смотрит: что-то не то у меня с ногой. Убедила остаться на моё второе пришествие в Евму...

Контрактуры (такое состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута), укорочения конечностей, искривление позвоночника, свищ, глубокая туберкулёзная интоксикация...

Дала медсестре очки — сходить на свидание. Вечером было кино. Очки принесли только к концу киносеанса. Так ничего и не увидела...

По стиханию активного туберкулёзного процесса дети вновь учились ходить. Сначала учились сидеть, время посадки увеличивалось с 2 до 10 минут, затем стоять, ходить с сопровождением, потом — без сопровождения — по такой же схеме...

Валя пела: «Всё васильки кругом, всё васильки...»

От дня «первой посадки» до выписки проходило примерно 3 месяца. Ходили дети в гипсовых корсетах, таторах. Выписывались также в корсетах и таторах, но уже желатиновых, облегчённых...

Рядом со мной лежала глухонемая девочка Поля. Какая она была мастерица! Она так красиво обвязывала цветными нитками носовые платки персоналу. Вязала им даже лифчики...

К 1965 году проблема с костным туберкулёзом в области была решена. Последний ребёнок умер в 1960-м году...

...А уж о неприятном рыбьем жире я и не говорю...

С марта 1968 санаторий Евма был перепрофилирован для лечения детей с лёгочным туберкулёзом...

Я еле передвигаю ноги от этого коксартроза, а особенно правую кокситную ногу с детства...

После войны изобрели стрептоциды. Процесс лечения облегчился, ускорился...

Увижу ли кого-то из больных-костников?..

А палочки приспособляются. Больные умирают. Палочки остаются...

Эта озорная девочка в солидных круглых очках так на всю жизнь и осталась калекой...

Палочка изменилась. Стала устойчивее. Эта форма туберкулёза устойчива ко всем лекарствам. Ничего нового не изобрели с конца двадцатого века...

Меня дома не было. А мой приятель, он редактором работал в «Труде», приехал к нам в деревню с Рубцовым. Собрались они на рыбалку. Пришли к моему отцу лодку просить. Отец на Рубцова посмотрел. «Безотцовщина?» Тот отвечает: «Да, безотцовщина». Отец ему сала отрезал: «На, держи. Чтобы лодка к утру была». Они на другой берег переправились, у костра посидели, вина выпили. И всё...

Тревожным признаком эпидемиологической ситуации является появление у детей и подростков туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью...

Меня привезли из Ненецкого округа. Заболела нога. Лечили народными средствами...

Появление случаев лекарственно устойчивого tbs зарегистрировано впервые в 1947 году. Но первые исследования о распространении лекарственной устойчивости в мировом масштабе начали проводиться только в 1994 году...

Далее были несколько операций, корсеты и костыли, но в девятнадцать лет я твёрдо встала на ноги...

Заблеваемость туберкулёзом детского населения чётко отражает степень распространённости данной инфекции в окружающей среде...

Серёжка Баталов утонул. В корсете полез в воду. Иначе Юрия Никулина бы не надо было. Люба Нечаева его любила. Замуж так и не вышла...

Туберкулёз может быть везде. Костный туберкулёз появляется после того, как появляется туберкулёз в лёгких. Это распространение инфекции из лёгких. Иногда в лёгких процесс затихает, а в костях продолжает развиваться...

На воле мы были закомплексованные...

Новая форма туберкулёза — пожар. Многие больные — бомжи. Неконтролируемая ситуация...

У меня не сросся сустав. В результате на 3 курсе меда начались боли. Прооперировали, но... У медиков всё не так, как у людей. Упал, снова появилась боль в суставе. Опять прооперировали. С тех пор сустав не болит, но и с ногами не очень хорошо...

Мы-то думали, что ликвидировали туберкулёз...

У меня 740 этюдов. Сколько нас прошло через Евму, столько и картин. И ещё тридцать в голове. О тех, кого «в другую больницу перевели»...

В Евме смешались дворянская традиция XIX века, эпоха модернизма, дух профессиональных революционеров и судьба живых участников Великой Отечественной войны...

Чем и как жила страна, тем и так жили и мы...

Парк, которым гордился художник, погиб. На территории бывших служебных построек усадьбы расположен новый двухэтажный корпус Евмы и котельная...

О своём пребывании в санатории почти ничего не помню. Только кажется, что запомнилась смена гипса. Куда-то подвешивали, что-то лепили, переворачивали вниз головой и т.д.

Смутно помню тётю Машу Фоминскую. Помню, что был какой-то мужчина, я думал, что это её муж, который выращивал яблоки и даже грецкие орехи. Может, это была детская голодная фантазия.

Из воспитанников не помню никого. Вспоминается только, что лет 40–45 назад встретился с человеком, который одновременно со мной находился в санатории. Крепко выпили.

Со своим Молодёжным театром объехал весь мир! Ура-а-а! Живём!..

**ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,
в которой Велорий занимается посторонними
разговорами, как это может показаться на первый взгляд**

Мы с Велорием сидели на берегу.

Велорий горячился.

— Ты понимаешь, дядя, для меня важно, важно, чтобы ты добился пересмотра дела и выступил с этими новыми фактами.

Я молчал.

Велорий смотрел на меня.

— Ну, скажи, наконец, что думаешь.

— Как ты не можешь понять... В этом деле слишком много личного, неявного. При желании его можно повернуть в совершенно противоположную сторону. Дело, как сказал бы Фёдор Михайлович, фантастическое. Кроме того, прошло пятнадцать лет. Всё больём поросло. Кроме тебя, о нём и не помнит никто. Какой смысл гоношиться?

Я прекрасно всё понимал. Понимал, что на карту поставлена уже не судьба Велориева отца, а честь семьи. Понимал, что Велорий не отступится от меня, пока я не соглашусь. Понимал даже, что я в конце концов и соглашусь. Именно это вселяло мне в душу холодный скепсис и желание уязвить моего в далёком прошлом однокашника.

Окончив педучилище, мы с Велорием, или Шуриком, как все его там называли, разлетелись в разные стороны.

Он — ударился в науку. Через несколько лет понял, что без прочных связей, которых у него нет, делать там нечего. Добился скромной учёной степени и засел затворником в краеведческий музей.

Я — закончил юрфак и вёл адвокатскую практику в совершенно другом городе, у себя на родине...

Здесь-то я просто учился, жил в общежитии...

Эх, славные были времена, хотя и голодные. Спасибо Шурику! Нежадный был товарищ. Подкармливал нас, казённую саранчу. Маму его помню. Никогда с пустыми руками в общежитие не отпустит. Пакетик картошки пренебреженно вручит. А у Шурика девчонка в общежитии жила. Инка. Пятая комната, первая любовь. Встретил её несколько лет назад. Тальманом работает. Диспетчером то есть в морском порту. Всё Велория вспоминает. Чего не поженились? Придурки! Всю жизнь себе исковеркали...

С месяц назад меня разыскал Шурик. Позвонил. Попросил приехать. Сказал: разговор только с глазу на глаз. Мне всё это как-то сразу не понравилось. Предчувствие плохое меня кольнуло. И я бы не по-

ехал: таким ли корешам иногда приходится жёстко говорить слово «нет». Однако на моё решение повлияло событие, о котором пока лучше умолчать.

Нарисовался я в городке, устроился в гостинице. Потом пошёл к Шурику. Встретились, обнялись. Вина он не пьёт, в завязке, поэтому просто поболтали о том, о сём. Инку вспомнили. Он, как и положено, погрузился, потом вдруг встрепенулся — и говорит:

— Слушай, помнишь моего отца и что с ним связано?

— Помню, — отвечаю осторожно так.

Ещё бы не помнить холодного пронзительного мартовского ветра, гула проводов, вселенского воя и нашего — в полном составе общежития — пути к дому Александровых. Такое помирать будешь — вспомнишь.

— Помню, — повторяю.

— Я хочу добиться пересмотра дела, первый раз сказал мне тогда Александров.

— Ну...

Тут я начал ёрзать так, будто у меня завелись глисты.

Шурик улыбнулся.

— Понимаю, всё понимаю. Но у меня появились некоторые факты. Вот я и позвонил. Не хочу доверять их кому попало и раньше времени.

— А что за факты-то?

— Недавно я по работе поехал в один небольшой городок. Не так далеко от нас: сутки езды на поезде. Выступил на довольно колхозной конференции. До поездки оставалось несколько часов. И я, как положено младшему научному сотруднику, пошёл в краеведческий музей. Сам не знаю, зачем я это сделал. Ноги сами меня туда понесли.

Хожу-брожу. Смотрю. Медвежьи шкуры. Старые фотографии. Раскормленные купеческие рожи... И картины. Так, мазня всякая, конечно. И тут одна из них меня словно огнём опалила.

Больница или военный госпиталь. Разгромленная палата, которую, видимо, пытаются и не успевают срочно эвакуировать. Боец с забинтованной головой, согнувшись в три погибели, закрывает собой лежащих на кровати девочку и мальчика. Другой боец, без ноги, стреляет из автомата в окно. Рядом с ним, лицом к зрителям, — женщина в форме. Судя по морской гимнастёрке с кубарями, не рядовая. У неё нет одной руки.левой. А в правой она держит пистолет, из которого бьёт в открывающуюся дверь. Не целясь. На звук. Снайпер, видать, в недалёком прошлом.

— Как называется сие творение? — недоверчиво усмехнулся я.

— Аделита. Это и привлекло моё внимание. Включило ассоциативный ряд. Технически выполнено так себе. Много недоработок, хотя талант чувствуется не дюжинный. Но самое главное — потрясающая раскрутка деталей и динамика. Понимаешь? Всё заряжено энергией действия.

Я вежливо покашлял.

— Да-да, дорогой друг, — встрепенулся Велорий, — понимаю: ты думаешь, чего он бубнит, этот кандидатишка, а между тем, он бубнит небезосновательно.

Тем самым злосчастным днём, когда я уходил из нашей квартиры пятнадцать лет назад, по телефону звонил человек, имя которого значилось внизу картины. Валентин Гошин. Меня как осенило.

На мои расспросы, смотрительница сказала, что прекрасно знает Валентина Петровича. И дала мне его адрес. Но я, в силу нерешительности, к Гошину не пошёл. Да и до поезда оставалось как-то совсем немного.

Однако, вернувшись домой, тотчас сел за письмо. Отправил его — и стал ждать ответа.

После двух месяцев бесплодного ожидания позвонил тебе. Дальше — знаешь.

Я — знал.

Тут на берег завалилась какая-то пьяная разудалая компания с песнями, плясками и матом. Стало неудобно. И мы с другом перебрались в кафе, до которого было рукой подать.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ, в которой рассказчик и Велорий пытаются почувствовать себя в шкуре Николая Михайловича Александрова

— Давай, Шурик, давай ещё раз. Что, по твоей версии, произошло в ночь с девятнадцатого на двадцатое марта 1994 года, — осторожно предложил я.

Велорий Александров огляделся по сторонам, убедился, что двум грузинам за соседним столиком подслушивать не резон (они плохо говорили по-русски), а барменша, поняв, что мы пришли не пить, а разговаривать, ушла в подсобку, и повёл рассказ в известное ему, да и мне русло.

Николай Михайлович прикрыл дверь в «детскую», потом в спальню, где почивала жена. Открыл ящик с инструментами во встроенном шкафу, хранившем свои недра в прихожей, разгрёб весь скарб, при этом поранился о стамеску, поморщился, сососал ранку на пальце, выжда, когда остановится кровь, и в самом углу, за большими прямоугольниками чёрной крупнозернистой наждачной бумаги, нащупал средних размеров коробку. Достал её на свет. Открыл.

И вынул из неё орудие убийства.

Разобранное охотничье ружьё с коротким, опилённым стволом, которое он тут же и собрал.

Из другого ящика он достал патронташ и патроны. Один сразу зарядил в ружьё. Оставшиеся девять засунул в патронташ.

Потом стал одеваться.

Натянул на трико старые, рваные джинсы. Вместо ремня замотал вокруг пояса патронташ с патронами. Надел свитер с красно-чёрным узором вокруг ворота и на манжетах, серый короткий китайский пуховик, шапку-пирожок с надписью «Спорт», сунул в карманы матерчатые перчатки, замотал шею шерстяным шарфом. Шарф кололся. Николай Михайлович сорвал его, бросил на пол, выбрал другой, более приятный к телу шарф. Посмотрел, не забыл ли чего. Расстегнул пуховик, сунул в специально подшитый огромный карман обрез.

Посмотрелся в зеркало.

Увидев отражение: хмурого, невысокого, заросшего за полночи щетиной мужичка — исполнился злобой и вышел из квартиры.

— Стоп, — перебил я Велория, — почему мать ничего не услышала. Ты говорил, она просыпается от каждого шороха...

— ...В начале ночи и под утро, часов в пять. Отец хорошо изучил мамины повадки.

В коридоре он наткнулся на соседа, которого не пустила домой жена и который спал на загаженном полу, прижавшись к батарее. По привычке, отец проверил у зонаря пульс. Тот открыл один глаз и сказал какую-то гадость. Отец оставил его, вышел из подъезда и замер в нерешительности. Минут двадцать он просто стоял и курил.

Утром я нашёл три окурка от «State Line». В нашем подъезде их курил только отец. Для него курение было... не то чтобы баловством, но необязательным моментом. Курил он после сложных операций, во время застолий и — очень редко — за компанию. Пачки сигарет ему хватало на месяц.

Таким образом, могу сказать, что, стоя у подъезда, он выкурил свою недельную норму.

Напрашивается предположение: он стоял и курил, в надежде, что проснётся мама или, может быть, встану я, обнаружу, что отца нет — и выбегу следом. Хотя никуда бы мы не побежали, даже если проснулись. Отец довольно часто уходил так, как он ушёл последний раз. Работа.

Ничего он не ждал, а просто стоял и думал, кого именно убить.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,
в которой рассказчик и Велорий
продолжают попытки почувствовать себя в шкуре
Николая Михайловича Александрова

— Суммируем, — ораторствовал Велорий, хотя давным-давно выиграл речь: слушал я его беспрекословно и со всё возрастающим интересом, однако интересом не совсем того свойства, который нужен был моему собеседнику. — Он был хирургом, анестезиологом и рентгенологом районной больницы. Подолгу проявлял разные снимки, а иногда, на выходных, брал ключ от кабинета и делал там любительские фотографии с аппарата «Смена 8М».

Дома его ждала жена и двое детей (их этот врач и снимал на плёнку), а также домработница, поскольку жена много трудилась, и ей было некогда заниматься хозяйством (фотографии домработницы в семейном архиве тоже были).

Начиналась перестройка. В магазинах стали продавать много книг, в которых разоблачали кровавые зверства прошлого. Люди, отвыкшие читать что-то серьёзное, ринулись к потаённому, он тоже ринулся. Его родственница была продавщицей в книжном магазине, поэтому ему удавалось покупать книги Солженицына, и не только Солженицына. Дома, на кухонном столе, аккуратно сложенные на старые газеты, лежали номера «Нового мира», «Знамени», «Москвы», «Октября» и «Огонька». Читал он по ночам, так как, во-первых, днём ему было некогда, а во-вторых, подрабатывая анестезиологом, он дежурил круглосуточно и сбив сон.

Тем временем горел Чернобыль, подрастали дети, старела жена, нищала больница. Да и сам он старел. А в новых и старых, но потаённых когда-то книгах призывали не сидеть сложа руки и бороться за свои права. Он начал спорить с женой и всгупать в конфликты с продавщицами.

Жена у него была коммунистом, а сам он коммунистом не был. С женой он спорил не столько из-за причин общественных, сколько из-за личных. У него раньше была другая женщина, к которой он хаживал в

гости, а потом жена об этом узнала, и другая женщина ушла из его жизни. Но вместе с другой женщиной из его жизни ушло и что-то ещё. Что именно — неизвестно. С продавщицами же спорил по мелочам. То обвесили, то нахамили.

Старший сын уехал из дому учиться. Когда он приехал на каникулы, врач почувствовал, что сын его повзрослел, и стал робеть в присутствии старшего сына.

Младший — это становилось всё понятнее — не оправдывал родительских надежд и, оглядываясь по сторонам, старался водиться с теми, кто сбивался в стаи, не желая быть белой вороной. С младшим сыном врачу говорить вдруг стало не о чем. Он пытался, но чувствовал то же самое, как если от стенки отскакивает горох.

Врач всё дальше пропадал на работе. Фото больше не проявлял — только снимки. Читал книги и журналы уже там — дома это раздражало жену. Но на работе от чтения постоянно отвлекали. Люди сидели без денег, были голодные, часто и серьёзно болели.

Он начал строить дом, но его надули со стройматериалами, да ещё и обругали — суровые и настоящие лесные люди и женщины, которые сидели в конторах этих людей, а, бывало, сиживали и в очередь на рентген, — он окорил несколько вырванных из сердца России кубов синюшных досок и навсегда оставил мысль о строительстве.

Жена выхлопотала квартиру, которую им и так обещали дать уже двадцать лет, но не дали бы, если б она не стала суетиться. Полгода ходил чего-то там колотить, красить, прикручивать. Потом они переехали.

Ходить на работу стало далеко и неудобно. Во время операций теперь могли отключить свет. И не стало лекарств.

Люди не читали больше книг, а зарабатывали деньги. Зарабатывали и зарабатывали. А он ждал своей скудной зарплаты месяцами. И уже не любил больше варёную картошку. Деньги зарабатывала жена. Она думала о детях так. Он — по-другому.

Его стали мучить боли в голове и спине. Он совсем перестал спать ночами. Жена предположила, что он облучился на рентгене, но отправить его попробовала к знакомому невропатологу. Он отказался.

Однажды он зашёл ночью в комнату к младшему сыну и увидел, что тот спит пьяный. Ему стало вдруг нестерпимо.

Он оделся и вышел в раскисшую весеннюю ночь...

Велорий выдохнул и утёр лоб.

Расплатившись в кафе, мы медленно шли с ним по улице имени Болотникова.

— А теперь сам скажи, дорогой друг, кого мой отец имел право... хотя нет, это спорно, гипотетически мог (во как сказал!) убить.

На нас оглядывались прохожие, поэтому я потащил Велория к заśnieженной лавочке у какого-то брошенного и поросшего кустами дома.

Товарищ мой выглядел всё более и более неважно. Рассказ об уже и так известных мне фактах дался ему с трудом.

— Так что ты скажешь? — переспросил он, опершись спиной о забор и несколько успокоившись.

Я закурил и начал предполагать.

— Во-первых, тебя, Шурик, убить мало за то, как ты себя вёл с родным отцом.

— Да, да! — вскричал он, и губы его болезненно изогнулись.

— Но этот вариант сразу отпадает, ибо если бы Николай Михайлович захотел тебя убить, то сделал бы это ещё в твоём детстве.

Велорий хмыкнул.

— Анне Михайловне тоже есть за что припечатывать. Но и понять её можно. Знаешь, она мне удивительно напоминает мечтательницу Фоминскую. Человек думает о глобальных вещах и не видит, что рядом болеет дочь или — муж.

— Жестоко, — процедил Шурик.

— Это тип человека такой, — сделал я вид, что не понял. — Вспомни знаменитый библейский сюжет об Аврааме.

Чувствуя, что переборщил с оценками, я перескочил скорее к следующей кандидатуре.

— Продавщица того комка и её муж. Гнусные, конечно, создания. Что говорить? Но и жалкие в своём скотстве. Не такие, на кого стоило пулю разменивать. Истинно говорю!

— Да, — согласился Велорий, — отца ведь колотили и после неудачных операций. Он, конечно, расстраивался, но из колеи его это надолго не выбивало. А гоппик из комка и сам разбился через год. В лепёху.

Мы двинулись дальше по улице Болотникова и через квартал свернули на Больничную.

— Его наверняка задела история с этим строителем, как его...

— Не суть.

— Да, не суть. Но ведь он, при всей мерзости сказанных слов, которую только и можно поставить ему в вину, был прав. Мама твоя работала на эффект. В административной команде этого делать нельзя.

— Она и сама это потом признавала, — кивнул Велорий. — А строитель извиняться приходил. Нормальный, кстати, оказался мужик. И жена его после дела с отцом несколько раз нам крупно помогла.

Мы свернули на улицу Гагарина.

— Ну и совсем наивно думать, что твой отец хотел стрелять в будущего главу района.

Шурик промолчал.

— Так? Я прав?

Велорий не сразу кивнул:

— Подумав обо всём этом, мой вооружённый до зубов отец отправился к своей несчастной любовнице.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ, в которой всплывает некто Кожин и не только он

Мы зашли в родительский дом Велория. Он поставил чайник и отправился кормить собаку. Я со смешанным чувством радости и ностальгии осмотрел жилище, в котором за время учёбы гостил много раз.

Всё поблекло, выцвело, обветшало. Но я понимал, почему Велорий, несмотря на довольно стеснённое финансовое положение, не хотел продавать эту развалюху.

Вскоре мой товарищ затопал на крыльце, загромыхал кастрюлей и вернулся на кухню.

— Я думаю, что моего отца мучило чувство вины. Оно и стало лейтмотивом той ночи.

— Перед тобой и мамой?

— И это тоже, хотя я сейчас о другом. Понимаешь, мы ведь были раздражающе благополучны. Родителей часто попрекали. «Тебе этого не понять!» Слышал когда-нибудь такое?

— Бывало.

— Во-от. И отца терзали сомнения, правильно ли мы живём. Понимаешь? Особенно после переезда. Он ведь стремительно стал превращаться в такого... Ионьча. Пополнел. Стал категоричен в суждениях. И вдруг сделался себе до того отвратителен...

Велорий поставил кастрюлю на плиту в кухне.

— Расфилософствовался унтер-офицер, — едко процедил он. — Пойдём, давай, дальше.

Пока Шурик закрывал на ключ дверь и возился с калиткой, я быстро позвонил по одному неотложному делу, и мы продолжили путь по улице Гагарина, прибижаясь к кладбищу.

— У каждого ребёнка есть какие-то кошмары, — продолжал Велорий. — Например, такой. Я играю в солдатики. Дома. На ковре в гостиной. Один.

Дверь из гостиной открыта, и через неё я вижу, как открывается и входная дверь. В прихожей появляется какой-то мужчина. Он кажется мне знакомым, но я не могу понять, кто именно без стука входит в наш дом.

Я что-то говорю неизвестному, а он не отвечает — и надвигается, надвигается на меня. Медленно. Жутко. Всё более уверенно. Его лица я никак не могу увидеть. Лицо расплывается. В ужасе я закрываю глаза, но всё равно слышу тяжёлые шаги. Лёгкий стук падающих на ковёр солдатиков. Хриплое булькающее дыхание.

А потом на меня обрушивается злобещая тишина и спицей отчаяния пронзает сердце.

Мне было десять лет, и я учился в школе. Закончилось первое полугодие. Начались зимние каникулы. Ощущение блаженства и безмятежности усиливалось тем, что всем, кроме меня, нужно было утром куда-то идти. А я мог: валяться до обеда в кровати, нежиться под одеялом, смотреть телевизор — словом, если есть рай на земле, то он был в моём детстве.

Однажды утром я проснулся оттого, что услышал на кухне шаги.

Нужно сказать, что иногда мой отец уходил с работы чуть не в одиннадцать утра, если накануне ночью его вызывали на операцию. Это были радостные моменты. Отец пил чай, балагурил, криваяся и дурачился вместе со мной. Потом ложился на час-другой покомарить, но каждый раз я стаскивал с него одеяло, будил отца, шекотал — и всё заканчивалось свалкой на полу и несколькими партиями в настольный хоккей или футбол. Короче говоря, мы проживали радостные дни.

И в это утро, услышав какой-то шум и оттого улыбнувшись до самых ушей, я вылез из-под одеяла, натянул синие трико с заплатами на коленях, обычные носки, шерстяные носки, олимпийку с вытертыми локтями — и двинул на кухню.

За столом сидел абсолютно не знакомый мне взрослый человек. И то ли я был ошарашен подменой, то ли просто мал и глуп, но совсем не запомнил, как выглядел он. Неизвестный был такой, как все взрослые. И у него был мужественный голос. Мужественный, и вместе с тем какой-то... чужой.

— Здравствуй, Велик! — приветствовал меня гость.

— Здравствуйте! — робко ответил я.

Мне очень хотелось кое о чём спросить, но я стеснялся, испытывая неловкость, и когда он сам упредил и озвучил мой вопрос, испытал к нему чувство благодарности и почувствовал себя безопасно.

— Ты меня, наверное, не знаешь. Я друг твоих родителей. Дядя Саша. Кожин моя фамилия. Слыхал?

Среди моих знакомых действительно были Кожины. Хорошие и добрые люди. Правда, дядю Сашу Кожина я не знал, но всё-таки уверенно кивнул.

— Слушай, Велик, — дружески и словно взрослому буркнул мне Кожин. — Меня ведь мамка с папкой к тебе отправили.

— Да? — удивлённо и обрадовано переспросил я.

Такого в моей жизни ещё не бывало.

Кожин убедительно кивнул.

— Нно. Слушай, они там... Этта... в магазине стоят. Не уйти...

Я даже рот ладошкой прикрыл.

На дворе стояли восьмидесятые, год восемьдесят восьмой что ли. Очереди были везде, но особенно большие — в продуктовых магазинах, когда привозили что-нибудь вкусненькое.

— Во-от, — глянув на меня, как-то тяжело продолжил Кожин. — И они посчитали, что им денег не хватит. Ты дай мне десятку, я им отнесу, чтобы тебе по морозу не бегать.

Я кивнул, вскарабкался на стул, открыл верхнюю дверцу буфета и выудил из стопки (наверху стояли стеклянные спутники редких домашних застолий) «дежурный» красный чирик.

— Молоток, — похвалил меня Кожин, сгребая бумажку в кулак. — Знаешь, где деньги в доме лежат.

— Ага, — доброжелательно кивнул я, очень довольный похвалой этого нового человека. — А хватит десяти-то рублей? В серванте ещё есть.

Кожин на мгновение заколебался, потом посмотрел на меня внимательно, прикинул что-то и махнул рукой:

— Хватит. Ладно, я пошёл, а то очередь пройдёт.

— Спасибо! — улыбнулся я гостю.

И когда он проходил под окнами, зачем-то высунулся в форточку и ещё раз прокричал:

— Большое спасибо!

Но Кожин уходил скоро и, кажется, не слышал меня.

— Кожин? Не знаю я никакого дядю Сашу Кожина! — нахмурилась мама. — А почему дверь была открыта?

Последний вопрос мама задала и отцу, когда тот вернулся с работы. Папа заёрзал, задёргался — и стало понятно, что входную дверь он по рассеянности забыл закрыть, когда уходил утром.

— И-ди-от! — в сердцах кричала на отца мама. — Ты соображаешь или нет? Ведь всё, что угодно, могло случиться! Ведь он мог...

— Аня, — тихо перебил отец.

И что-то в голосе интеллигентного, тихого папы заставило темпераментную, хотя и тоже интеллигентную маму закрыть рот и перевести взгляд на меня.

Не знаю, что там было написано у меня на лице, но мама охнула, тут же заговорила о другом, засмеялась звонко, хотя и не очень искренне; полезла в сумку... По иронии судьбы, мама действительно битый час простояла в магазине.

Вечером, уже в постели, я слышал, как родители шепчутся за тонкой фанерной стенкой между детской и спальней и мама негромко, но очень горько плачет, а мой добрый, мой нежный отец говорит отрывисто и зло:

— Если бы я встретил эту крысу, убил бы, не задумываясь. Таких надо давить. На месте. Как на войне. К стенке ставить. Ребёнка...

Потом я заснул.

Ночью мне приснился кошмар. Тот самый. Кажется, я видел его и раньше, ещё до появления в нашем доме Кожина. Но этой ночью я очень громко закричал во сне. Проснулся. Прибежала мама...

Сидеть со мной родители не могли. Работа! Они всерьёз говорили о том, чтобы привести в дом на оставшуюся неделю каникул няньку. Но я застеснялся, отец неожиданно поддержал меня.

Я опять остался один. Когда стемнело, кошмар привиделся мне наяву. Точнее, я детально представил себе свой сон, вспомнил его до мелочей — и мне опять стало страшно.

Как заведённый, я бродил из угла в угол, пока не пришли родители. Я ничего не сказал им, но за ужином отец очень внимательно смотрел на меня. Мама думала уже о чём-то другом. В стране наступали тяжёлые времена, которые всё сильнее касались нашей семьи.

Мой кошмар закончился вечером следующего дня.

Место действия было тем же, что и в самом сне. Я играл на полу. В гостиной. В солдатiki. Неожиданно открылась входная дверь.

— Пап? — не оборачиваясь и делая прежде всего перед самим собою вид, что увлечён игрой, небрежно окликнул я.

Молчание.

— Мам?

Молчание.

И тяжёлое дыхание в прихожей.

Я сжался в комок.

— Я дядя Саша Кожин. Папа и мама отправили меня к тебе за дедкой. Они стоят в очереди за колбасой! — раздался, наконец, неестественно зловеющий голос.

Я резко повернул голову.

Закутанный в невообразимое тряпье, какое раньше часто валялось в коридоре на сундуках, на пороге стоял отец.

— Дурак! Тупой! — заорал я.

И вдруг заплакал.

— Я дядя Саша Кожин! — вместо утешения громогласно завопил отец. — Деньги на бочку!

Через минуту я улыбался.

В мае того же года родители возились с грядками в огороде, счастливо расположенном прямо под окнами нашего дома. Меня через полчаса нитья прогнали домой. И я играл в солдатiki. На ковре.

Неожиданно раздался телефонный звонок.

Почему-то я вздрогнул от этого звука. Подошёл к тумбочке, взял трубку. Хотелось скорее вернуться к солдатикам.

— Алло!

Молчание.

Родители трудились за стеклом в каких-то пяти метрах от меня, у яблони. Отец копал землю. Мама собирала сорняки. Они что-то ожив-

лённо обсуждали, но вдруг отец замолчал. Я видел, как напряглась его спина. Мама медленно поворачивала лицо в мою сторону.

— Алло! — повторил я.

— Велик! — раздался в трубке голос, заставивший меня позабыть про солдатиков. — Привет! Это дядя Саша Кожин. Mamka дома?

— Нет, — ответил я чужим голосом.

— А папка?

— Нет.

— Велик, — даже через провод я чувствовал, как лицо Кожина заполняется расслабленной ухмылкой. — Слушай. Они тут... должны. Надо бы долг забрать...

За окном мама что-то сказал отцу. Он выпрямился, резко повернулся и пошёл к крыльцу, зачем-то сжимая в правой руке лопату.

— Я не знаю, где деньги, — выдавил я из себя. — Голос мой предательски дрогнул.

Отец шёл по коридору. Я слышал его шаги, и это придавало мне силы.

— Велик, а ты... поищи! В сер... сер... серванте! У-га-га-га... — противно заукал кто-то по ту сторону провода, не Кожин, а некто незримый, второй, тот, который, наверное, стоял рядом с ним в телефонной будке.

— Ве-лик... — позвал меня заскучавший Кожин.

Дверь открылась в тот самый момент, когда я с размаху брякнул трубку на рычаг.

Перед этим я крикнул:

— Ничего я искать не буду!.. Вы нам и так десять рублей должны!.. Пошёл ты!..

— Что там? — спросил у меня отец.

Руки, в которых уже не было лопаты, он сжимал в кулаки.

— Не знаю. Не говорят.

— А чего кричал?

— Это я так. Играю.

— Он опять начал звонить, — догадался я после паузы, возвестившей о конце рассказа.

— Нет, — покачал головой Велорий. — Отец просто не выдержал его паузы. У нас в квартире беспрерывно звонил телефон. И каждый раз...

Голос Велория сорвался.

— Так Николай Михайлович его вычислил?

— Да, Николай Михайлович его вычислил. Просто Николай Михайлович знал некоторые обстоятельства, о которых не знали мы с мамой.

— Какие?

— Это был муж той женщины, который всё знал, причём с самого начала.

**ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,
в которой ружьё, до сих пор висевшее на стенке,
всё-таки стреляет**

Какая ледяная бездна человеческих отношений открылась передо мной!

А тут ещё мы подошли к кладбищу.

Хотелось всё бросить и бежать от этого страшного человека, от которого мёрзло нутро: друга моей юности.

Мы прошли сквозь ворота и сразу свернули к оградке.

С памятника одной из двух могил на нас приветливо смотрела Анна Михайловна, вообще радушная при жизни хозяйка, даром что начальница.

В ушах тёплое, мелодичное, какое-то небывало доброе: «Ребя-та, давайте кушать!»

Мне стало нехорошо, и я присел на скамейку.

— Оставшуюся часть жизни угрохала на строительство той самой новой поликлиники. Построила и померла в тот же год. Боковой амиотрофический склероз. Высохла, как дерево, у которого разом рубанули все корни, — предупредил мой вопрос Велорий. — Знаешь, я недавно заметил: настоящими героями становятся почему-то люди робкого десятка, нет, не так: безропотные маленькие люди, стеснённые обстоятельствами. Не знаю, кому там это понадобилось, — ткнул он пальцем вверх. — Может, для них подвиг особенно оправдывает никчёмное проживание, чтоб или вечная жизнь, или вечная мерзость. Впрочем, это я со зла на себя, на своё ишу в высокоом — низкое...

Краем глаза я не упускал из вида решётчатый кладбищенский забор.

— Отец двинул вправо, на другую окраину города, где жила та женщина. Долго ломился в закрытую дверь. Разбудил соседей. Когда муж той женщины открыл дверь, отец одним выстрелом снёс ему полголовы. Патрульная машина догнала его на пути обратно.

Мы тяжело молчали.

— Ты спросил про моё видение событий. Вот оно. Я чувствую твоё недоумение. Было убийство? Было. Но, во-первых, всего одно. Во-вторых, совершенное человеком глубоко больным... во всех отношениях. В-третьих, ради защиты семьи. Оправдай его хоть сейчас! Он не может быть больше наказан.

Я продолжал смотреть в направлении дороги и скоро увидел, что по ней скорым шагом идёт, направляясь к кладбищу, какой-то человек, одетый так, как имеют обыкновение одеваться охотники.

На плече его болталось зачехлённое ружьё.

Увидев нас, охотник ещё ускорился и скоро показался в воротах.

— Мужики, дайте, ради Бога, огонька. Помру сейчас, если не покурю.

Велорий отвернулся от него. Я стал шарить в карманах, нашёл зажигалку, протянул охотнику.

— Вот спасибочки, — обрадовался он. — Спасли.

Глубоко затянувшись дымом, охотник похвастался:

— Ружьё задарма досталось.

— Давно? — поинтересовался я.

— В девяносто третьем. Мужик один подарил. Хирург. Соседушка по дому. Представляешь? Пришёл — и за так отдал. Я у него спрашиваю: «От кого прячешь?» Он подумал и отвечает: «Может, и от себя».

— Уходи, — глухо пробубнил Велорий, но мужик и не думал уходить.

— Во, смотри — агрегат.

Он расчехлил и стал собирать ружьё.

Велорий встал.

— Заряжаем, — бубнил мужик, загоняя патрон в ствол...

Велорий двинулся к воротам.

— Светлая память Анне Михайловне и Николаю Михайловичу! — шепнул охотник, посмотрев на два обелиска, и выстрелил в воздух.

Велорий зашатался и рухнул в снег.

**ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,
в которой мы вместе с рассказчиком
знакомимся с Афанасием Николаевичем
и кое с кем ещё**

На кухне Александровской квартиры я сидел за тем же столом, что и вчера вечером, только уже не с Велорием, а с его старшим братом, Афанасием Николаевичем, врачом-психиатром.

Велорий, которому Афанасий Николаевич сделал укол, спал в своей берлоге. Голова его был завязана. При падении он оцарапал об оградку лоб.

— Спасибо, что не отказали, — кивнул мне Афанасий Николаевич с достоинством и почти высокомерно, однако тут же перегнулся через стол и самым дружеским образом положил свою тёплую руку мне на плечо. — У нас, врачей, всегда так. Чужих — спасаем. Своих — не можем. Отец — ушёл. Мать — за ним. Теперь и этот на подходе. Устроил я брательнику напоследок стрессовую терапию. Последний шанс, так сказать. Последний шанс.

Он ведь как аспирантуру окончил и защитился, так и съехал с катушек. Стал отцовский грех замаливать. Замаливал-замаливал и загремел. Потом уже из дурки приезжал только костюм сменить. До чего доходило. Отца пытался откопать, чтобы доказать: всё — заговор; вместо отца рядом с мамой покоится совсем другой человек. А отец жив и скрывается. Надоел всем. Местные адвокаты от него как от чумы шарахаются. Персонажи истории, которая уже и вам оскомину набила, завидев не то что его, а меня, — на другую сторону дороги переходят.

— Вы-то как? — сочувственно поинтересовался я, понимая, какво ему, профессору, светилу с мировым именем переносить весь этот позор.

— А! Как... Мне позвонят — я приеду. Подумаешь, жена! Подумаешь, ребёнок! Подумаешь, четыреста вёрст на машине! Кого это... Приеду, заберу его, увезу в свою клинику. Полгода его там долбают всякой дорожкой дрянью. Сделают из него сначала урда, потом он вроде прежним сделается, и я его обратно отправлю. Пройдёт пара месяцев — и по новой...

Афанасий Николаевич разыскал меня по телефону и настоял на встрече. Сам прикатил ко мне на шикарном джипе и поделился своим горем. Попросил подыграть. Содействовать. Я согласился. Естественно, не бесплатно (во время нашего разговора конвертик с кругленькой суммой уже лежал у меня в кармане).

— А знаете, теперь я брата понимаю. И отца понимаю. Не зря говорят, что все психиатры немного ты-тю, — говорил он мне сейчас, раскрасневшись от выпитой водки (так мы снимали напряжение после объяснения с нарядом милиции, вызванного выстрелом из ружья, которое Николай Михайлович в девяносто третьем, на самом-то деле, сдал на охотообщество).

Моё адвокатское удостоверение и то, что Афанасия Николаевича здесь хорошо знали, и как местную знаменитость, и в связи с братцем,

возьмем действие: двух Александровых, местного охотника, согласившегося поспособствовать, и меня — отпустили.

— В истории моего отца была какая-то незаконченность, недоговорённость. Я вам признателен за визит в Евму. Он многое помог прояснить. Я совершенно не знал этой стороны жизни отца. Видел всё в идеалистических тонах. Мы ведь как жили, когда я был маленьким?

Афанасий Николаевич изобразил руками фотосъёмку и сделал лицо подобострастного старичка.

— Щёлк! Замечательно! Отец целует своего сына. Не мать, не бабушка, не сестра, а отец. Вот он — настоящий мужчина! Кем работаете? Врачом? Коммунист? Хе-хе, я тоже нет. А вы не родственник того профессора? Что? Племянник! Ну, это просто сага какая-то. Так у вас чудный дядюшка. Сам на костылях, но как оперировал! Бог! Меня оперировал! И знаете когда? Сорок второй... Вы то с какого? Видите, вы ещё пешком под стол ходили! Сорок второй год, флот, бомба падает прямо на эсминец, и у меня в башке осколок. А я, негодяй, живу и цепляюсь за жизнь. Я-то, конечно, этого не помню... Но рассказывали. Оперировать некому. Ну и говорят: «Давай к этому, “студенту” на костылях, всё равно помрёт!» Он как раз на ту беду был относительно свободен. И я спасён!

А вы кто, какой врач? Тоже хирург! Как всё повторяется!

А детей сколько? Двое? А жена? У-у-у! Хороший выбор!

Удачи, удачи дорогой!

А когда Велик рос, всё уже по-другому было. Как в той песне: «Разухабилась разная тварь». Только всё равно, если выбирать, то я выбрал бы теперешнее время, а не то.

В дверь позвонили. Пришла почтальон и принесла на имя Велория письмо с уведомлением о доставке. Обаяния Афанасия Николаевича хватило на то, чтобы девушка приняла его подпись и оставила конверт.

Другой конверт я сунул под дверь квартиры номер шесть, когда уходил.

В ожидании автобуса я отправился в маленький кафетерий, расположенный у самого автовокзала. На душе после всех александровских мезальянсов было как-то паршиво. Хотелось уединения и крепкого пива. Но не успел я присесть за столик, как от дверей в мою сторону направилась женщина моих лет и приятной наружности. Портило её то, что она сильно припадала на левую ногу.

— Простите, вы случайно не тот самый друг Велория, который...

Она замолчала и начертила в воздухе какой-то странный знак.

— Наверное.

— Вы не могли бы выслушать меня?

Я кивнул, заметил, что у неё десять минут, откинувшись на спинку неудобного стула и отхлебнул пивка.

Она присела напротив и, тщательно подбирая простые слова (других моя собеседница не знала) рассказала мне свою историю.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ ПЕРВАЯ, в которой Велорий читает два письма

«Здорово, Велик!

Я пишу тебе, значит, доехал до дому.

Добирался с приключениями. Опоздал на автобус, долго не мог поймать такси — и в результате прибыл на станцию за минуту до отправления поезда.

Но ведь прибыл же!
И сел и поехал дальше.
Хотя речь сейчас не о том.
Письмо моё нелегкое. Но ты уж давай, крепись.

Велик, не знаю, как подойти к этой теме, поэтому пишу напрямую.

У твоего отца никогда не было любовницы.

В мае 85-го во время операции умер мальчик, Серёжа. В медицине я не бум-бум, но, думаю, это был случай, когда пятьдесят на пятьдесят — и в итоге не те пятьдесят. А папа твой счёл, что мог Серёжу спасти. И пошёл к его маме, той женщине... извиниться. Дальше он попал в очень странное положение, двусмысленное, но вполне понятное и безобидное. Вместо разъярённой фурии он обнаружил красивую, молодую, но безнадежно забитую мужем-алкоголиком женщину, которая к его извинениям и вниманию отнеслась с неожиданной благодарностью. Её муж присутствовал при первом визите твоего отца и знал о причине этого визита. Потом Николай Михайлович ещё несколько раз приходил в этот дом. Всё потому, что у той женщины был ещё один ребёнок, девочка с костным туберкулёзом. И твой отец приходил к ребёнку как врач. Потом он заметил, что та женщина по-особенному смотрит на него (о своём чувстве она ни разу не сказала вслух, даже когда звонила к вам и молчала). Тогда твой отец оставил этот дом. Но сначала убедил ту женщину отправить дочку в санаторий и сам, по старым дядиным связям, выхлопотал направление. Во время последнего визита Николай Михайлович... оставил им немного денег. И муж той женщины понял это по-своему, по-шакальи.

Вдобавок свойства вашего городка таковы, что визиты твоего отца были замечены и расценены соседями той женщины в меру их образа жизни. И в таком виде дошли до ушей твоей мамы. Разразился скандал. Объяснения Александрова-старшего повисли в воздухе. Вдобавок муж той женщины стал вымогать у Николая Михайловича деньги: «Делись, а не то расскажу твоей, как всё было «на самом деле». И потому были звонки с молчанием в трубку. И «дядя Саша Кожин».

И девочка, которая пережила своих родителей, нашла хорошего парня, вышла замуж, стала мамой, родила троих детей и рассказала мне эту историю».

«Здравствуйте, Велорий!

С Вашим папой, а для меня Коля Александров, я лежал рядом на кроватках в *санаторие* Евма для детей больных костным туберкулёзом. Дружили. Он был красивый, способный мальчик, весёлый и жизнерадостный. Учился хорошо, играл в шашки, шахматы, II юношеский разряд. Не зазнайка.

Колю и медперсонал любил, не капризный, не пищал. Мне кажется он уже тогда мечтал стать *врачём*. Первую «секретную» операцию делал на мне, шрамик остался на правой лопатке.

Потом мы потеряли связь. Не все ребята хотели встречаться и переписываться. Это можно понять. Мы были закомплексованные. «Болезнь туберкулёзом» — это как волчий билет. А хотелось пожить и нормальной жизнью.

Не далеко от меня живёт Решётников. Тоже вместе лежали. Его сын Витя мой ученик, резчик погиб в *Авгане*.

Поддерживаю связь с Краусом Керхартом. Он живёт в Германии. Помогает лекарствами, а в 90-е, если б не он я бы кони двинул.

Коля, отца не осуждай 1994 год да ещё и сейчас трудное время. Если у кого есть честь и совесть тем трудно живётся. Я это на себе испытал, много товарищей потерял. *Порядошным* трудно быть, но нужно. Без стержня сложно жить. Это только кажется что легко...

О себе. Всю жизнь вкалывал на заводе. Был грузчиком, резчиком, художником-оформителем.

Поездил по Советскому Союзу. Был в Сибири, на Кавказе. Много путешествовал на байдарке.

Теперь живу в однокомнатной квартире. Семьи не было и нет. Всё завалено картинами. Была мастерская — выжили. Спасибо в Евму пустили, взяли часть картин. Выставку сделали. Дети *тутже* пририсовали к картинам своё. А других выставок у меня нет. У городских властей я не в чести.

Посмотрел фото. А ты оказывается удивительно похож на отца. Не унывай! Как говорили нам с твоим баткой: «Ну кто без шрама в кавалерии?»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ, в которой ненадолго возвращается двадцатое марта

Николай Михайлович прикрыл дверь в «детскую», потом в спальню, где почивала жена. Открыл ящик с инструментами во встроенном шкафу, хранившем свои недра в прихожей, разгрёб весь скарб, при этом поранился о стамеску, поморщился, пососал ранку на пальце, выждал, когда остановится кровь, и в самом углу, за большими угольниками чёрной крупнозернистой наждачной бумаги, нащупал средних размеров коробку. Достал её на свет. Открыл.

И вынул из неё орудие убийства.

Бельевую верёвку.

Два раза обмотал её вокруг локтя. Подумал. Обмотал ещё раз. Нашёл в ящике с инструментами ножницы. Обрезал её.

Потом стал одеваться.

Натянул на трико старые рваные на правом колене джинсы. Надел свитер с красно-чёрным узором вокруг ворота и на манжетах, серый короткий китайский пуховик, шапку-пирожок с надписью «Спорт», замотал шею шерстяным шарфом. Шарф кололся. Расстегнул пуховик, сунул во внутренний карман верёвку.

В коридоре он наткнулся на соседа, которого не пустила домой жена и который спал на загаженном полу, прижавшись к батарее. По привычке, врач проверил у зонаря пульс. Тот открыл один глаз и сказал какую-то пьяную гадость. Николай Михайлович оставил его и двинулся на улицу.

Там он повернул вправо, туда, где находились двухэтажные сарайки. По шатающейся, напоминающей трап лестнице осторожно поднялся на второй этаж, открыл дверь под номером шесть, достал из кармана верёвку. Закрепил её на верхней части косяка так, чтобы не было лишка. Соорудил на свободном конце петлю. Поставил под ноги деревянный чурбачок. Вскрабкался на него. Сунул голову в петлю. Высво-

бодился из петли. Слез. Подошёл к перилам. Закурил и посмотрел на небо. Ледяные звёзды были далеко. Разбитое мартовское марево близко и непроходимо. Одна из звёзд словно бы подмигнула Александрову.

Выбросив окуроч, он юркнул на чурбачок, снова надел верёвочный галстук — и затянул его неуклюжим кособоким прыжком.

На кухонном столе осталась записка: «Я не могу больше выносить наплевательского отношения к медицине...»

В спальне, ни о чём не подозревая, спала Анна Михайловна.

За стенкой выводил носом рулады Велорий.

В четыре утра он поёжился во сне.

Из форточки дохнуло холодом.

**ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ,
комментировать которую невозможно,
потому что она не нуждается в комментариях**

Утром 20 марта 1994 года, выходя из домов и квартир на голосование и узнавая новость, люди поворачивали обратно.

Выборы провалились.

Народ безмолвствовал.

В больницу шли деньги.

**ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ,
в которой автор незатейливо философствует на темы
антропологии, живописи, а потом ставит
в повествовании знак многоточия**

Говорят, что веков шестьсот тому назад, спасаясь от неизвестной напасти, люди мигрировали из Африки в Азию, оттуда — в Европу, Австралию и Америку.

А потом устали бежать. С тех пор нет-нет да и дёрнется в страхе тот или иной народ. А другой — повернётся лицом к своему страху и, увидев в нём собственное отражение, попытается разобраться в себе.

Но по-крупному...

Ничего не меняется.

Почти ничего не меняется.

И всё так же тлеют рядом с отпетой по всем канонам Анной Михайловной останки самоубийцы Александрова, того самого, что родился 7 января.

И белый халат какой-то другой женщины, уж не Фоминской, мелькает сквозь сумерки меж деревьев около Евмы.

И маленький мальчик на переднем плане одной из картин постаревшего Валька вечно закрывает от зрителя костылём своего одноногого ветерана-отца, ссутулившегося со стопкой в руках за столом деревенской хибары.

А на другом полотне — два влюблённых подростка, горбатенькие мальчик и девочка, грустно ковыляют на костылях в сторону друг от друга.

На третьем замерла «морячка», красивая русская женщина-лейтенант с огромными тёмными глазами и Орденом Мужества на гимнастёрке, уверенно бьющая в невидимого врага из именного пистолета в своей единственной правой руке...



Гари ЛАЙТ

/ Чикаго /

СО СРЕДЫ НА ЧЕТВЕРГ...

Со среды на четверг, иногда появляются странные сны,
 сослагательность в них наугад переходит границы,
 только вовсе не те, где «живем под собою не чужа страны»,
 а иные — в которых эскизы разыграны в лицах...
 В них из прошлого, словно недобрый рассветный десант
 появляются личности, те, кто с риторикой дружен,
 и приходится с ними беседовать о чудесах,
 и том, кто, когда и кому стал не мил и не нужен...
 Эти сны познавательны — в них не бывает вражды,
 а порой, даже вовсе — грядет извлечение истин,
 но они черно-белы, собой запредельно важны,
 от того неуют в них и холод, и даже порою опавшие листья.
 Или вот — обнаженной и грустной приходит вина,
 предлагаешь ей плед, покрывало, вино, что угодно,
 но она только смотрит в упор не моргая, немеет спина,
 и раскаянья ждет, вымогает его, словно грех первородный.
 Очень жаль, что редки детских мыслей оттенки в тех снах,
 в них обычно ответы на все нерешенное нечто,
 например, где в той первой квартире, за шторой прятался страх,
 или как в гастрономе районном найти нераспроданной гречку...
 Мои сверстники первой советской афганской войны,
 спорят в снах моих с теми, кто там погибает сегодня,
 а я помню Чьерну, затем Братиславу, когда в нас не стало страны,
 и декабрь, когда параллельно свободе скрипели врата преисподней.
 Иногда в этих снах снегопады все разом гостят —
 вся семерка моих судьбоносных явлений природы,
 я люблю их, и глажу, как разно-породных, бездомных котят
 всех их помню в лицо, удивительных этих гонцов непогоды.
 Эти сны, со среды на четверг, столь не часты, сколь веско нужны,
 их связующих звеньев канва, полагаю, ниспослана свыше
 да пребудет в них мудрость, и пусть они будут нежны...
 А «имеющий уши», пожалуй, все верно услышит

май-сентябрь, 2012

* * *

...Those were the reasons and that was New York...

Leonard Cohen

Что Ленард Коэн видел из окна — немного острова,
не Идры, но стодилось, ддя впечатлений тешащих печаль;
пожарных лестниц хитрые сплетенья; через дорогу прачечную и
нелепый стенд кантонских изобилий...
Он также видел вход в молеальный дом, а магазин гитар и саксофонов
мешала видеть Джэнис, ей как раз совсем иных желалось удовольствий,
при этом ей казалось, что она снисходит до него, а не иначе...
А за окном, через ее плечо он созерцал такие наважденья,
какие проступают не всегда, даже в стечении похожих обстоятельств,
какие не запишешь, не споешь, да и она в них спеть, никак не сможет...
А Ленард Коэн видел из окна такое небо над Манхэттеном, что даже,
он сам в последствии не сможет объяснить куда ушли дома и звук сирены
над Челси пыла казалось Армагеддон, но объяснили, что идет циклон...
Тогда он вспомнил город Монреаль, в котором тоже всякое бывало,
особенно в фантазиях Сюзанны, когда к примеру спустишься к реке —
ноябрь, ветер, север — непогода, а далее по тексту — как всегда.
Что Ленард Коэн видел из окна отеля, с 23-ей и Седьмой
принадлежит и всем и никому, покуда каждый волен созерцать.
Но Ленард Коэн видел из окна то, что в диметрии казалось невозможным:
Прожженный насквозь будущий Ки-Вест,
как там его на русский переводят,
и лучший вариант, как раз у той, в ком сомневались и талант и красота,
и кто, по сути не играла роли, хотя и затянулся эпизод, и вновь возник
но много лет спустя, пятиминутным столкновеньем на углу,
того же острова, что видел из окна в конце шестидесятых Ленард Коэн...
Он разглядел, увидел и принес из будущего в прошлое эскизы
из музыки, звучания и слов, которые послужат переправой для всех
значений, миражей, противоречий, в которых праздным стал
поддунный мир,
где все казалось сказанным и спетым, обыденным, вторичным, не живым
А Ленард Коэн все же из окна однажды, в одночасье все увидел,
и есть еще надежда до поры...

*апрель-август
2012*



Марк УРАЛЬСКИЙ

/ Бурьяль /

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЦИКЛУ ПЕРЕВОДОВ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА

Но всякий раз, когда речь заходит об искусстве, рядом находится кто-нибудь, кто присутствует и... не слушает как следует.

П. Целан

Вашему вниманию предлагается цикл переводов стихотворения Пауля Целана (Paul Celan, 1920–1970) «Песня в пустыне», из его самого первого сборника стихотворений «Мак и память» («Mohn und Gedächtnis»), увидевшего свет в 1952 г.

Приступая к чтению стихов Целана — крупнейшего европейского лирика второй половины XX в., желательнее познакомиться с личностью их автора, историей его недолгой трагической жизни.

Пауль Целан, урожденный Пауль Лео Анчель, появился на свет в 1920 г., на Буковине, в Черновицах, как единственный сын Лео Анчель-Тайтлера и его жены Фритци (Фредерики). С 1775 г. Буковина входила в состав владений Австро-Венгерской монархии, как одна из ее окраин. И хотя сама империя Габсбургов считала себя оплотом католицизма, более 70 % населения Буковины исповедовало греко-православие, 12 % - иудаизм и лишь 14 % были католиками или униатами, подчинявшимися римскому папе. Всего лишь за два года до рождения Целана Австро-Венгрия приказала долго жить, т. е. стала по его определению «выпавшей с тех пор из истории». Политический статус Буковины при этом резко изменился, т. к. территория края отошла к Румынии. Среди многочисленных народов, населявших румынскую Буковину, украинцы (русины) составляли 38%, румыны — 34%, евреи — 13%, немцы — 8 %. В небольших количествах проживали венгры, поляки, русские (старобрядцы-липоване), словаки, армяне и цыгане. По утверждению Целана именно здесь «явилась на свет немалая часть тех хасидских историй, которые всем нам наново рассказал по-немецки Мартин Бубер. Это были <...> края, где

обитали люди и книги». С раннего детства Целан находился в атмосфере уникального лингвистического многозвучия, в котором украинский, русский, румынский, еврейский (идиш — один из диалектов немецкого языка) языки и очень чистый «хох-дойч» (литературный немецкий) буковинских немцев мирно существовали друг с другом. В семье будущего поэта говорили на всех этих языках, хотя однозначно ощущали свою принадлежность к еврейству. Однако благодаря влиянию матери, воспитанной в традициях немецко-австрийского Просвещения, Пауль получил от нее не только религиозное еврейское, но и углубленное классическое немецкое образование. Кроме того, в гимназии он изучал латынь, древнегреческий, французский и итальянский языки. В 1938 г. по настоянию отца Пауль уехал во Францию, чтобы изучать медицину в Высшей медицинской и фармацевтической школе г. Тур, но из-за начала Второй мировой войны вернулся в 1939 г. домой, в Черновицы. В июле 1940 г. Буковина, оккупированная Советской Армией, вошла в состав Украинской советской социалистической республики. В июне 1941 г. 4000 черновицких горожан, признанных враждебными советской власти буржуазными элементами, были депортированы органами НКВД в Сибирь. Две трети из них составляли евреи. А ровно через год, летом 1941 г., город Черновицы был захвачен немецко-румынскими войсками. Пауль и его родители, вместе со всеми оставшимися в городе евреями, были депортированы в лагерь. Лео и Фритци Анчель-Тайтлер разделили участь сотен черновицких евреев, погибших в концлагере Михайловка под Гайсином. Паулю, который как молодой человек попал в трудовой лагерь, удалось выжить.

В апреле 1945 г. Пауль Анчель-Тайтлер сумел перебраться из снова ставших советскими Черновиц в Бухарест, где в течение двух лет он работает редактором и переводчиком в издательстве «Cartea Rusă», которое печатает переведенные им на румынский язык «Героя нашего времени» Лермонтова, сборник рассказов Чехова и «Русский вопрос» Константина Симонова. Несмотря на свои левые убеждения и прокоммунистические симпатии юношеских лет, Целан трезво оценивал реалии социалистических будней. Хлебнув горя при фашистском режиме, он видел для себя только один путь — на Запад. При личной поддержке своего наставника Альфреда Маргуль-Шпербера, в декабре 1947 г. Целан через Венгрию перебирается в Вену, где живет сначала как перемещенное лицо, но вскоре получает австрийское гражданство. В Вене он завязывает прочные литературные связи с молодыми австрийскими литераторами и интеллектуалами, из которых, несомненно, выделяется личность писательницы Ингеборг Бахман.

В 1948 г. под принятым им литературным именем Целан (оно представляет собой анаграмму фамилии) Пауль издает свой первый поэтический сборник «Песок из урн». Однако после выхода книги из типографии Целан полностью уничтожает тираж — по причине большого числа полиграфических ошибок и искажений. В этом же году поэт переезжает в Париж. В послевоенном Париже Пауль Целан, еврей, чистой воды «безродный космополит», к тому же пишущий на одиозном немецком языке, был замечен тем не менее и обласкан интеллектуальной элитой. Здесь он нашел свою жену — француз-

скую художницу, аристократку по происхождению, Жизель Целан-Летранж; здесь суждено было прожить ему оставшуюся жизнь, познать литературную славу и горечь несправедливых обвинений; здесь же постигла его тяжелая психическая болезнь и трагическая кончина. По распространенной легенде поздним весенним вечером 1970 года с одного из парижских мостов в Сену бросился человек, и сразу, как камень, скрылся под водой. Случайные прохожие подняли тревогу. Примчавшаяся на катере речная полиция начала поиски. Течение Сены довольно быстрое, поэтому лишь через несколько часов с помощью аквалангистов и специальных сетей нашли тело. В кармане плаща погибшего обнаружили вид на жительство, и через несколько минут картотека Центрального управления городской полиции Парижа выдала полные сведения: Пауль Лео Анчель, гражданин Австрии, литератор, свои книги и публикации подписывает псевдонимом Пауль Целан.

«В мире, законом которого является универсальное индивидуальное преимущество, единичный, конкретный человек не имеет ничего, кроме этой ставшей самости, безразличной и равнодушной; поэтому осуществление такой знакомой с давних пор тенденции внушает и некий ужас. За границы этого ужаса вынести не больше, чем за колючую лагерную проволоку, по которой пропущен электрический ток. Многолетнее страдание — право на выражение, точно так же замученный болезнью человек имеет право брюзжать и ворчать; поэтому неверно, неправильно, что после Освенцима поэзия уже невозможна. Правильно, наверное, будет задаться менее „культурным“ вопросом о том, а можно ли после Освенцима жить дальше; можно ли действительно позволить это тем, кто случайно избежал смерти, но по справедливости должен стать одним из тех, убитых. В жизни такого человека востребован холод и равнодушие — главный принцип буржуазной субъективности; в противном случае Освенцим был бы невозможен; в этом и состоит явная вина тех, кого пощадили. В награду за содеянное этого человека посещают мечты о том, что он не живет, а умер в газовой камере в 1944 году; и все его существование сводится, в конечном счете, к химере, эманации безумного желания человека, убитого двадцать лет тому назад¹, — все здесь сказанное философом Теодором Адорно, с которым Целан долгие годы состоял в переписке, в полной мере можно отнести к личной трагедии Пауля Целана. Этот человек был не только великий поэт, энциклопедист, но и лингвистический гений. Он свободно, на творческом уровне владел пятью европейскими языками. В разделенной на враждебные политические лагеря Европе он, с точки зрения любого традиционного социума, выглядел «Никем», вечным изгоем, чужаком, человеком «перекати-поле», перемещенным лицом, «пеплом из урн»... К тому же в качестве «родного» он выбрал немецкий язык — «язык убийц», взвалил его на себя, как крестную ношу, и вознес, как жертву Господу, на высочайший поэтический уровень. Из всех своих возможных национальных ориентаций Пауль Целан в наименьшей степени может быть отнесен к «немцам», и при всем том он, бесспор-

¹ Теодор В. Адорно Негативная диалектика. — М.: Научный мир, 2003.

но, — крупнейший немецкий поэт второй половины XX века. Именно ему великая немецкая культура обязана спасением своей лирической традиции. Поэзия Целана опровергла пессимистические прогнозы Адорно и, в частности, его мнение, что: «после Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование».

Достижения Целана в развитии и переработке немецкого литературного языка беспрецедентны. В статье «Целания, боль бесприютного тела» Юлия Кристева говорит, что Целан «писал на родном ему немецком языке, доводя его до пределов неписанного. На немецком, который процежен через румынский и еврейский, но еще и через английский, итальянский, греческий, латинский, французский», — и, добавляю от себя, в немалой степени через нежно любимый поэтом русский. Именно такой «космополитический» немецкий «под давлением ужаса» Целан «доводит, перекручивает, стискивает уже до *совсем другого* языка <...>, преобразенного в антиязык, на котором обращаются к антипублике <...>».

«Сегодня вечером я буду читать им стихи, поверх их голов, как если бы хотел найти себе слушателей не среди них, а в какой-то другой реальности, которую собираюсь им подарить», — писал Целан, в «Бременской речи» сказавший: «Только язык оставался достижимым и близким, оставался неутраченным среди стольких утрат. Он, этот язык, единственный, не был утрачен, невзирая ни на что. Ему выпало пройти сквозь собственную безответственность, сквозь страшное онемение, сквозь тысячекратную крошечность смертоносных речей. Он прошел насквозь и не нашлось у него ни слова для того, что вершилось. Но он сквозь это прошел. Прошел и вышел на свет, „обогащенный“, правда, всем, что было. Я пытался на этом языке в те и в последующие годы писать стихи. Писать, чтобы говорить, чтобы искать ориентиры, чтобы выяснить, где я нахожусь и куда меня ведет, чтобы как-то наметить для себя действительность» (перевод М. Белорусца).

Целану удалось вместить немислимое в язык расщелин, обитель пустот, — в язык, лишенный риторических прикрас, не обещающий эстетической награды и даже надежды на нее, язык на грани невыносимого безумия, которое его безвозвратно уносит. Удельный вес слова у Целана необычайно велик. Целан развил в себе весьма редкое качество — достигать мощного поэтического эффекта с минимальным набором наиболее точных слов-метафор. При этом лирическая эмоция в его стихотворениях не только описана метафорически точными словами-образами, но в широких лексических и грамматических рамках его поэтики любая конструкция, построенная по схеме «эмоция — слово — метафора», становится уникальным поэтическим событием. Стихотворения Пауля Целана — это лирические мозаики из следов и мечтаний, коммуникативных ходов и путей, стертых ассоциаций и отблесков воспоминаний, т. е. так называемая «герменевтическая лирика», в которой с исчерпывающей полнотой представлены «оксюморон», «аллитерация», «неологизм», «метаметафора», «нарратив», «сопряжение троп» и другие семантические понятия, входящие в инструментальный набор литературы второй половины XX в. С помощью этого арсенала средств поэт сумел в исключительно лапидарной

лирической форме актуализировать духовные проблемы как нашей эпохи, так и всей иудео-христианской цивилизации. Сам Целан таким образом определял свое видение стихотворения:

«Стихотворение — стихотворение современное — вне сомнения, все больше стремится к немоте, и это — мне кажется — лишь косвенно, что, впрочем, немаловажно, связано с затруднениями в выборе лексики, с резкими перепадами синтаксиса и пристрастием к эллипсам. Стихотворение <...> утверждается на краю самого себя, оно, чтобы устоять на краю, непрерывно отзывает и отвлекает себя из своего Уже-нет в свое Все-еще.

<...> Стихотворение пребывает в одиночестве. Оно одиноко, и оно в пути. <...> Стихотворение тянется к Другому. Оно нуждается в этом Другом, нуждается в собеседнике. <...> Стихотворение становится — но при каких условиях! — стихотворением того, кто — все еще — воспринимая Являющееся, обращен к нему, кто, выпрашивая его, заговаривает с ним. Возникает разговор, зачастую он полон отчаяния.

<...> что я, собственно, имею в виду, когда исходя из *такой направленности, в такой направленности, такими* словами говорю о стихотворении — не о стихотворении вообще, а именно о том Стихотворении? Да я же говорю о стихотворении, которого нет!

Абсолютное стихотворение — его, разумеется, не существует, его нет и не может быть! <...> Как же тогда с образами в стихах? Они то, что воспринимается и должно восприниматься однократно, одномоментно, вновь и вновь и только здесь и только сейчас. А само стихотворение тогда оказывается тем местом, где все тропы и метафоры стремятся быть сведенными к абсурду¹.

Таким вот абсурдом является у Целана пепел — по сути, — легкая, летучая, похожая на пыль серая или черная субстанция, остающаяся от чего-либо сгоревшего, библейский символ скорби, самоотречения, покаяния, всего конечного в мире сем (прах) — важнейший атрибут поэтики Целана. «Помни, что ты прах и в прах возвратишься» — этими словами в «пепельную среду» у католиков отмечается начало Великого Поста. При этом во время особой «покаянной» литургии самому Понтифику возлагают на голову пепел. Пепел рыжей телицы, закланной по особому ритуалу, как субстанция всеочищения (הַפָּרֶה הַצֵּהוּבָה, «пара адума») — одно из древнейших мистических уложений библейского иудейства (см. Числ. 19). Пепел рассыпан во множестве разных слов-образов по всем стихотворениям Целана. Он — следствие гибели, ужаса и потери, и одновременно — Обретения, силы Духа и Вечной Памяти. И если по словам Деррида² зола, «скорее, есть бытие, которое вот, — это имя бытия, каковое — вот, тут, но которое, хоть себя и дает <...> ничто не есть, остается по ту сторону всего», то пепел, хотя «по видимости теряется — и даже лучше, без осязательного остатка, но при этом поднимается, <...> тает в воздухе,

¹ П. Целан Меридиан. Речь при вручении премии имени Георга Бюхнера. (Дармштадт, 22 октября 1960 г.) Перевод М. Белоруца.

² Жак Деррида. Золы угасший прах. — СПб, Академический проект, 2002.

разрезается, истончается». Вырвавшийся из урн, костров, печей крематориев, он *ветет одежде хочет*, но никогда не исчезает насовсем! Триумф пепла — по сути своей есть символ Веры всей иудео-христианской культуры.

Прочтение герменевтических произведений неразрывно сопряжено с их комментированием и интерпретацией. Последние, в свою очередь, навязывая ту или иную точку зрения, зачастую могут мешать сугубо личному, интимному восприятию текста. Известно, например, что сам Целан, имевший широкие познания не только в гуманитарной сфере, но и в медицине, биологии, ботанике, геологии, глянцеологии, исключительно болезненно реагировал на интерпретацию его текстов специалистами, которые сугубо профессионально толковали научные термины, использованные поэтом в качестве особого рода лирических знаковых кодов.

Особенную сложность подобного рода герменевтические тексты представляют в случае их перевода на иностранный язык. Здесь переводчику — помимо мастерства версификации, знания языка оригинала и собственной эрудиции — необходимо еще опираться на солидный научный комментарий.

Такого рода герменевтические тексты очень трудно переводить на иностранный язык. Поэтому данный проект и ставит перед собой задачу: дать взыскательному читателю возможность *многократного погружения* в творчество выдающегося европейского лирика на примере переводов одного из самых изысканных и загадочных его стихотворений.

EIN LIED IN DER WÜSTE

Ein Kranz ward gewunden aus schwärzlichem Laub in der Gegend von Akra¹:
dort riß ich den Rappen herum und stach nach dem Tod mit dem Degen.
Auch trank ich aus hölzernen Schalen die Asche der Brunnen von Akra
und zog mit gefällttem Visier den Trümmern der Himmel entgegen.

Denn tot sind die Engel und blind ward der Herr in der Gegend von Akra,
und keiner ist, der mir betreue im Schlaf die zur Ruhe hier gingen.
Zuschanden gehaun ward der Mond, das Blümlein der Gegend von Akra:
so blühen, die den Dornen es gleichtun, die Hände mit rostigen Ringen.

So muß ich zum Kuß mich wohl bücken zuletzt, wenn sie beten in Akra...
O schlecht war die Brünne der Nacht, es sickert das Blut durch die Spangen!
So ward ich ihr lächelnder Bruder, der eiserne Cherub von Akra.
So sprech ich den Namen noch aus und fühl noch den Brand auf den Wangen.

¹ Акра (Акра). По-видимому, речь идет об Акко — древнем городе на севере Израиля, который был в средневековье крепостью рыцарей-крестоносцев, или же об одном из кварталов Иерусалима, полностью уничтоженном во время осады города римлянами во время Иудейской войны 70 г. н. э. Поскольку это слово на всех релевантных языках этимологически означает «укрепленное поселение», «крепость», то оно может интерпретироваться и в значении «мира горного» — как «Небесная твердыня». — Прим. Б. Шапиро. См также ниже эссе «Сон о железном херувиме: заметки к «Песне в пустыне» Пауля Целана» Татьяны Баскаковой.

ПЕСНЯ В ПУСТЫНЕ

Лишь венки из черной ливствы вместо прежней Акры,
там, коня развернув, со смертью вступаю я в сечу.
Из скорлуп деревянных пью пепел колодезной Акры,
Опускаю забрало и мчусь обломкам неба навстречу.

Ведь все ангелы умерли, а Господь ослеп возле Акры,
и никто в моем сне к павшим здесь не проявит участия.
Изрубили мечами луну, что была цветком этой Акры:
и цветут, как терновник, со ржавыми кольцами пясти.

Я, последним, склонюсь к поцелую, раз они молятся в Акре...
Не надежны доспехи у ночи, видны на них крови потеки!
Так я стал для них любящим братом, керувом-рыцарем Акры,
Повторяю до сих пор то имя, и огонь опалает мне щеки.

Перевод Татьяны Баскаковой

ПЕСНЯ В ПУСТЫНЕ

Сплетаался из чёрной ливствы венки пескокаменной Акры:
там гнал я коня и дразнил я смерть там двуострым кинжалом.
Из грубо обугленных чаш пил пепел из кладезей Акры,
навстречу руинам небес я влёкся с закрытым забралом.

Там ангелы, знаю, мертвы и слеп господин этой Акры,
и нету, кто мне бы во сне усопших отдал на поруки.
Изрублена в клочья луна — цветок пескокаменной Акры:
как будто терновник, цветут там ржавыми кольцами руки.

Я к ним в поцелуе клонюсь, когда они молятся в Акре...
Пробит панцирь ночи, и кровь сочится сквозь рану сквозную!
Так стал вам улыбочивом братом, железным керубом из Акры.
Шепчу я ещё имена и огонь на щеке ещё чую.

Перевод Владимира Летушего

ПЕСНЬ В ПУСТЫНЕ

Венок был сплетен из ливствы черноватой в окрестностях Акры:
там вороного круто я вспять обращал и в смерть шпагу вонзал.
Также из чаш деревянных пил я пепел источников Акры
и с упавшим забралом против неба осколков скакал.

Ведь умерли ангелы и слеп был Господь в окрестностях Акры,
и нет никого, кто в сне за меня попечется о здесь обретших покой.
Вся в ранах была уж луна, цветочек окрестностей Акры:
цветут тернистые руки в перстнях, подернутых ржой.

Так должен я в поцелуе прощанья особенно низко склониться,
когда они молятся в Аккре...

О, как же худа была ночи броня,
кровь каплями сквозь кольчугу стекает!
 Я стал им смеющимся братом, железным керувом, что в Аккре.
 Вновь вслух именую их и чую еще — на ланитах пылает.

Перевод Игнатия Крекшина

ПЕСНЯ В ПУСТЫНЕ

Чёрный венок из обугленных листьев я сплёл на окраине Аккры:
 там я скакал на коне и со смертью сражался на шпагах.
 Из деревянной посуды пил пепел колодезный Аккры
 и на восток по развалинам неба шёл медленным шагом.

Просто ангелы умерли, просто Бог вдруг ослеп
в окрестностях Аккры,
 нет никого, кто бы сон мне вернул и покой подарил мне.
 Месяц — прекрасный цветок — он растоптан в
окрестностях Аккры:
 руки шипами цветут и сплетаются в бешеном ритме.

Что ж напоследок склониться в поклоне, когда они молятся в Аккре...
 О, как непрочно кольчуга у ночи — кровь каплет из раны!
 Брат ваш смеющийся, ангел железный из Аккры,
 всё ещё имя твердит и всё ещё помнит тот отблеск багряный.

Перевод Бориса Марковского

ПЕСНЬ В ПУСТЫНЕ

Венок мой сплетен был из черной ливы под селением Акра:
 там вздыбливал я жеребца, смерть острым железом увеча.
 Из чаш деревянных пил пепел колодцев я в селении Акра,
 и мчал с упавшим забралом развалинам неба навстречу.

Но мертв мой ангел и ослеп мой Господь близ селения Акра,
 и мне ли здесь пещься о них, поверженных к этим пределам.
 Изрубленный в клочья, месяц вставал розой селения Акра:
 так цвел, что шипами казались руки в перстнях заржавелых.

Так к ним я склоняю уста, а они молятся подле Акры...
 Ах, тесен был ночи доспех, кровавит он стертые плечи!
 Так братом ее я улыбочивым стал, пернатый латником Акры.
 Так имя еще я твержу, и щеки горят, как под плетью.

Перевод Сергея Морейно

СПЕТОЕ В ПУСТЫНЕ

Венок был сплетён из чернеющих листьев под городом Акра...
 Коня на скаку развернул я, за смертью гоняясь с кинжалом.
 Из чаш деревянных пил пепел колодцев под городом Акра,
 навстречу развалинам неба скакал я с упавшим забралом.

Ведь ангелы пали и слеп стал Господь наш под городом Акра,
 и нет никого, кто б во сне поручил мне ушедших к покою.
 Был месяц — цветок твой — иссечен мечами, пустынная Акра:
 а пальцы в заржавевших кольцах цветут, как терновник, тоскою.

Склонюсь к поцелую, как станут молиться усопшие Акры...
 Худы латы ночи, сквозь них кровь сочится, и алы подтёки!
 Им братом улыбчивым стал я, железным керубом из Акры.
 Всё жжёт это имя уста мне, и пламя всё красит мне щёки.

Перевод Алёши Прокопьева

ПЕСНЬ В ПУСТЫНЕ

Венок из ливсы почерневшей сплетен был в окрестностях Акры.
 Там гнал я коня вороного и смерти грозил я кинжалом.
 И пепел я пил из разбитых кувшинов в окрестностях Акры.
 В руины небес я скакал с безнадежно поникшим забралом.

Ведь умерли ангелы, бог стал незрячим в окрестностях Акры.
 И нет утешенья в идущих нестройной толпой богомольцах.
 Разрублен мечом ясный месяц — цветок из окрестностей Акры.
 Цветут, как колючки, сухие суставы в заржавленных кольцах.

И я поклонился, смиренно и скорбно, окрестностям Акры.
 Черна была долгая ночь, и нахлынули крови потоки.
 И я стал смеющимся братом, железным архангелом Акры.
 Но лишь это имя назвал — и упало мне пламя на щеки.

Перевод Виктора Топорова

ПЕСНЯ В ПУСТЫНЕ

Из почерневших листьев сплетен был венок в окрестности Акры:
 там, рванув своего вороного, удар шпагой я смерти нанес.
 Там хлебал я из чаш деревянных горький пепел колодцев Акры,
 и с закрытым забралом неся навстречу обломкам небес.

Ибо умерли Ангелы, и Господь стал незрячим в окрестности Акры,
 и некому сон охранять, тех, что здесь свой покой обрели.
 Луну раздолбали на части, сей цветок окрестности Акры:
 и ржавельными кольцами руки, словно тернии, зацвели.

Я теперь в поцелуе горбатиться должен, когда молятся люди Акры.
 О, непрочными были доспехи ночи, кровь сочится по пражкам лат!
 Так стал я улыбчивым братом их, Херувимом железным Акры.
 И вот так все еще изрекал я Имя, пока чувствовал:
щеки костром горят.

Перевод Марка Уральского

ПЕСНЯ В ПУСТЫНЕ

Свил я венок из обожжённой листвы в окрестностях Акры:
 там я рвал удилами губы коня вороного и за смертью
гонялся с мечом.
 И пепел колодцев я пил из клипот¹ дерева тьмы в окрестностях Акры,
 с закрытым забралом летел на осколки разбитого неба.

Здесь мёртвые ангелы и ослепший Господь в окрестностях Акры,
 и нет никого, кто мог бы усопших в последний их путь проводить.
 В пыль разбита луна — цветок в окрестностях Акры:
 так цветут те из нас, кто шипами цветёт,
как руки в проржавленных кольцах.

Вот и я наклоняюсь, в конце концов, целовать,
когда они молятся в Акре...
 О, как ненадёжна была кольчуга из ночи —
кровь сочится через застёжки!
 В Акре стал я вам братом с улыбкою сфинкса,
я — херувим из железа.
 Я Имя ещё выдыхаю — ощущаю пожар на щеках.

Перевод Бориса Шапиро

¹ Клипот (*ивр.* תַּיִת, *скорлупы*) — в Каббале богопротивные «демонические» силы или даже целые миры («ады»), которые рассеивают («пожирают») божественный свет и питают бытие материального мира. См также ниже эссе «Сон о железном херувиме: заметки к “Песне в пустыне” Пауля Целана» Татьяны Баскаковой.



Татьяна БАСКАКОВА

/ Москва /

СОН О ЖЕЛЕЗНОМ ХЕРУВИМЕ: ЗАМЕТКИ К «ПЕСНЕ В ПУСТЫНЕ» ПАУЛЯ ЦЕЛАНА

Стихотворение «Песня в пустыне» открывает первый поэтический сборник Целана «Мак и Память», а для большинства первых читателей этого поэта открыло его творчество¹. Стихотворение вписано в контекст «Мака и Памяти» и внутри этого контекста, кажется мне, не может быть понято столь безысходно-мрачно, как предлагает его понимать профессор Юрген Леман. Во-первых, потому что певец, протагонист этого стихотворения, не умирает от раны (если считать, что ранен был он, а не ночь), но продолжает говорить от своего имени (от имени «Я») вплоть до последнего стихотворения сборника, «Исчисли миндаль...» (а образ рыцаря вновь появляется, например, в стихотворениях «Зря рисуешь сердца на стекле ты...», «Последнее знамя», «В вишне хруст железных сапог...», «Шансон некой даме в тени», да и вообще хронотоп всех стихотворений «Мака и Памяти» можно представить себе как условное средневековое). Во-вторых, потому что часть мрачных выводов, которые можно было бы сделать на основании текста «Песни в пустыне», опровергается уже в следующем стихотворении (я цитирую неопубликованный перевод Алёши Прокопьева):

У Бога жар — ты ночью, телом смуглым:
уст моих, факелов у щёк твоих качание.
Не вынянчить, кому не пали чайный.
Горсть снега я принёс тебе в отчаянье,

не зная, как твои глаза в *округлом*
синеем часе (как Луна круглей... когда-то).
Под пусто-сводами — в сезах: чудес утрапа.
Кувшинчик снов зазеленел. Пусть так.

И все же: лист на бузине, чревато
чернеющий, — к бокалу крови знак.

Nachts ist dein Leib von Gottes Fieber braun:
Mein Mund schwingt Fackeln über deinen Wangen.
Nicht sei gewiegt, dem sie kein Schlaflied sangen.
Die Hand voll Schnee, bin ich zu dir gegangen,

und ungewiß, wie deine Augen blaun
Im Stundenrund. (Der Mond von einst war runder.)
Verschluchzt in leeren Zelten ist das Wunder,
vereist das Krüglein Traums — was tuts?

Gedenk: ein schwärzlich Blatt hing im Holunder —
das schöne Zeichen für den Becher Bluts.

¹ Тираж первого поэтического сборника Целана, «Песок из урн» (Вена, 1948), был по его распоряжению — из-за многочисленных опечаток — изъят из продажи и почти полностью уничтожен.

Ясно, что певец *получает какой-то отклик*. Первые две строки этого второго стихотворения непосредственно отвечают на последнюю строку «Песни в пустыне». Если перевести буквально: «Итак, я еще выговариваю то имя и *ощущаю жар на своих щеках*» («Песня в пустыне»: So sprech ich den Namen noch aus und fühl noch den Brand auf den Wangen) — «Ночами твоё тело смуглеет от лихорадки Бога: / *мои уста раскачивают факелы над твоими щеками*» (второе стихотворение: Nachts ist dein Leib von Gottes Fieber braun: / mein Mund schwingt Fackeln über deinen Wangen). Это второе стихотворение имеет множество отсылок к поэзии Рильке, из которых как будто следует, что певец — поэт — встречается со своей Музой. У Рильке, в «Сонетах к Орфею», такая Муза зовется Жалобой. В восьмом сонете первой части говорится (перевод В. Летуцкого; курсив в первом случае мой. — Т.Б.)¹:

Nur im Raum der Rühmung darf die Klage
gehn, die *Nymphe der geweinten Quells*,
wachend über unserm Niederschlage,
daß es klar sei an demselben Fels,

der die Tore trägt und die Altäre. —
Sieh, um ihre stillen Schultern früh
das Gefühl, daß sie die jüngste wäre
unter den Geschwistern im Gemüt.

Jubel *weiß*, und Sehnsucht ist geständig, —
nur die Klage lernt noch; mädchenhändig
zählt sie nächtelang das alte Schlimme.

Aber plötzlich, schräg und ungeübt,
hält sie doch ein Sternbild unsrer Stimme
in den Himmel, den ihr Hauch nicht trübt.

Лишь в пространстве славы затихает
плач, а *нимфа слезного ручья*
наше сокрушение очищает
от укоров, под скалой журча,

где врата и алтари над нею. —
Глянь, у жалобы по-над плечом
рассветает чувство, что юнее
всех сестер она в кругу своем.

Ликованье *знает*, страсть винится,
только Жаль всегда, как ученица,
Долгой ночью горести считает.

И — на небо, вся один порыв,
голос как созвездье поднимает
Вздохами ничуть не замутив.

Муза Рильке по ночам считает старые горести (*zählt sie nächtelang das alte Schlimme*) — и к этому же призывает целановский певец свою музу в последнем стихотворении «Мака и Памяти», «Исчисли миндаля» («Исчисли, что было горьким...», *zähle, was bitter war...*).

Выражение «к бокалу крови знак» при сравнении с поэзией Рильке оказывается сопряженным с представлением о роли «святых» (или: поэтов) как вестников высшего мира. В «Часослове», обращаясь к высшему существу (Богу), которого он называет «Ты, великий старый герцог Возвышенного» (*Du großer alter Herzog des Erhabenen*: в третьем стихотворении «Мака и Памяти» появится «герцог Безмолвья», *der Herzog der Stille*²), Рильке вопрошает Его о роли святых/поэтов (Книга вторая, «О Господи, Ты помнишь тех святых?» [„WEISST du von jenen Heiligen, mein Herr?“], перевод С. Петрова³):

¹ Р.М. Рильке. Собрание сочинений. Т. 2. М.: Престиж Бук, 2012, стр. 183.

² И у Рильке, и у Целана обыгрывается созвучие между словами *Herzog* («герцог») и *Herz* («сердце»).

³ Р.М. Рильке. Собрание сочинений. Т. I. М.: Престиж Бук, стр. 176.

Sind sie dir noch zu deinen Plänen gut?
Erhältst du unvergängliche Gefäße,
einmal erfüllen willst mit deinem Blut?
die du, der allen Maßen Ungemäße,

...Годится ли еще их естество
Тебе, о всем пределам Беспредельный?
И вечен ли такой сосуд скудельный
Чтоб кровью Божьей наполнять его?

Намек на Бога содержится и во 2-й строке второго стихотворения «Мака и Памяти», потому что у Гёльдерлина в стихотворении «Хлеб и вино» сказано (перевод Нины Самойловой¹; курсив мой. — Т.Б.):

Aber indessen kommt als *Fackelschwinger*
des Höchsten
Sohn, der Syrier, unter den Schatten herab.

А между тем сюда *несет свой факел*
предвестник —
Сын, сириец, к нам сходит в долину теней.

Факел — атрибут Диониса в ночных культовых действиях, но у Целана, похоже, Диониса замещает поэт.

Однако вернемся к «Песне в пустыне». Мне кажется очень важным сказанное в 6-й строке: «...и никто в моем сне к павшим здесь не проявит участия». Целан подчеркивает сновидческий характер происходящего, и ощущение *сновидения* сохраняется на всем протяжении «Мака и Памяти». Ночь — время воспоминаний, экзотических видений и поэтического творчества, такой она предстает у Целана; и еще задолго до него — в стихотворении «Хлеб и вино» („Brot und Wein“) Гёльдерлина (где, как и в «Песне в пустыне», присутствуют мотивы венка, пения, поминовения умерших)²:

Oder es blickt auch gern ein treuer Mann
in die Nacht hin,
Ja, es ziemet sich, *ihr Kränze zu weihn und Gesang,*
Weil den Irrenden sie geheiligt ist und den Toten,
Selber aber besteht, ewig, in freiestem Geist.

Даже достойный муж, бывает, в ночь заглядится,
Да, пристало ей в дар песни, венки приносить,
Ведь от века она скитальцам священна
и мертвым,
Пребывая, сама, в духе свободном всегда.

В другом стихотворении Гёльдерлина, «Слёзы» („Tränen“)³, глаза человека, перед тем как ему удастся заплакать, описаны точно так, как колодцы Акры в стихотворении Целана:

...o ihr geschicklichen,
Ihr feurgen, *die voll Asche sind und*
Wüst und vereinsamt ohnedies schon. //
Ihr lieben Inseln, Augen der Wunderwelt!

...вы, судьбой
Горящие, что, полны пепла,
Брошены, разорены и так уж, //
Родные острова, вы глаза страны / Чудесной!

Но почему в своем видении или сне Целан видит именно Акру? Эпоха крестовых походов ознаменовалась грандиозной катастрофой в истории еврейского народа. Целан читал работы Гершома Шолема, для него была важна еврейская мистика. В «Бременской речи» он сказал о Буковине, где родился: «Эта страна — родина немалой части тех хасидских преданий, которые для всех нас пересказал по-немецки Мартин Бубер»⁴. Очень вероятно, что Целан был знаком и с историей предшественников хасидов — живших в средневековой

¹ Иоганн Кристиан Фридрих Гёльдерлин. Стихотворения. М., 2011, стр. 134–135.

² Там же, стр. 120–121; курсив мой. — Т.Б.

³ Там же, стр. 24–25; курсив мой. — Т.Б.

⁴ Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма. М., 2008, стр. 363 (перевод Марка Белорусца).

Германии *хасидей Ашкеназ* («благочестивые из Германии»), о которых писал Шолем¹. Один из наиболее авторитетных представителей этого движения, рабби Элеазар из Вормса (ок. 1165 – ок. 1230), пишет в своем дневнике о влиянии событий 1187–1188 годов (захват Саладином Иерусалима, послуживший поводом для Третьего крестового похода) на жизнь еврейской общины в Майнце²:

«А после праздника, перед Ханукой, услышали мы, что исмаильтяне вышли из своих земель и завоевали Акко [то есть Акру. — Т.Б.], и убили весь народ, который там находился, и захватили всю местность вокруг Иерусалима — от Акко и Экрона до Иерусалима. <...> Затем слух об этом достиг всех немецких земель, и сказали все христиане всем евреям: вот настал день, назначенный нами, [чтобы] убить всех евреев».

То есть события в Акре и Иерусалиме послужили поводом для массового истребления евреев и в Европе. Десять лет спустя, в 1197 году, во время погрома погибли жена и две дочери рабби Элеазара. Примерно в тот же период прекратила свое существование и секта *хасидей Ашкеназ*, повлиявшая, тем не менее, на учение позднейших хасидов. Именно с середины XII века евреи германских земель впервые начали заниматься теологией, этикой и мистикой. Тогда же возникла и группа «Особого Херувима» (по-еврейски «херувим» читается как «керув»). *Керув* понимался как особое существо — посредник, доставляющий Богу мольбы людей. В учении *хасидей Ашкеназ* было много идей, влияние которых прослеживается в творчестве Целана и, в частности, в «Маке и Памяти». Здесь не место разбирать эти идеи подробно, хочется лишь процитировать несколько высказываний Мартина Бубера о концепции *кавана*, восходящей к *хасидей Ашкеназ*. Цитаты взяты из книги «Легенда Баалшема», находившейся в библиотеке Целана с 1954 г. (в книге сохранились его пометки)³:

«...*Кавана* это луч Славы Божьей (*Gottesglorie*)⁴, которая обитает в каждом человеке и нацелена на спасение. <...> А спасение заключается в том, чтобы Шхина вернулась из изгнания. “Чтобы все скорлупы⁵ Славы Божьей размякли, и она очистилась, и соединилась со своим Владыкой в совершенном единении”. <...> Все люди суть обиталища бродячих душ. <...> Вот путь спасения: чтобы все души и искры в душах <...>

¹ См.: «Хасидизм в средневековой Германии», в кн.: Гершом Шолем. Основные течения в еврейской мистике. М.—Иерусалим, 2004, стр. 121–161.

² А.М. Аберман. Книга гонений в Германии и Франции. Иерусалим, 1999. Цитирую по: «Германский хасидизм / Часть третья» (<http://www.w3.org/1999/xhtml>).

³ Цитирую по: Marbacher Magazin 90/2000. Paul Antschel/Paul Celan in Czernowitz. Bearbeitet von Axel Gellhaus. S. 127, 131, 138–139.

⁴ «Слава Божья» и «Особый херувим» в эпоху *хасидей Ашкеназ* были частями одной и той же концепции. Ее следы можно обнаружить в стихотворениях Целана «Corona» („Corona“, сб. «Мак и Память»; «венец» [*corona*] — атрибут «Славы Божьей»), «Алхимия» („Chymisch“; сб. «Роза-Никому»), «Пепельная Слава» („Aschenglorie“; сб. «Поворот дыхания»). «Слава Божья» (Кавод) — это «сотворенный свет, первое из всех творений»; ранние хасиды отождествляли ее с «великим сиянием, называемым Шхиной» (Шолем, цит. пр., стр. 153).

⁵ «Скорлупы» (*Schalen*) — то же слово использует Целан в «Песне в пустыне». Шолем пишет, что еврейские мистики сравнивали зло с *клипой*, «корой» космического дерева или скорлупой ореха (образ ореха происходит из сочинений Элеазара из Вормса). См.: Шолем, цит. пр., стр. 298.

очистившись, вернулись домой. <...> Не просто ждать, не просто высматривать: каждый человек может работать над спасением мира. <...> “Каждым своим поступком может человек работать над образом Славы Божьей, чтобы она вышла из сокрытости”. <...>

“Человек должен произносить слова, как будто в них раскрывается небо. Как если бы дело обстояло не так, что ты берешь слово в свои уста, но так, словно ты входишь в слово”. <...> Ибо когда ты творишь, это значит, что творят тебя: божественное движет нами и преодолевает нас. Быть творимым значит переживать экстаз: только тот, кто погружается в Ничто абсолюта, ощущает на себе формирующую руку Духа».

Скажу еще, что «вопрошания во сне» и пророческие видения тоже были характерны для *хасидей Ашкеназ*. Сохранилась, например, история о чудесном путешествии рабби Элеазара из Вормса на облаке.

А теперь подведем итоги. Да, поэтическое *Я* в стихотворении «Песня в пустыне» принимает на себя — во сне — функцию *керува*, то есть *посредника между людьми и Богом*, и задачу спасти умерших, *сохранив в языке их имена и голоса*. При этом существование Бога не отрицается и не подтверждается: речь идет, скорее, о задаче поэта как заместителя существующих — или не существующих — высших сил. Если Целан в самом деле хотел ответить на вопрос, поставленный Адорно, то, как мне кажется, его ответ состоял именно в *укреплении связей с традицией* — со всем тем, что было в ней ценного. Традиция понимается очень широко: трагедия Холокоста связывается с катастрофой, постигшей европейское еврейство в XII веке, в эпоху крестовых походов, и с найденными *тогда* путями преодоления кризиса. Наряду с голосами хасидов в первых стихотворениях сборника «Мак и Память» (и во многих последующих) звучат голоса Гёльдерлина и Рильке, значимых для Целана поэтов-философов (далее в книге встречаются и голоса других поэтов). Эти голоса, в принципе, узнаваемы (если бы мы приложили больше усилий, чтобы их узнать): они *уже спасены и сохранены Целаном* (в его стихах)¹, потому что в свое время способствовали собиранию «искр» добра, накоплению субстанции духовности. Этот второй аспект творчества Целана — *соучастие в собирании или сотворении мира духовной культуры* — ясно почувствовала поэтесса Нелли Закс, написавшая ему после получения сборника «Решетка языка» (3.09.1959)²:

«Дорогой Пауль Целан,

Ваша “Книга Сияния”, Ваш “Зогар”, уже у меня. Я в ней живу. Эти хрустальные буквы-ангелы — духовно-прозрачные — в которых именно сейчас — в данный момент — совершается акт творения... <...> Так пусть же каждый Ваш вздох и впредь будет благословен, чтобы вы вместе с воздухом вбирали в себя духовный облик мира».

¹ «Спасение» понадобилось, потому что после войны наблюдался разрыв молодой немецкой поэзии с довоенной традицией. Жан Боллак и сейчас считает, что Целан цитировал Рильке лишь для того, чтобы его опровергнуть. См.: Жан Боллак. Рильке в поэтическом творчестве Целана (1991), в: Пауль Целан. Материалы, исследования, воспоминания. Т. II. М.-Иерусалим, 2007, стр. 58–79; перевод Е. Бурмистровой.

² Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма, стр. 534–535 (перевод мой. — Т.Б.).

Юрген ЛЕМАН

/ Фрайбург /



ОТ ПЕНИЯ К ГОВОРЕНИЮ: СТИХОТВОРЕНИЕ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА «ПЕСНЬ В ПУСТЫНЕ»

EIN LIED IN DER WÜSTE

Ein Kranz ward gewunden aus schwärzlichem Laub in der Gegend von Akra:
dort riß ich den Rappen herum und stach nach dem Tod mit dem Degen.
Auch trank ich aus hölzernen Schalen die Asche der Brunnen von Akra
und zog mit gefällttem Visier den Trümmern der Himmel entgegen.

Denn tot sind die Engel und blind ward der Herr in der Gegend von Akra,
und keiner ist, der mir betreue im Schlaf die zur Ruhe hier gingen.
Zuschanden gehau ward der Mond, das Blümlein der Gegend von Akra:
so blühn, die den Dornen es gleichtun, die Hände mit rostigen Ringen.

So muß ich zum Kuß mich wohl bücken zuletzt, wen sie beten in Akra...
O schlecht war die Brünne der Nacht, es sickert das Blut durch die Spangen!
So ward ich ihr lächelnder Bruder, der eiserne Cherub von Akra.
So sprech ich den Namen noch aus und fühl noch den Brand auf den Wangen¹.

«...еще есть / песни, чтобы петь по ту сторону / людей»² — сказано в конце стихотворения «Нити солнца» (из книги «Поворот дыхания»), где *мотив пения*, присутствия которого в лирике Пауля Целана нельзя не заметить, еще раз используется и одновременно радикально ставится под вопрос. Любое пение *по ту сторону людей* подразумевает отказ от благозвучия, гармонии, осмысленности и чувственности, сверх того говорит об одиночестве, пустоте, отказе от коммуникации (такие упреки выдвигает Эрих Фрид в своем знаменитом ответе, в стихотворении «Перечитывая одно стихотворение Пауля Целана»), — а в конечном счете означает онемение — и, следовательно, бескомпромиссно ставит под вопрос словесное искусство как таковое.

То, что Целан в этом знаменитом стихотворении 1963 года говорит о границах и возможностях словесного искусства после Освенцима — формулируя свою мысль коротко и ясно, почти афористично, — было предвосхищено, более развернуто, в возникшем еще в Бухаресте, приведен-

¹ Paul Celan: Gesammelte Werke in fünf Bänden. Frankfurt a. M. 1983 (GW), Bd. 1, S. 11.

² Paul Celan GW, Bd. 2, S. 26. [Русский перевод: Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма. М.: Ад Маргинем 2008 (далее: Целан), с. 209; перевод Марка Белорусца. — *Примеч. переводчика.*]

ном выше стихотворении, которым открывается поэтический сборник «Мак и память». «Песня в пустыне» артикулирует такое *говорение на пороге Ничто*, образ же «развернутого на скаку коня» указывает на Поворот (строка 2) после обретенного опыта смерти и разрушения, проблематизирует в контексте этого опыта традиционную поэзию и традиционное понимание поэтического искусства.

Как видно уже из заглавия «Песня в пустыне», данный текст тематизирует парадоксальность такого словесного искусства: кто-то поет — на первый взгляд искусно, благозвучно, ориентируясь на древнюю песенную традицию наподобие античного эпоса и германских героических песен. Но ведь речь идет о пении *в пустыне*: в сформировавшемся под воздействием природы и истории пустом, враждебном к жизни пространстве, где даже вкапываясь в глубину нельзя найти животворную воду, поскольку в колодах остался лишь пепел, в месте, отмеченном безжалостной борьбой мировых религий (Акре), — песня же выпевается при отсутствии публики и, наконец, является такой песней, которая самым характером своей художественной формы радикально ставит под вопрос возможность пения.

В противоположность «Нитям солнц», «Песня в пустыне» предстает перед нами, с точки зрения словесного искусства (если иметь в виду гекзаметр, регулярную разбивку на строки и строфы), как конвенционально структурированное целое, как благозвучное стихотворение, для которого характерны длинные дактилические строки, перекрестная рифма, идентичная рифма, анафоры, ассонансы и некоторые другие особенности¹. Три строфы — что подкреплено уже упоминавшимся регулярным делением на строки — демонстрируют ясную аргументативную структуру, основанную на причинно-следственных отношениях. В строфе 1 двоечтение, которым заканчивается первая строка, указывает на тесную взаимосвязь между тем, о чем идет речь в строках 2–4 (совершенный рыцарем поворот, борьба со смертью, испитие пепла), и упомянутым в первой строке платением чернеющего венка. Во второй строфе, начинающейся со слова «Ведь» (*Denn*), называются (в строках 1–3) причины и предпосылки того, о чем говорилось в первой строфе, и указывается, опять с использованием двоечтения, на нынешнее состояние умерших, а затем, в последней строфе, — на ту роль, которую принял на себя рыцарь: роль чувствующего себя связанным с мертвыми, любящего их и помнящего о них певца. Такие приемы, как рифма и ассонанс, не просто акцентируют гармоничность, благозвучие и певучесть, но имеют еще и семантическое значение. Так, почти навязчиво используемый в первой строфе ассонанс на *a* (*Kranz, schwärzlich, Akra, Rappen, stach, trank, Asche*) и корреспондирующие с ним по звуку рифмы третьей строфы (*Akra, Spangen, Akra, Wangen*) подчеркивают как формальную замкнутость стихотворения, так и определяющий для него лейтмотив темноты.

Формальному совершенству этой песни, как уже говорилось, диаметрально противоположно ее содержание, что акцентировано уже в самом начале, в образе сплетенного из чернеющих листьев венка: песня поется во враждебном для жизни окружении, которое включает в себя темноту, борьбу, ранение, смерть и разрушение — разрушение как реально, так и духовного мира («развалины неба»²). Ибо «пустыня» в данном слу-

¹ Более подробно об этом см. в статье: Klaus Manger: Paul Celans Gedicht „Ein Lied in der Wüste“ — das Prooimion seiner Dichtung. In: Celan-Jahrbuch 2 (1988), S. 53–80.

² Здесь и далее цитируется наиболее близкий к тексту оригинала перевод Алёши Прокопьева. — *Примеч. переводчика.*

чае это не только топографическое место, но и ментальное восприятие мира, лишённого духовных и религиозных ориентиров, отмеченного трансцендентальной бездомностью («Ведь ангелы пали и слеп стал Господь наш под городом Акра»). Здесь лавровый венок *не* завоевывается в рамках и в ходе состязания поэтов (что соответствовало бы традиционному словопотреблению). Мотив Пегаса модифицирован, и певец выступает в роли сражающегося со смертью раненого рыцаря, который в Палестине, на родине еврейского народа, ведёт, очевидно, свою последнюю битву, причем не где-нибудь, а в крепости Акра (или: Акко), то есть в историческом месте, отмеченном противоборством приверженцев разных мировых религий, на восточном побережье Средиземного моря. Будучи *раненым*, поющий рыцарь и сам принадлежит к тому миру, который описывает: он тоже затронут разрушениями, затронувшими этот мир, отмечен и выделен ожогом, который соединяет его с превратившимися в пепел еврейскими жертвами («и пламя всё красит мне щёки»). Прежде всего *в этом качестве* он является сражающимся и любящим; и напряжение между двумя этими полюсами решающим образом определяет содержательный контур стихотворения. Если иметь это в виду, получается, что «героическая песня» рыцаря во многих смыслах представляет собой песню-жалобу. Она оплакивает умерших, артикулирует связанные с этим душевные муки, но также и телесную боль, вызванную ранением; она выражает, сверх того, скорбь по поводу духовного состояния мира, в котором не предусмотрена религиозно обоснованная и вселяющая надежду возможность продолжения жизни в потустороннем мире. Этому соответствует необычная интенция, обуславливающая действия рыцаря: он сражается за *уже умерших*, его борьба есть последний акт обращения к умершим, попытка их защитить. Предпосылка и знак такого обращения — идентификация себя с сожженными («Из чаш деревянных пил пепел колодцев под городом Акра»), подкрепленная в конце стихотворения символическим поцелуем. Прежде всего в контексте такой самоидентификации с мертвыми рыцарь становится «железным керубом», стражем и хранителем того, что пережило телесную смерть, то есть какой-то духовной субстанции, становится *хранителем имени*:

Им братом улыбчивым стал я, железным керубом из Акры.
Всё жжёт это имя уста мне, и пламя всё красит мне щёки.

Изображенная в стихотворении борьба есть, следовательно, борьба против духовной смерти, против смерти, сопряженной с забвением, с забвением сожженных. Интенция сражающегося — *защитить и спасти имя*, это прежде всего и свидетельствует о его любви к умершим.

Разного рода коннотации и многочисленные интертекстуальные связи укореняют это стихотворение в еврейском контексте. Прежде всего это уже упоминавшиеся прямые или имплицитные характеристики в тексте. Действие разворачивается в Палестине, а именно, в Акре, месте, которое символично для израильского народа и его истории; к тому же Акра — крепость, за которую в эпоху крестовых походов постоянно шла борьба между христианами и мусульманами, — является символом разрушения и смерти, *узаконенных религией или идеологией*. Связан с еврейским народом и певец — в своем качестве посланного в пустыню, в самом подлинном смысле слова, — то есть изгнанника, ищущего новую родину. Этому соответствует и интертекстуальная отсылка к Библии, содержащаяся в названии стихотворения: «Песня в пустыне» напоминает о хвалебных песнях Моисея в пустыне после спасения израильтян, которым помог сам Бог (Исход, глава 15; Второзаконие, глава 32).

Что же касается места стихотворения в литературно-историческом и поэтологическом контекстах, то его следует искать в рамках дискуссии о возможностях и границах словесного искусства после Освенцима. Стихотворение связано с этой дискуссией двояким образом: во-первых, через все поэтическое творчество Целана проходит фундаментальный вопрос, эксплицитно сформулированный в речи при получении Бременской литературной премии, о том, возможно ли еще поэтическое говорение после «тысячекратной кромешности смертоносных речей»¹, имевшей место в эпоху национал-социализма; во-вторых, несмотря на эту проблематику, перед таким поэтом, как Целан, встает задача: сохранить существование миллионов невинно убиенных евреев в языке, в языковой реальности, согласно Бременской речи «обогащенной» <...> всем, что было»² и которую поэтому нужно строить заново.

Сохранение мертвых в языке как специфическая форма поминовения умерших, понимание поэзии как *работы памяти* — эти идеи определяют все творчество Целана. Исходным пунктом тут является обусловленный Холокостом фундаментальный *опыт переживания утраты*, в результате которого собственная жизнь поэта в решающей мере оказывается отмеченной изгнанничеством, неуверенностью и отсутствием ориентиров. Реагируя на это, Целан понимает свои стихотворения как *укрывающее пространство*, в котором сохраняются мертвые жертвы Холокоста — точнее, их *имена и голоса*; или как место, куда сожженные и, значит, бездомные умершие могут вернуться, где о них будут «печся» (*betreuen*), то есть окружать их заботой, защищать. Поющий рыцарь, следовательно, — это боец-защитник, который, как видно из само-рефлексивного выражения «кто отдал бы мне на попечительство» (*der mir betreue*), принял на себя ответственность за умерших.

Результат принятия на себя такой задачи — поэтологический аспект этого стихотворения (о нем у нас уже шла речь). Стихотворение становится, если использовать более позднюю формулировку Целана, «Противословом» (*Gegenwort*), то есть отречением от *традиционной речи*, испорченной уже упоминавшейся «кромешностью», характерной для эпохи национал-социализма. Уничтожение европейского еврейства немцами маркирует для Целана исторический слом, который радикально упраздняет возможность какой-либо культурной, литературной или языковой непрерывности. Отречение от традиции Целан осуществит, самое позднее, в рамках своего третьего поэтического сборника «Решетка языка», в контексте концепции «более серого» языка, который, как написал Целан в 1958 году в «Ответе на опросный лист книжного издательства „Флинкер“, «не доверяет „красивому“» и должен быть «трезвее, фактологичнее», который «уже не будет иметь ничего общего с тем „благозвучием“, что было слышнимо ужасному и более или менее беззаботно звучало в унисон с ним»³.

Правда, «Песня в пустыне», как было показано, на первый взгляд кажется вполне благозвучной. Однако при более пристальном рассмотрении становится очевидным, что ее благозвучие отнюдь не «беззаботно», больше того: и само оно, и литературный язык, являющийся условием его возникновения, уже в этом раннем стихотворении принципиально ставятся под вопрос. Это происходит уже в начале стихотворения, в образе

¹ Paul Celan GW, Bd. 3, S. 186. [Русский перевод (Марка Белорусца): Целан, стр. 363. — *Примеч. переводчика.*]

² Там же.

³ Paul Celan GW, Bd. 3, S. 167. [Русский перевод (Татьяны Баскаковой): Целан, стр. 366. — *Примеч. переводчика.*]

развернутого всадником коня: напомним, что Целан и здесь, и во многих других стихотворениях («За вином, за потерянной...», «С книгой из Тарусы вместе», «Здесь в этом воздухе...») подхватывает мотив скрещения понятий «скакать» и «писать стихи» — присутствующий и в образе Пегаса, и в образе певца-героя, миннезингера, соединяющего в себе функции рыцаря и поэта, — и интерпретирует этот мотив по-новому в контексте Холокоста. То же происходит и с другими традиционными символами поэтического искусства: колодец, который со времени Ветхого Завета является символом живительной божественной и поэтической инспирации, в разбираемом нами стихотворении оказывается высохшим; прием метонимического замещения понятия «писать» *рукой* (которым Целан будет пользоваться и позже, вновь и вновь) модифицируется в новом контексте, связанном с ранением и отсутствием блеска («а пальцы в заржавевших кольцах цветут, как терновник»); лавровый венок, символ поэтической славы и бессмертия, деградировал до «чернеющих листьев»; характерная для символизма, в том числе для Бодлера, метафорика *стихотворствовать*=*фехтовать* теперь выражена гораздо более агрессивно¹. Перечисленным изменениям соответствует и подробно задокументированные Мангером отклонения от классических стихотворных размеров (в данном случае гекзаметра), от синтаксических, метрических и лексических норм², — так что мы вправе усмотреть в этом стихотворении Целана критическое противостояние (осмысленное в поэтологическом плане) с литературной традицией. Последнее указание на отказ от благозвучной, певучей поэзии содержится в завершающей строке стихотворения: «Я все еще выговариваю то имя...» (*So sprech ich den Namen noch aus...*): то обстоятельство, что обещанная в самом начале, в заголовке, «песня» превращается в *говорение*, кажется предвестием уже упомянутого «более серого» языка», характерного для поэзии Целана начиная со сборника «Решетка языка»; пересечение же тем еврейского Изгнания и уничтожения евреев с вопросом, должна ли лирика быть певучей, уже предвещает такие позднейшие стихотворения, как, например, «НА МАНЕР ЗЭКОВ И УГОЛОВНИКОВ ПРОПЕА ЭТО В PARIS EMPRES PONTOISE ПАУЛЬ ЦЕЛАН ИЗ ЧЕРНОВИЦ ПОД САДОГОРОЙ»³ из сборника «Роза-Никому».

В связи с этой проблематикой, затрагивающей теорию языка и поэзии, «Песня в пустыне» становится еще и мировоззренческим «Противословом». Потому что, как уже отмечалось, это стихотворение говорит о несуществовании Бога: говорит эксплицитно, указывая на «развалины неба», мертвых ангелов, иссеченный мечами месяц, но и имплицитно — поскольку акцентирует тьму. Последнему обстоятельству соответствует столь же нетрадиционное обращение с мотивом слепоты. Здесь тоже опровергается иконографическая традиция, в рамках которой всеприсутствие Бога и его универсальное знание изображаются и истолковываются как *глаз*, то есть *зрение*. Констатацию слепоты Бога («и слеп стал Господь наш под городом Акра») можно интерпретировать двояко: во-первых, как упрек Богу, который не пожелал увидеть, что миллионы евреев были искалечены и убиты; во-вторых, как указание на то, что Бог не способен видеть, то есть ущербен, — что равноценно отрицанию божественного существования. И та, и другая трактовка радикально ставит под сомнение существование Бога

¹ См.: Jean Firges: Den Acheron durchquert ich. Einführung in die Lyrik Paul Celans. Tübingen 1998, S. 69.

² См. сноску на стр. 86.

³ Так это стихотворение называется в русском переводе Анны Глазовой: Комментари 21, 2001. — *Примеч. переводчика.*

как попечителя «ушедших к покою» (строка 6), как Спасителя в религиозном смысле. Эту его задачу берет на себя поэт. Но и такая надежда, вспыхивающая в контексте поэзии Гёльдерлина («...но лишь поэт создает то, что дается»¹, *Was bleibt aber, stiften die Dichter*), оказывается относительной: потому что певец, представленный в этом стихотворении Целана, тоже смертельно ранен, и с его смертью угаснет даже та надежда, что можно «быть поднятым» в пространство словесного искусства и — по крайней мере, там — обрести бессмертие. При такой интерпретации «Песня в пустыне» оказывается не только оплакиванием миллионов обращенных в пепел человеческих жизней, но и песней-жалобой по поводу утраты собственно-человеческой, означающей подлинную гуманность способности: трансцендировать материальную ограниченность человека с помощью языка, мышления и художественной деятельности.

Краткие сведения об авторах переводов

Баскакова, Татьяна (род. 1957) — российский филолог, переводчик немецкой поэзии и прозы (Москва), лауреат премии Андрея Белого в номинации «За заслуги перед русской литературой» за работу над книгой «Пауль Целан. Стихотворения. Проза. Письма». — М.: 2008 (вместе с М.Белорусцем).

Крекшин, Игнатий (род. 1956) — католический священник, историк искусства, богослов и переводчик с немецкого и французского (Тюбинген). Шесть стихотворений П. Целана в его переводе были опубликованы в альманахе «Доминанта» (Доминанта. Литературно-художественный альманах/Dominante. Almanach für Literatur und Kunst, München 2006, с. 198–205).

Леман (Lehmann), Юрген (род. 1940) — немецкий филолог-германист, профессор Эрлангенского университета, автор ряда научных трудов по теории художественного перевода, теории и истории жанра автобиографии, истории взаимоотношений между русской и немецкой литературой, а также комментариев к поэтическим сборникам Пауля Целана «Роза никому» («Die Niemandsgrose») и «Лестница речи» («Sprachgitter»).

Летучий, Владимир (род. 1943) — переводчик немецкой поэзии и прозы (Москва).

Марковский, Борис (род. 1949) — поэт, переводчик с немецкого, главный редактор журнала «Крещатик» (Киев — Корбах).

Морейно, Сергей (род. 1964) — поэт, переводчик с латышского, польского, немецкого, (Рига).

Прокопьев, Алеша (Алексей) (род. 1955) — поэт и переводчик с немецкого, шведского, английского, итальянского, чувашского языков (Москва).

Топоров, Виктор (род. 1946) — переводчик, литературный обозреватель и критик (Санкт-Петербург).

Уральский, Марк (род. 1948) — прозаик, поэт, переводчик с немецкого (Кёльн).

Шапиро, Борис (Барух) (род. 1944) — немецкий и русский поэт, писатель и переводчик (Берлин).

¹ Заключительная строка стихотворения Гёльдерлина «Напоминание» (*Andenken*), см.: Иоганн Кристиан Фридрих Гёльдерлин. Стихотворения. Перевод Нины Самойловой. — М.: Летний сад, 2011, стр. 73. — *Примеч. переводчика.*

Сара МАРКАРЯН

/ Луна /



* * *

Это страна без дорог, без афиш, без подсказок — куда,
Если сомненья нарушат покой и отраднее будет остаться —
Останься. И не жалея, что не ты, а другие зайдут в поезда —
Было бы проще забыть все названия станций

И отвернуться, чужие увидев глаза за углом,
Что украли минутное счастье — сидеть на карнизе в потемках
И не знать, где, во сколько, когда, почему и о чем.
Просто быть, не стесняясь, творцом, чудачком и ребенком.

Не испытывай счастье, лишь чтобы когда-то сказать:
Я была безгранично счастливой. Никто же тебе не поверит.
Все увидят, как тихо посмотрят на землю глаза
Беспокойного и незащитного странного зверя.

Есть в ранимости нежность. Откуда ж такая тоска,
Будто в море разлилось вселенское горе — и вышел на сушу.
Есть страна без дорог. Есть дорога в страну-никуда.
Как душа — но без тела, и тело, что тянется в душу.

Стань же ею, и мне помоги не уснуть, не уйти,
И обнять шар земной, шитый нитями переживаний.
И богатство свое не раздать никому, а с собой унести
В мир, где строят дороги из чьих-то волшебных желаний.

* * *

Это птица, взлетев, полоснула крылом по лицу,
Это сломанный август тоску изливает дождями.
Пусть размеренным шагом приблизится лето к концу —
Это только начало бездонной и дикой печали.

Будешь долго еще просыпаться в ночи и, вспотев,
 Озираться испуганно — призраки, боли, потери.
 И опять засыпать, с дрожью в пальцах лицо протерев,
 Чтоб крылом по нему били вороны, что прилетели.

Тихо, тихо. Качается время не в такт
 Битве разума, сердца и капель мятежного лета.
 Ты в тиши отоспишься, ты уйди в этот сон, как в антракт,
 Как в спасающий круг темноты из безумия света.

С неба птицы, как камни, кричали и падали ниц,
 А вожак этой стаи, как бешеный коршун, метался.
 То клевал, умерщвляя, своих же напуганных птиц,
 То спасителем павших пернатых, лихач, притворялся.

* * *

Дослушать этот вечер и уйти
 В обрывки улиц, сросшихся друг с другом,
 Оставив городу лишь фонари да руки
 Раскланявшихся кленов по пути.

В твоём окне, как в стареньком пальто,
 Зияет ночь, как рваная подкладка.
 И мне, я верю, можно, пусть украдкой
 Взглянув в него, увидеть волшебство.

Два стула, стол, бутылку на столе
 Из-под старинной, маминой микстуры.
 Картину — мой портрет. Карикатуру
 С Монмартра, где рисуют на заре

Простых туристов. Розовый букет
 В зеленой вазе — скромные подарки.
 И безупречной ржавой кофеварки
 Такой знакомый вечный силуэт.

И вдруг — тебя. Уснувшего в тиши
 Обрывков улиц, фонарей и кленов.
 В углу квартиры, где витает сонно
 Крыло моей беспомощной души.

* * *

Свистит, ругаясь, черный ветер,
 крылом вонзаясь в тело поля
 и кажется, никто на свете
 не думает уже о боли

и не страдает — смотрит долго
на белое стальное солнце,
порою громко кличет Бога,
и непрерывно так смеется,
как будто знает тайну мира
и, может быть, ее откроет
ключом двухкомнатной квартиры,
которую так долго строит...

бежать от ветра, и укрыться
на севере, в горах из леса
где море, даже если снится,
как окна, можно занавесить,
чтоб не мешало жить, спасаясь
от образа скитальца в лодке...
мечта, как девушка босая,
и смех ее, как жизнь, короткий.

* * *

Опадает звезда за звездой. И в тиши
Будет литься прохлада из Балтики сонной
До кавказских, покрытых снегами, вершин,
Долетая до города в маленькой, горной

Очень старой стране. Очень старых кровей.
Чуть уставшей, погрязшей в долгах и заботах.
Только в воздухе кружит сильней и сильней
Безымянное, новое, близкое что-то.

Может, это сознание: будем сильней.
Запах терпкого кофе оставив на донце,
Соберем все крупички гранатовых дней
Для мозаики новой, из света и солнца.

Может, это беспечная радость — куда
Нам идти от себя? Нет без крыльев полета,
И без рельсов пока не идут поезда,
Только счастьем по-прежнему делится кто-то,

Невзирая на курсы валюты и страх,
Что столкнемся в войне для управы наследством...
Этим счастьем в стране, что в высоких горах,
Кто-то делится с самого раннего детства.

Две звезды упадут. Это ветер снесет
Пару крыш, продырявленных утренним градом.
Из балтийских морей до кавказских высот,
Что за тысячу верст и совсем уже рядом.

* * *

Это чувство, как будто течет вода
Уже много и много лет.
И выносит на берег тебя, когда
Сил на новые волны нет.

Просто лечь на траву и, подняв свой взгляд,
Помутневший от черных дней,
Не смотреть, хоть и хочется так, назад —
Только в синь, растворяясь в ней.

Будут звать и тревожить друзей звонки —
И обнять бы всех, и простить...
За водою до берега добеги
И пустишь по теченью плыть.

Будет солнце, садясь, забывая твой дом,
Оставляя в тени сады.
Не тоскуй и не сетуй пока о нем,
День проснется — вернешься ты,

И обнимешь, и может быть, всех простишь,
Отдавая любовь сполна.
Разольется по небу благая тишь,
Станет тоньше иглы луна.

И сольются мили в одну мозоль,
Губы тихо попросят пить...
Из последних сил добавляешь ноль
К тем годам, что осталось жить.

* * *

Накинув на плечи ночь, отходишь к окну покурить,
Стоишь, будто черная птица, и только крыло помято.
А звезды зовут, ласкаясь о тонкую руку — нить,
И дым сигареты тянется временем с циферблата.

За годы молчанья стали бессмысленны голоса,
Как будто играя в прятки, все ищешь осколки лета.
То нежно рукой качаешь, то прячешь свои глаза
В карман беспокойной ночи, оставившей без ответа.

Не станут добрее люди, доверься своей судьбе,
Под сенью усталой птицы, помявшей крыло о ветер.
И звезды возможно скрипкой с небес запоют тебе,
А время замрет росинкой на этом безумном свете.

Айдар ХУСАИНОВ

/ Уфа /



КУЛЬТУР-МУЛЬТУР¹

Роман

32

Шалухин сидел за своим столом возле окна. Он холодно глянул на Багрова поверх своих узеньких американских очков, после чего уткнулся в бумажки. Было ясно, что он в степени глубочайшего раздражения, поэтому Багрову ничего другого не оставалось, как тоже сесть за стол и разложить свои бумажки. Впрочем, одна такая бумажка уже лежала на столе — толстенная рукопись с прикрепленным к ней клочком, на котором пьяной рукой главного редактора было написано «Подготовить к печати».

Это на неделю, а то и на две, подумал Багров, внутренне уже готовясь получать шишки за небрежное редактирование. Это была коронная фишка Андроидова — найдя запятую, которая, по его мнению, стояла не на месте, он поднимал вселенский ор, как если бы именно от нее зависела судьба человечества.

Да, была бы его воля — эта рукопись просто никогда не вышла бы на страницах журнала, но, должно быть, это и есть та самая особенность провинции, что чем хуже вещь, тем она вернее будет опубликована. Из двух проектов будет осуществлен наихудший, из двух рукописей будет опубликована наихудшая — с этим Багров сталкивался уже не то что один или два, а миллион раз, так что вся жизнь словно бы вопит — провинция для того и создана, чтобы возобновлять то, что было в веках, что прошли до нас, а если хочешь чего-то новенького — езжай в столицу, она тебя ждет. Москва, разумеется, ждала с распростертыми объятьями, закрыв от умиления глаза. Время от времени она приоткрывала левый или правый глаз, немало удивляясь, что как-то не слишком много людей бросаются в ее объятия и они все еще полупустые.

Багров постепенно остывал от внутреннего напряжения. А когда прочитал несколько страниц, ну не то чтобы прочитал — пробежал глазами, текст показался ему более — менее интересным, и он решил, что из этого может что-то получиться. Речь была о строительстве аксаковского дома, в котором теперь был театр оперы и балета. Все подавалось так, что

¹ Окончание. Начало в № 60.

губернатор Ключарев, озаботившись попаданием в историю, решил построить памятник себе. Багров вздохнул и, вооружившись карандашом, вонзил его в рукопись.

Есть особого рода беспамятство, когда мозг, погруженный в своего рода ванну, освобождается от оков внешнего мира и для него реальными становятся бесплотные тени ушедшего, каждое слово по немногу наливается кровью и словно оживает под пристальным взглядом читателя-мага, вызывающего его из теней позабытого прошлого. Сонм имен, событий, явлений пролетел словно смерч перед глазами Багрова, и, когда он очнулся от какого-то нетерпеливого взгляда, эти тени все еще стояли у него перед глазами, более живые, чем те, что находились в кабинете рядом с ним. Оказалось, это Шалухин зовет его перекурить.

Багров не курил, это вышло как-то само собой, еще в детстве, после первой затяжки беломорканалом, осуществленной в пятилетнем возрасте, но сам процесс перекура, в общем, не вызывал у него никакого раздражения. Дело, скорее всего, было в том, что перекуры прерывали эту нудную, никчемную и жалкую работу, которую он должен был делать, в какой бы конторе ни служил. Сделав этот смелый вывод, он встал и пошел вслед за Шалухиным в коридор, а затем и на лестничную площадку, прокуренную насквозь. «Тихо в коридоре, пусто в коридоре, Где вчера болтали о каком-то вздоре», — Багрову вспомнилась шалухинская строчка.

Сам поэт тем временам не спеша закуривал свою сигаретку, то ли маальборо, то ли беломор. Из всех сортов табаку некурящий Багров знал только эти два. Оба они застряли в памяти со времен детства, а что сейчас курил Шалухин, его как-то мало волновало. Вот если бы он носил в кармане две пачки — одну подороже, для себя, а другую, подешевле, для стрелков — это другое дело. Тогда был бы какой-то интерес запомнить, как характерную особенность. И Багров помнил пару таких людей именно по этой особенности. Но Шалухин был человек честный, и цена для него по большому счету значения не имела.

Тут Багров задумался о наличии-отсутствии денег у курильщиков и некурящих. Если ты куришь — понятно, куда уходят деньги. А если нет? Хорошо бы они складывались в какую-нибудь копилку, чтобы потом, скажем лет в тридцать с небольшим, вдруг пролиться на некурящего золотым дождем.

Но ничего подобного не было — деньги уходили в неизвестность, непонятно куда, словно невидимые силы старались соблюдать баланс, словно курение — это некое наслаждение, на которое деньги выделяются, но обналчить их нельзя...

И тут Багров понял — по блеснувшим глазам, по небрежному жесту, с которым была отставлена в сторону сигарета, по тому, как раздужарился — вспомнил еще одно слово из детства — Шалухин, который не случайно носил кличку «Маркиз» — было в нем что-то заихватское, свойственное аристократам природным, в первом поколении.

— Ну, что случилось-то? — не выдержал паузы Багров, он уже понимал, что может быть нетерпелив. — Куда ты пропал?

Но Шалухин все держал свою эффектную паузу, подкрепляя ее веселой ухмылкой, покачиванием головы и размахиванием сигаретой, чтобы в какой-то, ему только одному ведомый момент существования Вселенной начать рассказ.

Рассказ поэта Шалухина о путешествии в Белорецк и Зауралье

Когда я пришел на работу в понедельник, в девять утра, я знал, что мы поедем где-то в районе обеда, потому что мы об этом договаривались еще в пятницу. Пьяный Юра Андрондов так мне и сказал — «Поедете, мол, в обед». Там вас будут ждать. Волшебнов позвонил в Белорецк, они ему еще раз сказали: «Приезжайте к пяти часам». Только я зашел в редакцию, даже не разделся, подлетает ко мне Ноль и говорит своим ноющим тоном: «Все, поехали, пора, все уже сидят в машине».

Я говорю, что машины на улице-то нет, Ахмета я не видел. А Ноль все поет, руками машет, нервничает, все твердит, мол, сидят в машине, меня ждут. Ну, мы и пошли.

Никакой машины там, конечно, не было. Ноль стал бегать вдоль здания, страшно сердитый, все приговаривал, что мы опаздываем.

Тут на крыльцо вышел Ахмет. Ноль стал на него шипеть, мол, где машина, надо ехать. Оказалось, что Ахмет машину поставил с той стороны здания, что ему надо поменять колесо. «Ничего не надо менять!» — замахал на него руками Ноль, — «Надо ехать!»

Тут подошел Волшебнов, Ноль стал орать и на него. В общем, как-то мы все погрузились и поехали.

Ехали, ехали, причем Ноль не позволял нам останавливаться в дороге. Раз только тормознули, отаили, и в путь.

А я, как на грех, не позавтракал, думал, успею в «Огонек» сбегать. Есть охота, как из пушки, но терплю, молчу.

Наконец мы приехали в этот сраный Белорецк. Время обед. Заходим в администрацию, а нам говорят, что человек нужный из отдела информации и аналитики будет только в пять часов, как и договаривались. Ну, мы все разозлились. Но делать нечего — поехали в гостиницу. Заселились, пошли искать, где бы пожрать. Зашли в столовую, а там говорят, что закрыто на обслуживание. Долго там ругались с ними Ноль и Волшебнов, потом я пошел с заднего хода, поговорил с женщиной одной (Шалухин подмигнул), и она нам вынесла каких-то чебуреков и газ-воды. Поели, настроение ноль, пошли в номер, поспать. Я по пути в магазин забежал, принял чуток (Шалухин снова улыбнулся). К пяти часам пришли в администрацию. Тут уж нас встречают по полной! Мужик из администрации говорит: «Поедьте, я вас покормлю, а потом выступить». И мы поехали в ту самую столовую, в которую нас не пускали! Оказывается, это они нас ждали!

Ну, мы пожрали, поехали выступать. Первым взял слово Ноль. Это же библиотека такая, там детей нагнали, а он давай им два часа рассказывать про Чубайса и про евреев, как они развалили Советский Союз и какой он, Ноль, хороший. Вижу, у детишек лица вытянулись, стали потухать. А потом слово взял Волшебнов, он же вообще чиновник, обкомовский. И этот туда же — полоскать демократов и защищать коммунистов. Тоже час болтал. У детей вообще глаза потухли, им уже ничего не хочется. Ты представляешь, представляешь? — Шалухин стал дергать Багрова за рукав.

Ну, тут я встал и говорю: «Я вам про политику ни слова не скажу!» Анекдот сперва рассказал, потом стал стихи читать. Смотрю, оживились, стали вопросы задавать. А Ноля и Волшебнова ни о чем не спрашивали. В общем, на ура прошло.

Так что потом мы опять поехали в столовую, повеселились, эта женщина, что чебуреков нам дала, оказалась моей знакомой, лет пятнадцать назад мы с ней гуляли в одной компании. Она сказала, что с тех пор меня и помнит, не забывает.

Утром просыпаюсь с бодуна, голова трещит. Забегает Ноль: «Давай, поехали». Я на него фунт презрения, пошел в магазин, купил чекушку, колбаски. Прихожу в гостиницу, а там Ноль встречает меня внизу и говорит: «Я ваш номер уже сдал, вот вещи. Иди в машину». Мы с Волшебным просто упали (он, оказывается, ходил покурить). Злые, как черти, вышли на улицу, сели в машину. Никто не завтракал, только Ноль, оказывается, поел. Он так наивно и говорит: «А я уже встал-то давно, картошечки сварил, покушал». Вот козел! Ну, поехали, значит. А в тот день метель начиналась. По радио вообще предупреждение всем объявляли. Ну, едем, доехали до КПМа, и гаишник нас: «Ехать дальше нельзя, там заносы». «Поехали, поехали» — нудит Ноль. Ну, поехали. И что ты думаешь? — опять стал дергать за рукав Шалухин. — Проехали километра два и остановились, там все снегом занесло. Злые, как черти, поехали назад. Доехали до гостиницы, а там наши номера уже нам не дают, говорят, приехала какая-то делегация. Ну, тут Волшебнов стал красный, как дьявол, побежал в администрацию, там у него друзья еще по обкому были. Прибежал назад еще злее. Я думал, что он сейчас лопнет. Волшебнов и говорит администратору: «Два номера». И дали. Из администрации позвонили, чтобы дать.

Заселились. Три дня там сидели, три дня метель мела, и три утра подряд в семь часов забегал Ноль и кричал, что он сдал номера и пора ехать. Вот скотина!

Наконец на четвертый день мы поехали, метель утихла. А за уральским хребтом и встал! Все эти дни Ахмет бурчал: «Надо купить новую камеру». Деньги были у Ноля, но он их не давал, мол, нечего делать!

И вот мы в чистом поле без колеса. Сидим. Час сидим, два сидим. А я все эти дни был под газом, там делать же нечего. И вот я дал им дрозда, четыре часа ругал Ноля самыми последними словами. Материл и в хвост, и в гриву. И за то, что он коммунист, и за то, что он старый зануда, и за то, что всех ненавидит. И все это время он молчал!

Потом возле нас тормознул какой-то жигуленок, у него оказалась лишняя камера-запаска, и вот мы доехали до Сибая. Там утром я просыпаюсь, а никого уже нет. Оказывается, Ноль сказал, что я уехал поездом! А сам, видишь, приехал еще в пятницу и нащептал Андрониду, что я бросил их. Вот как отомстил мне. А я же там без денег, мне же надо как-то добраться до дома. Ну, я пошел в местную администрацию, объяснил, в чем дело, и мне отметили командировочный, отправили в гостиницу. А на следующий день глава ехал в Уфу, и взял меня с собой. Мы с ним всю дорогу болтали. Он дал мне свою рукопись и попросил ее отредактировать.

33

Шалухин делал круглые глаза, ухмылялся, хихикал, в патетических местах хлопал Багрова по плечу, подмигивал, в общем, весь отдался рассказу. Багров вел себя соответственно — хохотал как лошадь на маппетшоу, бил себя по ляжкам, хватался за живот, обнажал зубы, тронутые самым страшным врагом россиян, у которого как назло была еврейская фамилия, в общем, веселился от души.

Наконец веселия стало через край, и, как всегда бывало в таких случаях, Шалухин замолчал. Но молчал не так страшно, как он это делал иногда, когда только по глазам можно было понять, что он жив, наткнув-

шился на мертвенный взор. Замолчал он от огорчения, от обиды, от детского сознания, что его провели, подставили, облапошили на ровном месте и сделать с этим ничего нельзя. «Ведь скоро уже полтинник, а с ним все еще не считаются все эти пидарасы», — видимо, думал он. И теперь только смотрел на Багрова, а Багров, как всегда в таких случаях, не знал, куда себя девать, что говорить, что делать, как выйти из такой ситуации. Говорить, что Ноль старший вурдалак, что он со всеми поступает не иначе, было бессмысленно, потому что Шалухин-то знал, что он не все, что он Шалухин! И с ним поступать нечестно есть нечестно в высшей степени, это такой страшный удар по карме, что хуже не бывает. Багров, судорожно изображая сочувствие, незаметно увлекся и сам чуть не впал в депрессию, воображая, что это его обидели, что это с ним обошлись несправедливо. «Нехорошо это», подумал он. Впрочем, какая-то здравая часть ума уже подверстывала ему разные сведения, выстраивая цепочку, в которой все люди время от времени, словно петляя по жизненному пути, с размаху ударялись то об одного, то о другого человека, которые торчали, словно острые колья, врытые в землю в неподобающем месте. Оцени свою жизнь как череду конфликтов с таким людьми и получится, что всякий раз, как только ты думаешь, будто начал жить и все у тебя получается, на пути появляется как дорожный столб вот такой человечек и пронзает тебя, летящего, железной арматурой, торчащей из бетона. Багров припомнил, как в школе деревенский сорок лет, а то и больше преподавал учитель по кличке «Мосол». Его ненавидели все, Багров подзревал, что с самого первого дня работы. И что же? Он так и отработал свои сорок с лишним лет в этой школе. Размышляя об этом, Багров в общем-то уже был склонен ностальгически прощать таких людей. Тем более что жизнь их наказывала сама. При чем как-то, даже на взгляд Багрова, сверх меры. Тот же Мосол потерял своего единственного сына, который только-только закончил техникум. Пошел на танцы, а утром его обнаружили висящим в петле их маленького сарайчика на задворках. Что с ним случилось — вообще то проще пареной репы. Его отвергла девушка, которую он любил. Но обычно люди в таких случаях мучаются, да и только. А этот жил в атмосфере, пафосно думал Багров, в атмосфере ненависти к его отцу. Жить с сознанием, что твой папаша ублюдок, в общем-то, не сахар.

Багров, блуждая взглядом, вдруг обнаружил, что Шалухин со страшным любопытством рассматривает его. Багрову стало не по себе, словно кто-то поймал его за чем-то чудовищно предосудительным типа ковыряния в носу. Он издал недоуменное мычание, которое можно было интерпретировать, как «чего уставился?»

— Все нормально, — ласково сказал Шалухин, — просто ты только что был здесь, и вот уже куда-то поплыл, писатыл...

— Сам ты писатыл, — буркнул Багров, но уже улыбаясь. — Пойдем сегодня в театр «Нур», — вдруг выпалил он, видимо от сознания, что все обошлось так хорошо, все живы и ничего особенного делать с этим не надо. — Там сегодня спектакль «Роковая тайна». Пойдешь?

Но спрашивать, вообще-то, было бесполезно. Шалухин не ходил в местный театр, он вообще в театр не ходил. Бросил взгляд на часы и, нахмурившись, он заторопился.

— «Огонек» работает без перерыва, — ехидно сказал Багров.

— Ууу! — сделал зверскую физиономию Шалухин. — Ты на кого тянешь? На родного отца тянешь?!

Багров засмеялся, на душе было хорошо, он смотрел, как удаляется Шалухин по лестнице дома Печати, уходя вниз, и, в общем-то, ни о чем уже не думал.

Штаб вооруженного восстания в Уфе располагался на Новостройке. Это был район, в котором впервые после хрущевского строительного бума стали снова строить дома. Когда-то, лет двадцать назад это была страшная глухомань, окраина Уфы. С тех пор пролетела куча времени. Район был обжит, стал даже престижным. Но все же все эти годы возле Сутолоки, на той стороне оврага, в котором журчала эта городская речка, давным-давно превратившаяся из быстрого ручья с пузырями на стремнине (откуда и название, хотя скорее от башкирского «хью») в обыкновенный поток грязной воды, омывавший или, говоря точнее, оставивший по пути своего следования всякую всячину из таблицы Менделеева.

С правой стороны шумел сороковой завод, на котором производилось что-то строго секретное на благо социалистической родины, а слева понемногу гнил остов будущего кинотеатра, в котором, как обещали когда-то, новая, уже коммунистическая молодежь должна была смотреть коммунистические же фильмы. Однако началась перестройка, коммунистическая молодежь забила на коммунизм, предавшись зарабатыванию денег и разворовыванию своей страны, а на месте остова-фундамента странным образом возник татарский театр, в котором лет через пятьдесят по такой же странной логике должен был разместиться штаб вооруженного восстания.

Троллейбус свернул с проспекта, благополучно миновал развороченный участок дороги, — здесь велось строительство первой в Уфе дорожной развязки, и почти минуту ехал мимо сорокового завода, а точнее обыкновенного серого забора, за которым могло быть что угодно. Раньше и правда был завод, а теперь он практически не работал, так что бывшая многолюдная остановка «Ростовская» потеряла свое значение.

Четыре минуты по ущелью, образованному глыбой завода и жилыми домами с другой стороны, троллейбус вырвался на оперативный простор — впереди была Новостройка. Лет тридцать назад здесь был пустырь, именно здесь началась в то время массовая застройка, образовался первый в Уфе спальный район. За многие годы краска облупилась, девятиэтажки почти утратили желтизну правительственных зданий, как сказал бы один шегол, но все еще бодро смотрелись посреди остатков дремучего леса, выходявшего одной стороной к оврагу, в котором темнела пойменная речушка Сутолока. Да, когда-то из нее пили удалые стрельцы, обитавшие в игрушечном деревянном кремле ниже по течению, хорошем месте для приема необременительной дани, возложенной на окрестных башкирцев. С тех пор многое изменилось, много воды утекло в Сутолоке, так что она поменяла свой цвет с хрустально-белого, пузырящегося по всему течению, на темный, отливающий радугой бензина. Пить из нее теперь было невозможно, но сливать отходы — это было пожалуйста, и теперь текли в нее веселые ручейки с того же сорокового завода, да и всех предприятий и домов вдоль оврага. Багров, которому услужливая память журналиста вечно подбрасывала истории, которые не прошли в печать, вдруг вспомнил, что на этом самом заводе случилось как-то, что в каком-то цеху уборщица пришла на работу со страшного похмелья. Разумеется, это не повод отлынивать от своих прямых обязанностей, и потому она стала наводить порядок в своих владениях. Пара огромных гальванических ванн все еще была полна какой-то бурой жидкостью, которая к тому же оскорбляла эстетические чувства милой дамы. Она нащупала це-

почку, на другом конце которого была пробочка, рванула ее на себя и... жидкость из ванной устремилась в сливное отверстие, затем по темным трубам с вековой слизью она попала в коллектор. Минута, другая и вот уже ее приняла Сутолока, которая понесла эту жидкость к Белой реке, в которую она впадала возле монумента Дружбы.

Вместе с этой жидкостью в реку уплыли и шестнадцать килограмм золота, растворенного в гальванических ваннах, приготовленных для покрытия специальных инструментов для космического заказа. Он был аннулирован, руководитель проекта, без пяти минут доктор, так им и не стал, завод практически перестал работать, высадка Советов на Луну была остановлена, а затем была свернута и сама космическая программа. Такова роль бодуна в истории.

Эта история, разумеется, не попала на страницы местной прессы, Багрову ее рассказали как курьез, опустив фамилию уборщицы, и вот теперь всякий раз, когда он проезжал мимо завода, он вспоминал об этом случае и думал о том, что истории, которые не получили своего логического завершения, продолжают мучить людей, пока наконец не обретут покой в каком-то особом мире, мире, который еще не имеет названия. Отчего же, думал Багров, истории, которые были рассказаны в газете, забывают на второй день? Не есть ли газетная страничка тот самый пропуск в тот самый мир, который если не история, то что-то близкое к этому? Не найди ответа на этот, как и другие вопросы, он потянул ручку татарского театра «Нур», в который, собственно, и пришел на спектакль.

Огромный театр был все еще недостроен, но малый зал уже «функционировал», это словечко выскочило из памяти, когда Багров топал ногами, стряхивая со своих зимних ботинок налипший снег и глядел на недалекий дом по улице 50 лет СССР. Когда-то там жила его тетка, покойный дядя и двоюродный брат. Он и рассказал Багрову анекдот, в котором было это слово. Все это вихрем прошелестело в мозг, словно мокрая пометка по асфальту и даже не успел ничему удивиться, как уже стоял перед строгой администраторшей, которая требовала от него билет. В пяти или шести словах Багров объяснил, что он журналист, а журналисты в театры ходят на работу, то есть бесплатно. Неизбалованная вниманием прессы администраторша пришла в глубочайшее недоумение, мысль о том, что в театр на работу ходят не только актеры, режиссеры, директор, осветители, завпостом и секретарша директора была ей настолько в диковинку, что она застыла, словно робот из фильма, получивший два взаимоисключающих приказа. Микросхемы головного мозга стали опасно перегреваться, однако в этот момент сработала системы аварийной защиты, которая в просторечии именуется жизненным опытом.

— Падаждити, пажалуста, директор скоро придют, — сказала она и отошла к своим товаркам жаловаться на башкирском диалекте на городских, которые хотят пройти в театр на халяву, по-русски если сказать, «бесплатна».

Багров расстегнул пальто, снял шарф, прошелся из стороны в сторону, наблюдая великолешие, с которым был отделан театр. Теперь в Европу ехать не было смысла, евроремонт пришел к нам на дом, думал он. Что за радость ехать за тысячи километров, чтобы пройтись по такому же кафелю, каким отделан театр «Нур»?

Становилось все жарче. Багров снял пальто, обхватил его левой рукой, как ребенка, стал медленнее прогуливаться по предбаннику театра, рассмотрел кассу, аккуратную татарскую девушку, которая сидела в не-

большом окошечке, тихонько напевала, улыбалась. Заметив, что ее разглядывают, она моментально смела улыбку с лица, придав ему жесткое, неприязненное выражение, сразу же постарев лет на пятнадцать.

Багров рассматривал людей, которые шли в театр, заходили один за другим, было ясно, что он словно дом родной, мельком взглянув на Багрова, радостно бросались друг к другу, хлопали по плечу, улыбались, начинали громко, не стесняясь рассказывать о семейных проблемах. («Марат пьет вторую неделю», «Роберт купил Жигули, и откуда у него деньги?» «Римма съездила в Чекмагуш, два дня, как вернулась»...). Наконец они шли к администраторше, показывали ей билетик и проходили внутрь. Было ясно, что билеты были куплены заранее, что премьеру эту они ждали, и Багрову стало даже как-то неловко стоять с кислой физиономией, когда в этих людях столько радости, столько живой энергии. Они были похожи на самые разномастные игрушки, какие только достаются ребенку в его жизни. Давно заброшенные, они нашли что-то другое для забавы, и счастливы, и живут, ни о чем не задумываясь, просто отдаваясь чужой воле.

Багров решительно нахлобучил шапку, надел пальто, неловко бросил шарф на шею и вышел на улицу размять ноги в ожидании директора. Пройдя шагов десять, он все же решил дойти до остановки, а там уже обдумать, оставаться на спектакль или нет. До дома минут семь ходьбы, так что это не вопрос, но все же.

Багров смотрел через овраг, в котором угадывалась Сутолока, на сороковой завод и думал о том, что театр построен в стратегически великодушном месте, именно здесь будет штаб вооруженного восстания. Теперь он и сам был словно игрушка, в которую вонзили мысль, постороннюю сознанию, но которая дает какое-то странное возбуждение, ощущение причастности к большому делу после стольких лет забвения. Он стал мысленно расставлять посты и доты, а возле дороги, которую перегородили перевернутый троллейбус и несколько сожженных, видимо, чеченских джипов, встала артиллерийская батарея, на чердаке театра засели восемь снайперов, которые простреливали пространство между ним и сороковым заводом. Лесок за театром был заминирован, обрывки знаний, полученных на военной кафедре сельхозинститута, перекачивались в его голове, словно шарики от изувеченного подшипника — накатываясь друг на друга и скрежеща.

— Багров! Ты что, меня не слышишь, что ли?

У обочины дороги тормознул дорогой джип, из тех, что потоком мчались в сторону торгового центра «Башкирия». Словно у жука на теле, у него появилось множество крыльев, и оттуда посыпались боевики с автоматами наперевес. Один из них замедленно побежал к Багрову — также медленно открывая рот и размахивая руками. Пока он шел, слова один за другим, переваливаясь лениво на воздушных ухабах, долетели до Багрова и тяжело и щекощуще, как шарики, один за другим перекатились ему в ухо:

— Ты что, глухой? Кричу тебе, кричу!

Багров мотнула головой и наваждение исчезло. Перед ним стоял Юнусов.

— Ехал мимо, смотрю — стоишь. Ты что тут делаешь?

— Да вот, в театр пришел, — сказал, не задумываясь, Багров и тут же пожалел об этом, потому что теперь он уже не мог не пойти на спектакль, словно это была клятва, стянувшая его пластиковыми обручами, какими бывает упакован товар в магазине. Это был тот самый момент, когда опыт лжи, который так тяжело приобретаешь и который так выручает в жизни, не срабатывает, и приходится отдуваться по полной.

Багров устало рассматривал стоящего перед ним Юнусова, который был теперь в ипостаси бизнесмена, и весело рассказывал о том, как вычислил работягу, который воровал у него бумагу.

— Представляешь, он поддельвал программу учета! Добавлял задним числом, приписывал к реальным заказам, — улыбался Юнусов, довольный тем, что ему удалось побывать в роли сыщика, причем успешно. — Ну, я сверил реальные квитки с тем, что в компе, все и выяснилось.

— И что с ним теперь? — выдавал из себя Багров, — с этим воругой?

— Ничего, отрабатывает! — улыбнулся Юнусов. — Мы же не звери.

Обмен информацией занял какое-то время, наконец они как-то радостно попрощались друг с другом, словно на этот раз оба были в руках безжалостных кукловодов, которые вертели ими, как вздумается, заставляя играть роли. Еще немного, и пленка обаяния начала бы таять, обнажив следы беспощадного времени на лицах, руках, очертаниях тела.

— Постой,— сказал тут Багров. — А как там карасик поживает?

— Какой карасик? Ах, да, — улыбнулся Юнусов, уже сделавший пару шагов обратно к машине, но затем возвращаясь. — Жив, представляешь! По ночам выползает, хаает что-то. А с щуренком мы аттракцион придумали — повесили табличку — кто купит товара на полторы штуки, сможет покормить щуренка. Ну, клиент запускает какого-нибудь пескаррика, он там плавает, а щуренок в это время лежит себе как бревно. Потом рrr-раз — и хаает!

— Весело! — сказал Багров.

— Ага, — сказал Юнусов, подмигнул и пошел к машине.

Делать было нечего. Багров поплелся к театру. Времени было уже почти семь, и потому директор, который только что встретил каких-то важных гостей, стоял у входа. Багров подошел к нему и объяснил, в чем дело. Директор, видимо, понимал, что такое пресса, и потому без разговоров пропустил Багрова в зал. Пробежав гардероб, в котором он оставил свое хасидское пальто, шапку и шарф, затем миновав предбанник с огромным буфетом, Багров поднялся в зал. Он уже был полон, свет гас, и пришлось в полутьме пробираться в конец зала, где Багров заметил пару пустых кресел. Наконец заиграла гармошка, послышалось уханье оркестра, и спектакль начался.

35

«Странная цепь событий, которая привела меня в этот зал, не поддается логике,— думал Багров. — Миллион событий должно было произойти, чтобы я оказался здесь. Надо было родиться, учиться, работать, и наконец в этот самый момент оказаться в театре, видеть склоненные головы людей, словно присевших на завалинке, чтобы с любопытством наблюдать, что творится у соседей за плетнем. Разве только чувство приличия не позволяет им вскочить с места и закричать: — «Эй, Аниса, ты что делаешь? Разве люди так поступают?!»

Багров безразлично смотрел на сцену, где как раз и разворачивалась очень простая история, и люди в ней были очень простыми, без всяких затей, вот только горе пришло к ним в дом, горе, которое наложало на них свой отпечаток, однако же ведь и не более того. Умерла мать, глава семьи, и остался родовой дом, навестить который приехали из города две ее дочери. Живут в том доме вдова старшего их брата и сын их, теткам племянник.

Багров перевел взгляд в зал, он уже малость подустал от крикливых голосов, какими изъясняются только дети, люди в деревне и актеры на

сцене. Можно было подумать, что-то случилось. Да нет, вообще-то ничего. Багров припомнил, что спектакль называется что-то вроде «страшная тайна». Было ясно, что кто-то ее разгласит и от этого пойдут все неприятности. А вот и главный кандидат — нахаальная тетка, которая со всеми разговаривает пренебрежительно. Собственно, ему и самому хотелось бы, чтобы в жизни все стало ясно, как дважды два, с каким удовольствием он провел бы жирную, с кровавой подкладкой черту, которая поделала бы мир на две неравноценные части, как это делала нахаальная тетка — яркую сцену, на которой такой сытый и восторженный мир и темный зал со склоненными головами шахматных пешек. Это искушение и было искушением, от которого отказываешься не потому, что не можешь этого сделать, а потому, что это тебя странным образом не радует, как если бы жизнь после этого кончилась, и останется только одно — полет в пропасть. Задумываясь о том, ради чего он живет, Багров с каким-то странным недоумением обнаруживал, что на самый важный вопрос в жизни как раз нет ответа. Какого тогда черта его учили, какого тогда черта с ним возились в той же школе, институте, когда оказывается — можно думать что угодно и делать что угодно? В конце концов есть инструкция, как пользоваться уютом, но инструкции, как пользоваться душой, предметом куда более опасным, просто нет. И это было искушение похлепце предыдущего, потому что, отыскав инструкцию для себя, ты непременно станешь искать инструкцию для других.

«Блин, я так и думал! — воскликнул мысленно Багров. — Все оказалось просто — племянника, оказывается, старший брат с его женой усыновили! Вот какую страшную тайну хранили эти люди, все обо всем знали, только молчали. Кроме, разумеется, тетки, которая в порыве неудачного шантажа (домик старенький, однако денег стоит) все и выболтала». Багров улыбнулся своим мыслям, довольный тем, что все угадал правильно.

— А! А! — заволновались люди в зале, задвигались. — Билят! — яростно вздохнул сосед Багрова, он тоже не знал, что бы такого плохого сделать с этой глупой стервой. Не знали, что делать, и актеры на сцене. Они как-то недоуменно переглядывались между собой, словно в высоком собрании, в обществе лордов кто-то сказал неприличное слово. В комедиях в таких случаях смеются, но это была трагедия. Думая об этом, Багров решил, что сейчас они все рассыплются, не в силах посмотреть друг другу в глаза. Однако он ошибся — убежал только пацан, а все остальные, видимо, нахватавшись городского воздуха, принялись наседать на стерву.

— А что я такого сделала? — отбивалась та. — Все знают, что это такое, я и сказала.

Видимо, этого было мало для трагедии, и потому из-за кулис раздался жуткий крик. Дело было ясное, пацан не выдержал тяжести удара и использовал поясной ремень по назначению драматурга...

Багров с удивлением и даже какой-то странной радостью вдруг заметил, как в воздухе сгустились краски, только что бывшие яркими, сочными, и на его глазах из света рампы, из полутьмы зала вдруг появился черный, с тяжелым металлическим отливом небольшой шар. Несмотря на массивный вид, он оказался легким — словно надыханный воздухом, тонкие его стенки дрожали, пузырились волдырями, и видимо, повинувшись действию сил внутри него, он плавно, но при этом какими-то скачками стал двигаться вглубь зала. Люди, зрители словно пораженные в самое сердце, застыли в самых нелепых позах, какие бывают у актеров на фотографиях — рты открыты, гримаса искажила лицо, глаза рыбы, вылезшие из орбит...

Шарик все так же, бочком, бочком, полетел к середине зала и закружился на месте, словно выбирая себе дальнейший путь. Полутьма тем временем сменялась каким-то странным светом, какой-то необычной интерференцией, и весь зал пересекли световые лучи разной интенсивности, словно в клей кто-то воткнул миллион спичек, и они застряли в нем. Однако этот клей не был преградой для шарика, он вдруг легко скользнул вниз. Багров приподнялся на месте, чтобы посмотреть, что с ним случилось, и увидел, как он замер возле самого темечка какого-то зрителя и затем плавно скользнул внутрь головы, словно в ней было отверстие, для него и предназначенное.

Насколько мог видеть Багров, это был молодой человек лет восемнадцати, коротко стриженный, одетый в пиджак, в котором он чувствовал себя неудобно. Быть может, это был его первый поход в театр, потому что рядом с ним сидела какая-то тетка, должно быть, его мать, которая наклонялась к нему поминутно, что-то растолковывая, объясняя, спрашивая. Секунда, другая, и вдруг Багров увидел, как молодой человек стал меняться, как меняется гвоздь, опущенный в раствор медного купороса. Вдруг неизвестно откуда на нем стали проступать пятна металлического оттенка, что и шарик, и молодой человек на глазах потяжелел, прогнулся, словно ваили в него этой меди. Метаморфоза захватила Багрова, теперь весь зал был для него освещен этой игрой света, вдруг он признался самому себе, что хотел повторения того, что случилось в зале русского драмтеатра, потому и пришел, потому и сидел терпеливо, несмотря на то, что творилось на сцене. О, еще в деревне надоели ему эти вскрики родни, поминутное влезание в душу, словно человек здесь есть не самостоятельное существо, а продолжение других, и как можно войти к соседям без стука, так и в мыслях можно разве что не ночевать, распоряжаясь, как у себя дома.

Приступ злости, который одолел Багрова, почти прошел, когда он увидел, что молодой человек, словно машина, только включенная после ремонта, стал неловко подергивать плечами, ежиться, очевидно, чувствуя себя неловко. Затем он стал подниматься, но сделал это с такой тяжестью, словно груз, навалившийся ему на плечи, был велик и ужасен. Вслед за ним стали подниматься и другие зрители, и Багров перевел взгляд на сцену. Там уже свет зажегся, и актеры сбросили с лиц маску отчаяния, и молодой человек со следами кожаного ремня на шее тоже появился, улыбаясь приветливо, как полупьяный чеченец, принимающий дома важного гостя из Москвы.

Шум, треск аплодисментов, истерические крики «Афарин!» полетели в воздух, как шрапнель, на сцену, шатаясь, вылез автор пьесы — здоровенный мужчина с лицом обиженного младенца, аплодисменты чуть искажали это выражение в сторону радости, затем появились директор, режиссер, художник и все перешло в обычную для провинциального театра натужную радость.

Наконец пополз вниз занавес и люди устало, с недовольными лицами пошли к выходу. Какая-то тяжесть лежала у них на лицах, хотя они были возбуждены, как бывает возбужден человек, побывавший в родных краях, увидевший многих, кого давно не видел, с кем связано самое святое в мире чувство — память прошедшего детства.

Терпеливо выстояв очередь, Багров выскочил на улицу и первым же движением натокнулся на того самого молодого человека. Лицо его показалось Багрову странно знакомым, и он перевел взгляд на спутницу. Это была Ж., соседка по общежитию, с восьмого, кажется, этажа. Багров откуда-то ее знал, по меньшей мере, всегда здоровался, что не преминул сделать и сейчас.

— Сын вот приехал, — сказала соседка. — Познакомься, Артур.

Молодой человек, которому теперь, при неверном свете фонарей Багров дал бы лет тридцать, нехотя, бочком протянул руку. Какой-то младенческий воск лежал на его лице, младенческая восторженность и стеснительность руководили им, и это так странно контрастировало с той метаморфозой, что случилась в зале и уже наложила на него свой отпечаток — тусклый, серый, безжизненный.

— Багров, ты куда, зову тебя, зову, — раздалось из-за спины. Это был Рапиров, отсутствию его Багров как раз удивлялся на протяжении всего спектакля.

— Извините, до свиданья, увидимся, — пробормотал он, разрушая неловкую паузу, и как-то облегченно вошел обратно в фойе театра.

— Пойдем бухать, — не стал церемониться Рапиров. — Я тут решил уволються, надоело мне.

— Пошли, — сказал Багров, тем не менее понимая, что водку пить он не будет. Что-то ему мешало, скорее всего, было жалко заливать чувство, что прикоснулся к тайне — величественной и вместе с тем ужасной. Лицо этого молодого человека, этого Артура... Что-то с ним было не так, хотя ничего особенного Багров в нем и не заметил. Ладно, подумал он, разберемся, и уже веселым пошел в рубку к осветителям.

36

В глазах словно резкость навели, и грубая фактура окружающих его предметов приблизилась к Багрову. Такое с ним всегда случалось после второй рюмки, ее он все же выпил, несмотря на уговоры, на которые он не поддавался минут пятнадцать. Комната, большая часть которой тонула во мраке, была освещена парой лампочек с тонирующими абажурами, и потому казалось неким убежищем от проблем окружающего мира. Багров поймал себя на мысли, что начинает говорить фразами из американских боевиков (У вас есть план, мистер фикс? А, нет у тебя плана! Ты имеешь проблему!), что с ним всегда происходило при крайней степени усталости. В конце концов, он с утра на ногах, эта работа, потом этот спектакль, а он еще не ужинал! И Багров потянулся к паре сырков, которые еще уцелели на импровизированном столике из газетки.

Развернув сырок и погрузив язык в его влажную мякоть, он вдруг понял, что рядом кто-то есть. Скосив глаза, он увидел никого иного, как Шапиров, а рядом с ним его напарника, худого безьянного парня. Проглотив уже сырок, Багров выпрямился. Он почему-то все еще был в театре «Нур», в комнате осветителей.

— И вообще, — злобно продолжал Рапиров, видимо, это была не десятая даже реплика. — Какого черта мы тут все паримся, работаем. Все равно нам званий никто не дает, на сцену не вызывает, цветов не дарит.

— У тебя работа такая, — сказал худой парень, который сидел в тени и появлялся только для того, что подставить стакан под водку.

— Не только ты имеешь проблему. У нас тут собрание было в доме печати, — Багров не узнавал своего голоса. Он был какой-то нудный и даже неприятный. — Так шофера на полном серьезе наезжали на журналистов, типа, они тоже ездят по этим командировкам, а им никто не платит гонорара.

Из темноты снова появилась рука со светлым полукругом стакана. Рапиров нервно булькнул в нее, и стакан втянулся обратно. Послышался характерный звук, затем чавканье.

— Я тут хотел, чтобы меня поставили старшим осветителем, а они! Э-эх! Восемь лет на них потратил! — неожиданно сказал Рапиров, и это, видимо, окончательно добило Багрова, который тоже не испытывал особых восторгов по поводу своей работы. Перспектива, что его труд оценят, была весьма и весьма туманной. Он молча взял стакан, который одиноко блеснул своей чистотой и протянул его Шапирову. Тот внимательно посмотрел на него, почему-то левым глазом, скосив голову набок, отчего стал напоминать фотографию Мустая Карима в шестидесятые эдак годы.

Багров уронил в глотку содержимое своего стакана, издал что-то нечленораздельное и стал усердно жевать кусочек хлеба, чудом обнаруженный на газетке. Подняв глаза, он увидел, что сидит напротив не кого-нибудь, а самого Мустая Карима образца конца тысячелетия.

— Ты смотри, — сказал улыбчивый Мустай-агай. — Я с каждым не пью.

— Я тоже, — пробормотал Багров, и улыбчивый аксакал засмеялся. Они чокнулись, выпили, повторили.

На какой-то из рюмок Багров обнаружил, что стоит на сцене театра «Нур», на которую он неведомо как попал из квартиры Мустай-агая. Повертев головой и щурясь от яркого света, в котором было еще и жарко, он расстегнул воротник рубашки и в какой-то момент понял, что это Рапиров решил напоследок продемонстрировать ему чудеса светотехники.

— Что за хрень! — стал ворчать Багров, перед которым расстиался пустой зал, — Я же и так знаю, что ты мастер своего дела. Кто, думаешь, в статьях про театр «Нур» всегда пишет — зато работа осветителей выше всяких похвал?

Однако Рапиров вовсе его не слушал, на сцене тем временем началась целая какофония света, а когда она вдруг погружалась в темноту, то через секунду снова сменялась взрывами синего, красного, фиолетового и еще какие там бывают миллионы цветов и оттенков, словно бы для того, чтобы напоследок продемонстрировать умение, которое столько лет лежало без признания. Яркий луч неизвестно откуда ударил в глаза, словно зенитка, установленная на крыше, заряд достиг невидимого фантома где-то высоко в небе и разразился целым фейерверком полуотомного взрыва. «Горит, горит, сучий потрох!» закричал кто-то в зале, и Багров, который испытывал какое-то странное чувство небывалой полузабытой радости, подскочил на месте с задранной головой, отчего чуть не свалился на сцену, на которой, кроме него уже были еще два человека, которые весьма неизвестно откуда. Один был осветитель, но кто был еще один? Мустай-агай? Понять это было невозможно, да и не нужно. Может, он проник в зал, привлеченный этой какофонией?

Застрочил крупнокалиберный пулемет откуда-то со стороны сорокового завода, его пули, крупные, словно металлические майские жуки энергично перемахивали овраг Сутолоки и мягко впивались в штукатурку театра, обнажая кирпичную кладку, которая вздрагивала от подобных затрещин. Ухнул гранатомет, прожужжала «Игла», улетая в небо, навстречу далекому вертолету, на котором уже молились своему подземному покровителю перепуганные негодяи.

Наконец, какофония развернулась вовсю, и уже не было понятно вообще, кто наступает, кто отступает, кто террорист, а кто морской пехотинец, все перемешалось в этом праздничном сабантэе. «Есть упоение в бою! — кричал тем временем Багров, только теперь понимая Пушкина, — И бездны тайной на краю!»...

Резко, словно бы включили светофильтр, все яркие краски погасли, на их месте оказались полосы и разрывы темно-серого цвета, и среди них Баг-

ров с удивлением увидел огромную, в полнеба вереницу шариков, летящих наподобие новогодней гирлянды, свисающей с красавицы елки. Присматриваясь, Багров обнаружил, что они куда больше размерами, это во-первых, а во-вторых, они вовсе не были шариками, это впечатление было самым первым и самым, как стало понятно, ошибочным. Это были диски, феерические диски! «Оба-на, — подумал Багров. — Инопланетяне! Я вижу инопланетян!» Он потянул было руку, словно пытаясь схватить какой-нибудь из дисков. Это была последняя его мысль, потому что в следующую секунду гирлянда с неба со страшной силой качнулась в его сторону.

37

Так устроена жизнь, что всякое событие, разворачиваясь перед человеком, в какой-то момент переполняет его чувства и разум, так что последние и вовсе отказываются ему служить, как если бы некто, блуждая по коридорам небоскреба, попадая из одной комнаты в другую, полную таких же мелких завораживающих предметов, останавливающих внимание, вдруг вылез бы на крышу и увидел великую бездну, пустоту неба.

Великая ненарушаемая ничем пустыня неба! Во тьме, развернувшейся перед нами, мириады огоньков, сколько соковок предстает глазу, сколько мыслей переполняют разум! Сколько бы ты ни жил, в каком бы ты ни был возрасте, только подними глаза — и снова пред тобой вечная тайна, невообразимое искусство небесных светил, každоночно транслирующих одно и то же, полное глубочайшего смысла и все же до сих пор неразгаданное представление! Каждый видит в небе ответы на свои вопросы, каждый отыскивает здесь последнее свое утешение, словно от мириадов взглядов, которые вонзаются в него, небо становится только лучше, только глубже и бездонней. Завороженный, успокоенный этой картиной, человек забывает о том, что окружает его в повседневной жизни, забывает о себе, о своих человеческих параметрах и словно парит в воздухе, в котором все легко, все возможно. Он теперь ангел. И не стоит его разубеждать в этом, все равно ничего не получится, да и кто захочет это сделать, когда вокруг...

38

Багров, который только что был в театре и отбивался от налета вражеской инопланетной авиации, никак не мог понять, отчего он вдруг очнулся у себя в кровати в комнатке общежития на бульваре молодежи. Вывел его из состояния иномирного отчаянный стук в дверь его комнаты. Да нет, это не менты и не Сиваков, знаменитый уфимский поэт, живущий на третьем этаже, это только они любят стучать молодо, задорно, с полной уверенностью, что их ждут, любят и не спят ради них в любое время суток.

Центр тяжести, переместившийся в голову, отчего ее приходилось удерживать специальными усилиями, не позволяя Багрову идти достаточно быстро, поэтому, когда он, протиснувшись мимо холодильника, который стоял в проходе, все же открыл дверь, он никого за ней не увидел. Выглянув, он заметил соседку Ж., которая в полном отчаянии удалялась вдале по коридору.

— А-а! — только и сказал Багров пересохшим горлом, но этого было достаточно, чтобы Ж. его услышала, стремительно повернулась и также стремительно пошла к нему.

— Срочно идем ко мне, — сказала она отчаянным шепотом.

Ее бледное, остановившееся лицо ужаснуло Багрова. Кровь отхлынула, мозг задышался, не в силах справиться с подступившей бедой, а в том, что дело обстоит именно так, сомневаться не приходилось. Багров только моргнул и стал нащупывать ногой ботинки, которые служили ему домашними тапочками. Нащупав их оба и воткнув в них босые ступни, он пошел вслед за соседкой на третий этаж.

Было ясно, что случилось нечто, потому как, чем ближе к третьему этажу, тем больше попадалось навстречу людей, выбитых из повседневного ритма, словно кто-то провел по ним шершавой перчаткой и стащил с лица маску ежедневного равнодушия, обнажив то, что было под ней — страх, ужас, отчаяние, сочувствие, злорадство. Все это читал на их лицах Багров, читал, словно это были горящие мониторы компьютера.

Пред самой дверью обогнали, даже отодвинули в сторону, вошли четыре милиционера самого разного калибра — от лейтенанта до рядового. Они плавно вошли в дверь, словно монеты в отверстие, для того предназначенное, но защелкнуть механизм не успели, и Багров протиснулся за ними.

— А? Где? Кто? Что? — послышалось отрывистое клацание механизма, и менты облепили Ж., которая в один момент пробежала вперед и склонилась над диваном.

— Что это она так неудобно стоит? — подумал Багров и подошел ближе. Между двумя ментами он начал различать что-то белое с какими-то неравномерными красными полосками. Еще один шаг, и белые полоски слились в рубашку, стало ясно, что на диване кто-то лежал. Секунда — и вдруг по белому пробежала красная струйка. Не в силах что-либо понять, Багров наклонился еще и увидел, что на диване лежит сын Ж., что в самой середине обнаженной груди у него образовался родник, из которого толчками выливается что-то красное. И уже последними судорогами мысли Багров понял, что это была кровь. Но откуда у него в груди рана, задался вопросом Багров, которого это зрелище странным образом вдруг привело в чувство. Тут до него дошло, что менты допрашивают этого парня, который лежит перед ними в луже крови.

— Товарищ лейтенант, попрошу вас вывести своих подчиненных в коридор. Вызвана скорая, сейчас пострадавшему окажут медицинскую помощь, и вы сможете задать ему вопросы, — сказал механическим голосом Багров.

Мент обернулся к нему и, как ни странно, что-то резко сказал, его коллеги дружно развернулись и вышли.

Дальше все было как во сне, потому что скорая, как оказалось, и вправду была вызвана, двое равнодушных врачей, один лет сорока пяти, другой совсем еще мальчик, не обращая внимания ни на кого, принялись ловко засовывать руки в тело парня. Наконец старший обернулся и сказал — оденьте его, повезем в больницу. Надо зашить.

Ж. с привычным выражением ужаса на лице ничего не понимала из того, что ей говорили.

— Где его куртка? — чуть ли не на ухо, громко сказала У., соседка с пятого этажа, которая неизвестным образом обнаружилась в комнате. Как оказалось, это она вызвала скорую, и теперь смотрела вокруг, словно врачи были ее собственностью.

— Я, я поеду с ним, — забормотала Ж.

— Не надо никуда ехать, пусть это будет ему уроком, — сказал какая-то женщина с поджатыми губами.

— Ехать надо,— вдруг холодно сказал Багров. — Вы рискуете его больше никогда не увидеть. Обязательно надо поехать.

Эти слова он выговаривал бесконечно долго, и в таком замедленном темпе, что когда сказал последнее, то увидел, как первое слово, словно блин на воде только-только достигло ушей, которым предназначалось, за ним пошло второе, третье и так пока вся его реплика не повисла в воздухе concentрическими кругами на воде с естественным прогалом в области рта, откуда они стали распространяться. Багров видел, что первое слово не произвело никакого впечатления на соседку. Но второе и особенно четвертое произвели какую-то особую работу и ее лицо стало искажаться, с него понемногу стала уходить гримаса равнодушной прогалою и отчаяния, сменяясь обычной тревогой матери— с сыном плохо, ему надо помочь, надо о нем позаботиться.

Свет в комнате, уже побжевавший оттенками и пятнами, в какой-то момент мигнул, и Багров все так же замедленно повернул голову для того, чтобы увидеть, как из головы сына соседки плавно вынырнул тот самый черный шарик. Багров снова удивился метаморфозе, произошедшей с человеком под воздействием этого шарика — лицо парня разгладилось и стало беззащитно-детским, а сам шар (теперь он стал больше) плавно скользнул под потолок и там застыл, словно бы наблюдая за ситуацией. Багров, краем глаза следя за этой странной штуковиной, посмотрел на парня и увидел, что судьба его переменялась. Он и сам не мог понять, что заставило его склониться именно к этим словам. Только что здесь лежал почти что труп, а теперь это был больной, за которым нужен уход, и только. Изображение подергалось, словно на экране телевизора, и Багров ясно увидел, как парень, теперь было ясно, что его зовут Ильшат, после больницы едет в Сибай, женится на девушке по имени Вилюра. У них будет трое детей, младший станет артистом.

Багров перевел взгляд на потолок, шарик висел там, он никуда не исчез, только из абсолютно черного он стал зеркально-черным, и в нем к своему ужасу Багров увидел ни что иное, как другую судьбу этого парня — больница, затем наркотики и смерть через пятнадцать лет. Никакого сына-артиста, разумеется, там не было.

Багров посмотрел на парня и снова увидел сына-артиста, посмотрел на шарик — в нем лежал тот же самый парень, только без никакого сына. В полнейшем недоумении он помотал головой. Не помогло. Тогда он стал яростно чесать затылок, и тут словно бы от этого движения шарик сорвало с места, и он пролетел сквозь потолок куда-то вверх, на четвертый, видимо, этаж. Раздался грохот, какой-то отчаянный приглушенный крик и — словно стены пропустили ее — очень яркая вспышка.

Для Багрова это было так, словно погасили верхнюю люстру при включенном настольном светильнике. Он молча пошел к выходу, потому что было ему ясно, парню уже ничего угрожает.

В голове у Багрова был полный хаос. Мелькали люди, которые брели ему навстречу с самым зверским выражением лица, с ужасом на лице, с неестественным вывертом, Багров их обходил, словно был единственным зрячим в стране слепых. В конце концов, он понял, что это именно так.

И когда он вышел на лестничную площадку, ему навстречу с тем же непередаваемым ужасом на челе шел черный человек. Но какой это был человек! О! Полупрозрачный, словно плоть его пронзали лучи посильнее солнца! И в этом свете слабо отсвечивала оболочка, образуя ясный контур живого или пока еще живого вещества. Когда он подошел ближе (Багров молча стоял, прижавшись к стене, к которой он шархнулся, словно от

взрывной волны), стали видны его внутренние органы — не картинка в кино, а так — слабые контуры, кое-как пунктиром начерченные линии, в которых угадывались кишки, желудок, сердце, легкие и — Багров не поверил своим глазам — словно младенец, жуткая копия человека находилась внутри, в районе сердца и легких.

Он поднял глаза — в голове человека пульсировал черный шар, тот самый! И человек этот все шел и шел — прямо на него...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

39

Черная, отливающая плексигласом ночь стояла вокруг аэропорта «Шереметьево-2». Мрачные, измученные ожиданием тени встречающих толпились тут и там, посверкивая кошачьими огоньками глаз. Время от времени кто-то вставал и, пошатываясь, выходил в ночь, которая очевидно не приносила облегчения, потому что возвращающийся волочил ноги сильнее прежнего, словно не он курил сигарету, а она, как в трубочку, вытягивала из него последние соки.

Наиболее нетерпеливые стояли, прислонившись к стеклу, которым была отделена зона приема, отчего их лица, и так далеко не ангельские, плавно перетекали в нечто уж совсем нечеловеческое, в какие-то пятна Роршаха, и нужен было труд по обратному их перевоплощению.

Офицеры Аэрофлота, послушными манекенами восседающие за стеклом и делающие только им одним понятную работу, не обращали внимания на встречающих. Эта еженощная картина их не смущала. Так, должно быть, привыкаешь к самым ужасными мукам, если видишь их ежедневно и они входят в твою работу как важная, если не основная, составляющая.

Тем не менее был еще один повод не смотреть в темноту — один из встречающих с такой силой прижимал свою физиономию к стеклу, что она превратилась в кричащую гримасу боли и отчаяния — неловко было даже издавшим виды офицерам.

— Хрухуруху хру компании Пан Маракуча из Нью-Авива, — как ни в чем не бывало заговорили невидимые динамики, и просторный холл аэропорта откликнулся гальваническими судорогами судорожно-разбойного движения, которое включало в себя вскакивания, потягивания, пошатывание на часы. Не спеша люди потянулись по одному к залу ожидания и вот уже обступили его плотно, так что мышцы негде было бы проскользнуть, буде она решила это проделать.

В темном чреве зажегся свет, обозначив пустой коридор, в котором, как все поняли, и должны были появиться новоприбывшие.

— Хрухуру хру компании хрухуру рейсом из Рью-Йорка, — продолжали свой диалог динамики, словно участвуя в разговоре с кем-то, чьи реплики не были слышны.

Молодой человек, которому и принадлежала гримаса отчаяния, между тем все так же пристально глядывался в пустой конец освещенного коридора. Никто не появлялся. Никого не было. Была одна пустота. Молодой человек тем не менее смотрел во все глаза, хотя и тщетно — никто так и не появился. Уставившись в коридор, он тупо таращился в пространство, не понимая, куда подевались пассажиры рейса, который только что объявили. Когда он моргнул в сотый раз, оказалось, что несколько человек уже вышли из коридора и уже стоят возле офицеров, которые

досматривают багаж. Удивившись сему обстоятельству, молодой человек на секунду отвлекся от своего отчаяния, но тут же снова предался ему, потому что люди пошли уже сплошной живой лентой. Все как один молчаливые, они шли, груженные какими-то баулами, чемоданами, сумками, выныривая в конце коридора, и тень лежала на них так, словно при материализации их где-то там в небе, на них лежала частица звездного вещества, из которого и создано все на свете.

Молодой человек, видимо, проглядев уже все глаза, наконец увидел кого-то и стал взмахивать рукой, чуть не заехав в лицо соседу, который, как и он, придвинулся к самому выходу и теперь стоял, загораживая путь выходящим арабам и спасаясь от локтя. Те же говорили быстро и неразборчиво, как будто вели репортаж с футбольного матча, исход которого решался прямо сейчас.

Молодой человек наконец толкнул пятывшегося от него соседа, грузного мужчину неизвестной национальности, зато с шестимесячным животом, воткнулся в толпу и выхватил огромный чемодан из рук молодой женщины в джинсах. Второй огромный чемодан она ему не дала, а молча скинула с плеча на меньшую сумку. Молодой человек что-то спросил, но она не ответила, а только кивнула головой за левое плечо. Там обнаружилась девочка лет семи. Молодой человек что-то сказал ей, неловко, с чемоданом и сумкой в руках приподнял ее, и они пошли на выход. Догнав женщину, молодой человек все что-то выспрашивал у нее, все настойчивее и настойчивее, пока не заговорил чуть ли не в голос. Тогда стало ясно, что он спрашивает: «Ты что, не видела, как я тебе махал рукой? Почему ты не ответила?»

— Видела, — нехотя согласилась женщина. — Не хотела, вот и не махнула, — добавила она вдруг злобно, и они пошли дальше. Когда проходили в толпе, девочка, которая уже шла сама, ни к кому особо не обращаясь, словно напевая про себя, вдруг сказала: «А у нас в России лучше». И даже подпрыгнула на одной ножке, словно бы подтверждая эти слова.

Народ хлынул уже рекой, и вскоре молодой человек, женщина и ребенок скрылись из глаз.

Пожилой мужчина неизвестной национальности, придерживая свой живот, помятый в толкучке, все еще стоял у выхода. Наконец из коридора показался большеголовый господин хорошего среднего роста, одетый, словно на светский раут, с небольшим кейсом в руках. За ним, прижимая к груди какой-то баул, чуть ли не падая и не подталкивая в спину, шел чернявый мужчина с пышными усами под острым носом. Это пошел нью-йоркский рейс.

Толстобрюхий не изменил выражения лица, он просто молча двинулся за человеком с кейсом, они вместе вышли из аэропорта и, сделав несколько шагов, молча встали посреди небольшой площади. Через несколько секунд к ним подъехал мерседес цвета мокрого асфальта. Они молча скользнули в него — и машина отъехала.

В аэропорту молча, одна за другой, стали гаснуть лампы — уже практически рассвело.

За окном такси — потрепанной жизнью шестерки — мелькали картины непривычного города, как если бы кто-то выдрал ежедневную звуковую дорожку и вставил какофонию мира, который находится по своему развитию где-то в юрском периоде. Позади осталось здание аэрово-

казала, каковых в мире давно уже не строят по убогости проекта, промелькнула аллея, за которой проглядывали ветхие гаражи, в которых, однако, хранилась картошка и жили люди, отнюдь не промышлявшие себе на жизнь разработкой новых моделей компьютера макинтош.

Шестерка взлетела на мост, откуда открылся вид на окрестности и в первую очередь на тираннозавра какой-то промышленной зоны, внешним видом ничуть не отличавшейся от той зоны, которых много теперь было в западных фильмах. Открылся вид и на недалекую гору, которая сплошь была застроена жалкими домами не менее жалкой местной архитектуры.

Большеголовый господин, который молча оглядывал все это безобразие, не подавая, впрочем, вида, был несомненный американец, привыкший смотреть в окно такси как на экран довольно длинного и скучного фильма. В данном случае это была только эпизод, связанный с инспекционной поездкой. Гостиница, офис, снова гостиница. Вечером ресторан — вот, в общем-то, и весь набор, который полагался человеку его уровня. Самое смешное, что люди уровня выше работали еще больше, а развлечений у них было еще меньше, чем у него. Он по меньшей мере мог позволить себе взять любую самую захудалую машину, попросить шофера не торопиться и с любопытством оглядывать окрестности, попадающие в кадр его личного иллюминатора. Люди рангом выше ездили только на служебных машинах с тонированными стеклами, за которыми ни хрена не разберешь. И это правильно, кто же будет рисковать секретами, от которых зависит будущее планеты?

За стеклом промелькнул черный лось на постаменте из серых плоских камней. Человек обернулся и долго смотрел ему вслед, что-то было в этом лосе этакое, а может все просто — в каком еще городе у въезда вас встречает лось? В голове промелькнули картины памятников, которые американец видел в разных городах — то свиньи, то лошади, то слоны, еще какой-то непонятный зверь, еще один — воспоминания были сумбурными и отрывистыми, люди его ранга не могли позволить себе отвлекаться на ерунду типа памятников, жизнь проходила согласно графику и с учетом степени риска.

Мелькнула остановка, на которой стояли два или три человека, закутанные в той степени, которая дает некоторую защиту от холода и вместе с тем позволяет хотя бы как-то двигаться. Человек с холодным любопытством зафиксировал их нелепые одеяния, скрюченные позы, жалкие попытки спастись от мороза — во время длительного перелета он еще пощупает эти детали, еще найдет для них нишу — то ли возле аборигенов Ямайки, то ли туарегов пустыни Сахара, но времени думать было уже мало — согласно графику он уже подъезжал к месту назначения, и надо было дать команду водителю высадить его, не доезжая двух сотен метров. Эти двести метров были его заслуженной наградой, некоторым люфтом, который он заложил в график, хотя и понимал, что все будет вычислено, и соответствующие службы будут размышлять, что он делал и о чем думал, пока шел по пустынной аллейке улицы Тукаева. Впрочем, это будет не скоро, а пока за двести шагов по земле можно многое отдать. Это стоит некоторых вещей. Например, жизни. Или смерти.

Соловьев и Гамаюнов сошли с поезда «Адлер-Новосибирск», окутанные легким дымком травы. Позади был краткосрочный отпуск. Впереди — работа. Выспавшиеся, поджарые, с лицами, устремленными вдаль, они пересекли уфимский вокзал и вышли в город.

— Куда поедет? Такси! Такси! — навалились на них обветренные мужики, прогоняя по своим бортовым компьютерам памяти, что за люди, не душегубы ли, заплатят ли бабки, и сколько с них можно содрать.

— На Ленина, — небрежно сказал Соловьев, и сразу трое таксеров потянули их в разные стороны, к машинешкам, которым самое место на свалке где-нибудь в Западной Европе. Короткий спор, два-три тычка, и вот самый проворный и, видимо, авторитетный пожилой шоферага распахнул перед ними дверцу своей ауди.

Соловьев сел вперед. Гамаюнов, он был, как понял таксист, молчалив, — сзади.

— Три сотни, — сказал как можно небрежнее таксист, закрывая дверь и набрасывая на себя ремень безопасности.

— О-о! — ласково сказал Гамаюнов сзади.

— Стольник, и ни центом больше, бичо! — Соловьев закурил сигарету и пыхнул в лобовое стекло.

Таксист уже понял, кого везет, так что сказал о трех сотнях по привычке, вдруг, мол, у ребят хорошее настроение.

Машина вздрогнула, вздохнула и отправилась в путь.

Замелькали деревянные двухэтажные, одноэтажные домишки, почерневшие от времени и отсутствия заботы, каменные дома были не в лучшем состоянии, пугая проржавленно-желтым цветом казенной нищеты.

— О-о! — опять воскликнул Гамаюнов, уже на перекрестке Карла Маркса и бульвара Ибрагимова. Это он углядел большой, красного кирпича дом, в каких живут новые русские.

— Сверни! — коротко приказал Соловьев, и машина резко пошла по бульвару Ибрагимова, чтобы на перекрестке с улицей Ленина так же резко остановиться на красный свет.

Светофор все не переключался на зеленый. Рядом с машиной остановился художник Волигамси. Он в темном кашемировом пальто, в беретке, под мышкой — картина, на задумчивом бледном лице — полная отрешенность.

— Почему картина, парень? — подкрутил стекло Гамаюнов.

Волигамси, возвращаясь к действительности, внимательно посмотрел на Гамаюнова, оценил цвет лица, сказал резко:

— Двадцать четыре тысячи восемьсот сорок два доллара.

Сморгнув, добавил, уже не так строго:

— Наличными.

— О-о! — негромко пропел Гамаюнов, зажегся желтый свет, ауди дернулось, перескочило перекресток и понемногу стало уменьшаться в размерах.

Волигамси вздохнул, почесал затылок, поправил берет и пошел в галерею «Мирас». Он уже опаздывал на встречу с клиентом.

Легким шагом, насвистывая что-то вроде «мы красные кавалеристы и про нас...», Гамаюнов спустился на первый этаж гостиницы «Россия», прошел мимо сонных администраторов и вышел на улицу. Низкое белое небо над Уфой встретило его легким снежком. Улыбаясь, Гамаюнов постоял неуловимую долю секунды и плавно, солидно, словно мерседес цвета мокрого асфальта, пошел к остановке. На той стороне проспекта, он уже выяснил это вчера, был киоск союзпечати.

Был девятый час, киоск работал уже минут двадцать, и возле него стояли в небольшой очереди несколько человек, все как один с унылым выражением лица. Каждый клон равнодушно протгивал киоскерше мятую десятку, дотошно пересчитывал сдачу и только потом брал свежий номер «Вечерней Уфы», после чего отваливал от киоска и, не меня выражения лица, шел к мэрин.

— Все свежие газетки по одной таблетке, — весело скомандовал Гамаюнов, и физиономия киоскерши зарумянилась. Это был клиент! Такому можно было всунуть все газетки, включая «Нефтенюк Башкирии», который никто в здравом уме не читает, и даже журнал «Плебейские враки», да еще много всего тайтса в волшебном ларце киоска!

— Сорок шесть рублей двадцать восемь копеечек, молодой человек, — проворковала киоскерша, переваливаясь на ягодицах, отчего ее пухлые щеки также пришли в возбужденно-веселое состояние.

Бросив полтинник, синюю бумажку в пятьдесят рублей, Гамаюнов сказал, улыбнувшись широко и таинственно:

— Завтра опять приду, ждите!

И, ловко ухватив толстую пачку, отправился в гостиницу. По дороге он остановился у другого киоска, наклонился, пытаясь не уронить чувства собственного достоинства также низко, как было расположено окошко, и заказал пачку мальборо лайт. Этого добра теперь хватало повсюду, не лень было проклятым капиталистам везти эту дрянь из-за океана. За окошком что-то зашуршало, звякнуло, неизвестный голос проворчал что-то вроде «носит нечистая», потом почему-то мяукнул, и на окошке появилась искомая пачка. Решив, что на этом его обязанности закончились, Гамаюнов весело пошел обратно в гостиницу, вовсе не пытаясь разглядеть многочисленные достопримечательности главной площади столицы суверенного Башкортостана — от памятника бывшему Ленину, который тщательно драпировался под обычный столб во время приезда мегазвезд типа Киркорова, до передвижных туалетов, которые несмотря на свое название, торчали в двух шагах от остановки, посылая почти что видимые сигналы о своем присутствии вплоть до русского драмтеатра имени Михаила Исаковича Рабиновича напротив гостиницы.

— О-о! — только и сказал Гамаюнов, оглядев все это великолешие, и скрылся в дверях гостиницы.

43

— Что за херня! Ну что за херня! — Соловьев в ярости рвал на клочки очередной номер «Республики Башкортостан». — Почему? Ну почему они пишут обо всякой ерунде? Над всей Испанией безоблачное небо! — Передрознил он заголовок. — В Илшешевском районе четыре колхоза наладили посевную технику! Кому, ну кому это интересно?

— Значит, будем с хлебом! — меланхолично сказал Гамаюнов, пыхая короткой толстой папирской.

— С каким таким хлебом? — взревел Соловьев и бросил пачку газет в Гамаюнова.

— С обыкновенным, бородинским, — приглушенно ответил Гамаюнов, даже не пытаясь убрать с лица раздетевшееся газетное богатство.

— Тогда какого черта мы здесь с тобой прохлаждаемся? Зачем наши подвиги? Зачем я вырвал у милиционера палку и полчаса руководил движением на проспекте Октября? Зачем притворялся вице-премьером и инспектировал работу котельных Советского района?

Соловьев нервно порылся в дипломате и вытащил из газет вырезку, тщательно заделанную в полиэтилен. «Вот! — сказал он любовно, — вот это я понимаю, работа журналистов. И он громко прочитал заголовок: «Банда хохотунов-насмешников снимает премьера». Улыбнувшись, как старой, но все еще смешной шутке, он продолжал:

«Вчера в десять тридцать утра на кортеж президента России Бориса Ельцина было совершено нападение. Группа хохотунов-насмешников обстреляла автомобиль Президента из игрушечного гранатомета и залила стекла вонючей несмываемой краской».

— Да сколько можно... — проворчал приглушенно Гамаюнов из-под газет.

— Вот, вот, — продолжал Соловьев. — Вот это работа журналиста, я понимаю. — И он снова уткнулся в газету: «Президент вне себя от ярости вызвал в Кремль Черномырдина и снял его с работы!» Вот еще чудесное: «кинул в него ботинком», назвал «оборзевшим пидарасом». Вот это я понимаю! А здесь?

— У нас дело, — примиряюще сказал Гамаюнов. Голос его звучал все тише. Он словно засыпал. — Передохнем — и опять в столицу. Нам же важно, чтобы никто не обращал на нас внимания.

— Мы, считай, на отдыхе. Дело-то пустяковое! — мрачно проворчал Соловьев, передразнивая кого-то, и принялся собирать клочки газет, разбросанные повсюду. Негромкий храп был ему ответом. Соловьев упал на кровать и тоже закрыл глаза. Он надеялся уснуть прежде, чем храп станет нестерпимым.

За окном молча стояла уфимская ночь, в которой ничего не происходило и не могло произойти.

44

В темноте, поражающей очи, есть граница движения тьмы, то, что ты понимаешь, как прочерк, это почерк, невидимый очерк, то, что раньше не видели мы. И если долго наблюдать, вперив свой почти безудетный взгляд в темноту, то вскоре в ней начнут проявляться тонкие нити, по которым течет жизнь. Нахождение на этой нити и придает сил человеку, словно он подпитывается ее электричеством и живет себе дальше, во все не подозревая ни о чем, что такого особенного творится на свете, и в каких бы чудовищных планах не было записано его участие, даже если самая участь его была уже решена.

Из окна четвертого этажа была видна вся площадь, густо засаженная голубыми елями, составлявшими этакий подшерсток огромного монолита статуи великого вождя всех народов Владимира Ленина. Его бронзовое лицо с навеки застывшим на нем выражением, которое приличествовало скорее человеку, чем вождю, упрямо смотрело в окно мэрии, словно хотело донести до всех чиновников одну единственную мысль, которую уже никто не сможет разгадать за отсутствием тех, кто умеет бы читать по лицам.

«И друг степей, калмык», — подумал Соловьев, который так и не уснул и теперь стоял на площади, глядя на черный лик вождя. Резкий всхрип заставил его обернуться, и в этот момент ему показалось, что лицо вождя тоже дернулось, так что он, преодолевая инерцию движения, почти неестественно посмотрел еще раз на статую. Ничего. Ничего. Все, как прежде — мертвенный свет и неподвижность, которая разлилась по всей земле. Настало такое время, когда, что бы ты не предпринимал, не случится практически ничего, словно время наконец-то приобрело свойство обратимости, и можно было спокойно вернуться к началу дня или, вернее,

к началу ночи, можно было молча побродить по площади Ленина и опять-таки не произошло бы ничего страшного, ничего, что хотя бы как-то повлияло на жизнь, на судьбу, на что хотите.

Соловьев, который уже четыре раза обошел эту площадь, поймал себя на этой мысли и решил все-таки остановиться, причем он сделал это в таком месте, в каком при свете дня ни за что бы не сделал. Сознание его, которого хватало на этот шаг, снова его покинуло, и когда он очнулся еще раз, оказалось, что он переместился на ступеньки большого провинциального театра и смотрит вдалеку на гостиницу, в которой горит единственное окно их номера.

Молча понаблюдав, как дребезжат и вибрируют от могучего храпа стекла номера, он перевел взгляд направо, налево и поморщился, как от короткого всплеска бритвы, когда она подрезает кожу на подбородке — идеальную картину площади нарушал огромный дом, построенный за гостиницей «Россия». «Пидарасы!» — коротко бросил Гамаюнов, возвращаясь к действительности. Была же хорошая площадь, все в ней было соразмерно, нет, надо было поставить этот дом. Какого, спрашивается...

Как от физической боли он сбежал по ступенькам театра и оглянулся. Театр молчал, как молчит языческий храм во дни сомнений и тяжких раздумий. Живой бог его чешет репу и всем проходящим говорит — «отстаньте от меня, я и сам не знаю, что делать». Жрецы и прислужники в такие дни пьют больше обычного, а жрицы, поджав губы, прикидывают, что же они имеют в сухом остатке, если вдруг прямо сегодня взорвут баланс.

Гамаюнов сделал несколько шагов, как вдруг возле памятника Ленину обнаружил сухого старика в старомодной шляпе и таком же старомодном сталинском плаще.

— Когда мы ставили этот памятник, — сказал старик Соловьеву, зыркнув на него острым взглядом из-под густых бровей, он стоял так удобно, что в его глазах отражался свет какого-то непонятного фонаря. — Мы тут поставили макет в полный рост, чтобы проверить, как он будет вписываться в площадь. Он стоял тут, — старик ткнул пальцем в какое-то место неподалеку от себя.

— И тут! — палец описал кривую и снова уперся в какое-то место.

— В том случае, — старик опять махнул пальцем рукой. — взгляд Ильича приходился в окно Янгурову, а если тут — мне. Вот мы и решили, что будет лучше, если он будет стоять ровно посередине. Чтобы, значит, не беспокоил. — И старик мелко захохотал. Он никак не мог решить, нравится ему Соловьев или нет. Потом решил, что нравится, и, доверительно нагнувшись, сказал: «Этот памятник стоит здесь не просто так. Он прикрывает вход в подземелье».

Старик неожиданно отпрыгнул от Соловьева, недоверчиво посмотрел на него, переменившись в лице, как актер, выходящий за сцену. Затем стал уходить в темноту, покачиваясь, как от ветра.

«На овца и сам овца», — подумал Соловьев и свистнул вослед старику, уже раскаиваясь в содеянном, поскольку другого собеседника не предвиделось. Впрочем, он поразмышлял о том, что Уфа — город очень молодой, раз только в пятидесятые годы застроили проспект, и если уж искать сокровища, то искать их надо в старой Уфе — где люди, там и сокровища, логика в данном случае нехитра, можно даже сказать примитивна. Но здание есть задание, инструкции есть инструкции. С ними не поспоришь.

Стало задувать, легкое пальто, в котором был Соловьев, не спасало его от холода ночи, и он не спеша пошел в гостиницу.

Багров шел по коридору уверенным шагом человека, у которого все хорошо. После того, как он два раза проверил, что дверь заперта и утюг выключен, уже можно было позволить себе успокоиться и начать жить. Даже тяжелое пальто давило на плечи не так сильно, даже полиэтиленовый пакет с казенными бумажками не так оттягивал руку, как будто теплый воздух, идущий к небу, словно течение реки, убавлял вес.

С грохотом спустившись с пятого этажа, пропуская встречных, которые как-то странно поглядывали на Багрова и в которых сам Багров тоже видел что-то странное, он выскочил на улицу и остолбенел. На улице было лето! Аллейка на Бульваре Молодежи колыхалась, как легкое платице между ног пятнадцатилетней девчушки, воздух, прогретый теплым дыханием солнца, открывал такие дали в небе, что просто дух захватывало; шум, смех, легкие движения людей на улице, какие-то разговоры — и Багров пошел обратно, в свою комнату. Что-то странное творилось с ним, легкая улыбка коснулась губ... Что же это такое? Он каждый день смотрел в окно и не заметил, что приближается весна! Тепло его не обмануло, это был весенний день, еще не лето, но такой жаркий, какие бывают порой в начале-середине марта, когда и снег уже почти сошел, последние его остатки исчезли по мановению весны, в жарких объятиях солнечного тепла. Вот это да...

Вот так, собственно, и проходит человеческая жизнь — за ежедневными делами, когда заботы успокаивают, забирая себе часть сознания, все больше и больше, и человек уже не может понять, как и куда исчезают дни, которых только что было так много. Как же прошли эти два месяца? Неужели уже весна? — билась жилая на виске у Багрова, но ответа у него не было. И откуда же может появиться ответ у почти что зомби, биоробота? Два месяца с лишним, шестьдесят или около того дней, и вот уже на дворе конец марта, и солнце светит, словно в него плеснули керосинчику, и день пронзительно-яркий, свежий, обновленный, словно у старого монитора протерли наконец пыль.

В легкой куртке, которую он отыскал дома, среди завалов вещей, Багров шел по улице к троллейбусной остановке и думал о чудесной, иначе не скажешь, способности природы обновляться. После зимы, всех ее бурь и тревог как можно было ожидать этого воздуха, этого неба? Даже этого мусора под ногами, немислимого на заснеженных улицах Уфы.

Подъехал троллейбус — легкий, поджарый, чистенький, как незахватанный пятак. Легко открылись двери, люди, стоявшие на остановке, так же легко вспорхнули в него, как в небо, и он тронулся, почти не касаясь мостовой. Дышалось легко — это после шуб и тяжелых пальто было раздолье, странное дело, что не только природа, но и человек испытывал то же самое чувство обновления.

Багров смотрел на людей, разом просветлевших, и думал о том, что не только странной мутацией объясняется эта радость. Триста лет такой жизни — и злобные люди исчезнут как класс, не вымрут, нет, а просто поток беспричинной радости захлестнет их, перейдет их детям, и уже не надо будет так горевать и злиться. Люди, которые когда-то высадились на острова Полинезии, вдруг подумал Багров, видимо оттого, что троллейбус и люди в нем и это движение, напоминавшее морскую качку, навели его

на мысль о корабле, так вот эти люди, должно быть, были не самые приятные существа. Это же сколько упорства, сколько злобы в душе надобно, чтобы оторваться от родной земли, проплыть тысячи и тысячи километров по Тихому океану, чтобы высадиться на острова благословенной земли. А потом прошло триста лет — и где эти злые уроды? Делайте любовь — словно говорили все эти островитяне, мудрые, словно века, прошедшие до нас. Но злым детям еще расти и расти до этой мудрости, так что Багров, прерывая путешествие, сердито выскочил возле центрального рынка в толпе таких же злых пассажиров, которые отдавили друг другу все, что могли, и в душе сказали все, что думают друг о друге.

Еще минута прошла, пока он выбрался из этой возбужденной толпы, бегущей на рынок, и вот уже Багров, перебежав улицу, пошел в сторону художественной галереи, мимо старичка, который вечно стоял тут у стены со своими желтыми пейзажами, мимо теток, которые занимались тем же, но более успешно, потому что предмет их торговли (глазированные батончики) пользовался большим спросом, мимо других теток, которые торговали цветами из Голландии (сколько же они стоили там, что привезти их на самолете было выгодно?). Тут был еще один перекресток, который Багров пересек вместе с толпой, набравшейся за то время, пока светфор смотрел на него своим красным от возбуждения глазом, затем он свернул направо и уже неспешно побрел по аллейке в сторону улицы Ленина, почти так же лениво рассматривая здоровенные кусманы мрамора, там и сям расставленные по сторонам.

Пару лет назад Багрову рассказывали, как под Уфой в каком-то профилактории две недели пьянствовали скульпторы со всей России. Итогом этого сборища, которое называлось то ли семинаром, то ли конференцией, стали эти самые куски мрамора, некоторые следы резцов на которых позволяли их называть скульптурами. Впрочем, об этом Багрову рассказал некий местный скульптор, которого не пригласили на семинар, так что все это вполне можно было принять за такую маленькую месть обиженного человека. Как часто правда является нам в неприглядном виде, ведь что там было на самом деле — Багров не знал, но камни — вот они, все на месте, никому не мешают, хотя и какой-то ценности эстетической тоже вроде бы не несут, да и иной какой-то пользы от них так же не предвидится.

Все это напомнило Багрову студенческие годы, когда он в компании с однокурсниками ходил на ДНД дежурить. ДНД расшифровывалось как добровольная народная дружина, наверное, все советские люди через нее проходили. Вечером, часов в семь, они толпой заваливались в опорный пункт милиции — так назывались квартирники, которые там или сям не заселялись жильцами, а передавались в распоряжение органов, в них всегда было накурено и сидели мрачные менты. С чего они были мрачные, понять было невозможно. Получив красные повязки, Багров со товарищи отправлялся патрулировать улицы. В общем, главным делом тут было чувство поаной безнаказанности, полной уверенности в своих силах, полной защищенности — вот они идут со своей повязкой, вот они могут кого угодно проверить или что там еще. Тогда им мог попасться на глаза пьяный поэт Шалухин, которого частенько забирали дружинники. И всякий раз отпускали после того, как он зачитывал их своими стихами. Мужики морщились, как от зубной боли, бабы плакали — в них просыпалось человеческое...

А пока они шли и шли, имея индульгенцию от государства. И возможно, те скульпторы на своем семинаре так же лихо кромсали куски

бессловесного камня, ибо им было выдано представителем минкульта некое разрешение, такая же красная повязка, мол, что ни сделаете, все будет культура, и денег получите. Разве такое не пьянит сильнее вина?

И стоило по окончании дежурства сдать замусоленную тряпку, какой и была на самом деле повязка, возвращалась и неуверенность в себе, и страх перед хулиганами, не меньший, если не больший, страх перед ментами. Разве не те же чувства испытывал бедный провинциальный художник, которого не пригласили на семинар, как тут не оскорбиться до глубины души?

47

Багров давно уже вышел на Ленина, а эти дурацкие скульптуры все не выходили у него из головы. Что они значат, зачем их поставили? Сколько денег на это ушло, думал он, зная, что ответа не получит. Просто их не было, а в один прекрасный день они появились, вот и вся недолга. Впрочем, это для Уфы характерно, как и наверно для любого города на свете, как и для жизни самой — только что ничего не было — и вот оно уже появилось откуда-то и стоит перед тобой.

Как это часто бывает, мысль поспешила оправдаться наглядно и убедительно — перебежав улицу Чернышевского, Багров наткнулся на Залесова, который сосредоточенно смотрел в небо.

— Торопишься? — спросил он, опустив глаза на уровень горизонта.

— Да нет, — пожал плечами Багров.

— Тогда пойдем, я тебе кое-что покажу.

Залесов писал стихи и еще какую-то критику, Багров его как-то видел вместе с Касымовым и даже читал в журнальчике «Сутолока», который издавал последний и единственный уфимский литературный критик.

Теперь, идя вместе с Залесовым по улице, он поглядывал на него просто для того, чтобы око насытилось зрением, словно это сможет восполнить недостаток информации о человеке. Впрочем, если достаточно долго смотреть на самого близкого человека, обнаружатся черты, которых мы никогда не замечали и не заметили бы, если бы не стали так пристально вглядываться.

Так они дошли до гостиницы «Башкортостан» и свернули на Кирова в сторону Дворца профсоюзов. Багров, который слушал вполуха и также вполуха что-то отвечал Залесову, все же никак не мог понять, что же такого делает Залесова именно Залесовым, а не Юнусовым, к примеру, или, скажем, Баниковым, неожиданное сходство с которым вдруг захватило его. Все, все, что связывало Багрова с Баниковым, вдруг вылезло наружу, и его черты стали стремительно наползать на Залесова, пока не поглотили вовсе. Так может это не Залесов вовсе, стал думать Багров, а Баников, который остался жив и вот теперь начал новую жизнь под новым именем. Ведь встретила же он его на десятом этаже Дома Печати буквально полгода назад! К тому же все эти наши описания самим себе, все эти нос картошкой, рост выше среднего, шатен — все это подходит чуть ли не десяткам миллионов, словно нет ничего на свете, кроме как бесчисленных повторений Уфы, в которых живут люди, размышляя о том, как они одиноки во вселенной.

Багров мотнул головой, заморгал и даже стал дергаться.

— Ты что? — вдруг остановился Залесов посередине своего монолога.

— Да нет, все нормально, — прохрипел Багров и облегченно вздохнул. Нет, это не Баников, решил он. Хотя если залесовский крупноватый

нос чуть уменьшить, глаза... глаза можно оставить те же, вот только надо сбрить усы, прическа — набок ее... и будет готовый Банников. Тот же рост практически, телосложение, вот только ходит Залесов не как Банников, тот просто летал, а как ...как... как Сашка Карабчиевский, знакомый Багрова, ныне счастливо живущий в Израиле. А походняк у него, конечно, был прикольный — как у балерины или же ...

Но дальше свою мысль Багров не успел развить, потому что Залесов объявил, что они уже пришли и пора приступить к делу.

— Какому делу? — удивился Багров.

— Ну, я же тебе обещал прикол? — Залесов нагнул голову набок, не менее удивленный беспамятству Багрова.

— Обещал, — неуверенно ответил Багров.

— Ну вот, смотри.

Багров начал стремительно возвращаться в местную реальность и вдруг понял, что стоит возле Дворца профсоюзов, странная кубатура которого словно отшатнулась от него, как человек, который, хотя и падать не хочет, но однако уже опасно накренился. Еще бы не накрениться, если голова отрублена, подумал Багров, который знал его историю — вообще это был собор, в котором во время войны разместили эвакуированный завод. Случился пожар. Станки с грохотом попадали на землю, а храм, у которого давно уже снесли колокольню, стал называться горелым заводом. И только в конце восьмидесятых его реконструировали и устроили в нем Дворец профсоюзов.

— Обрати свое внимание на этот Дворец, — энергично сказал Залесов, также энергично моргая. — Перед нами бывшая церковь. Это ты знаешь.

— Ага, — сказал Багров.

— А теперь повернись направо.

Багров послушно повернулся и посмотрел в сторону Дворца пионеров.

— Там, где ты видишь Дворец пионеров, было кладбище и часовня при ней. То есть еще один храм, — сказал Залесов и без перерыва продолжил. — Теперь повернись еще раз.

Багров послушно повернулся, чувствуя, что голова у него идет кругом.

— Видишь, там далеко, в конце улицы Кирова, кинотеатр «Йондоз». Это тоже церковь. Ну, ты знаешь.

И вправду, вдалеке золотился купол бывшего кинотеатра, в который Багров ходил студентом и смотрел... Какие же он там смотрел фильмы... Фильмов он не вспомнил, но зато вспомнил архитектора, который его восстанавливал, которого звали Константин Донгузов. Он был...

Но его отблек все тот же Залесов.

— И последний штрих. Повернись еще раз на девяносто градусов — и ты увидишь башкирский театр драмы. Это тоже храм, то есть там стоял Никольский собор, который снесли в тридцатые годы. Так что перед нами мистический центр Уфы. — И Залесов дая убедительности притопнул ногой. — Вот здесь, на этом перекрестке, сходятся все храмы, образуя крест животворящий.

Багров посмотрел на дворец профсоюзов. Действительно, сквозь стиль игрушек легко проступал храм. Добавить колокольню, и вперед.

— А что из всего этого исходит, какой вывод? — накинута он на Залесова.

— Никакой, — спокойно сказал Залесов. — Я просто обратил на это внимание и все. А что это значит — я не знаю.

— А что ты на Ленина делал? — не отставал Багров.

— Я? Ничего, гулял. Смотрю, ты идешь, как сомнамбула какая. Ну, я и остановился тебя подождать.

Все было просто, придраться было не к чему, однако что-то было не так, и потому Багров стал растерянно оглядываться по сторонам. Что-что-что? Что-что-что?.. Но ничего, абсолютно ничего не происходило вокруг. Правда, пробежал мимо какой-то бородачий еврей с гитарой, бормоча под нос что-то из Вертинского, мол, Уфа, кому это нужно, да пара литературных пешеходов остановилась глянуть на чудачков, что вертятся посредине улицы. А более ничего не происходило.

После всего, что с ним было зимой, после всех этих ужасов Багров наконец-то успокоился, все показалось ему просто довольно долгим, но все-таки сном, который, слава Богу, кончился, иначе просто иди и сдавайся в дурку, чего Багрову, разумеется, не хотелось. Но когда он успокоился от одной напасти, вот прямо сейчас, на этом месте, на свет сразу же вышла другая, более потаенная мысль. Ведь если даже город, в котором он живет, построен по чьему-то плану и разумению, то ведь и его жизнь должна быть построена по плану! Но ни плана этого, ни тем более его смысла он не видел и увидеть не мог. Но как же быть тогда с человеком, а именно с Залесовым, который встретил его, проводил до перекрестка и показал ему план города? Это разве случайно?

Багров посмотрел на Залесова и краем глаза уцепился за двухэтажное здание.

— Смотри, — показал он рукой. — Вон в той библиотеке выступал Игорь Северянин.

— Откуда ты знаешь? — удивился Залесов.

— Знаю, — сказал Багров. — Это же библиотека профсоюзов. Но скоро ее снесут. И улицу переименуют.

— Да, и как? — удивился Залесов.

— Не знаю. В голову пришло почему-то. Впрочем, — сказал Багров, — нам с тобой какая разница? Ведь есть план, он действует, и с ним ничего нельзя поделывать!

Да, оставалось только махнуть рукой, что Багров и проделал весьма наглядно, после чего они с Залесовым пошли обратно на улицу Ленина, догоняя того самого бородастого еврея, который все семенил перед ними, что-то целеустремленно напевая.

— Смотри, — сказал Багров, показывая на впереди идущего. — С борды на льсину!

Залесов засмеялся, поскольку пешеход и вправду шел с улицы Карла Маркса на Ленина и у него к тому же была заметная пропелшина.

— А кстати, когда ты в последний раз был в кинотеатре «Родина»? — заинтересовался тем временем Залесов, который любил точность до полупанатизма. Он, например, выяснил, что наиболее вкусны яйца всмятку, если считать до ста девяносто двух. И он честно считал и как награду получал вкуснейшие яйца. Багров как-то пробовал, будучи в гостях. Но у самого у него не получалось — он все-таки частил.

— Вообще-то давно, не помню уже когда, — соврал тем временем Багров, — как Юлий Цезарь делаю три дела одновременно.

— Там сейчас так классно, — убежденно сказал Залесов. — Можно зайти и посидеть, попить пивка.

— И поиграть в шахматы с Барановским, — неожиданно сказал Багров.

— А кто такой Барановский? — удивился Залесов.

— Я думал, это общеизвестно, — сказал Багров, хотя никакого Барановского он и не знал и откуда выскочила эта фамилия — понятия не имел. — Ну давай, зайдем.

И они пошли в кинотеатр «Родина», потому что Багров не знал, куда девать время, что с ним делать и вообще какого черта он тут делает в этой жизни!

48

— Сколько же лет я здесь не был, — бормотал себе под нос Багров, осматривая не большой и не маленький, а самое то — зал внутри кинотеатра «Родина». Ведь когда-то это был его любимый кинотеатр! Во время учебы в институте сколько было здесь пережито счастливых минут наедине с героями фильмов, сколько всего интересного он здесь испытал. Одна история с бутербродами чего стоит.

— Саша, — повернулся к Залесову Багров. — Тут был когда-то буфет. — Он ткнул рукой в стойку — буфет был на месте, справа от входа, на небольшом возвышении, аккуратно напротив — через зал — было еще одно такое же возвышение, там раньше играл оркестрик, а теперь стояли столики, за которыми юные уфимцы что-то жевали, что-то пили и о чем-то весело болтали, видимо, чувствуя себя страшно крутыми.

— Я же из деревни, ничего не знал, — продолжил между тем Багров свой рассказ. Тем временем они уже стояли в очереди, та неспешно двигалась к тому месту, где возле всяческих медных штучек колдовала оператор пивного доения, или попросту говоря, буфетчица.

— Ну, и покупал я себе тут коржики, булочку какую-нибудь, стакан чая или сока разбавленного.

— Круто, — сказал Залесов, чтобы что-то сказать.

— Да нет, не это круто, — заулыбался Багров. — Так вот там были такие булочки, разрезанные пополам, намазано маслом, а сверху было что-то накапано — красное и черное. На одних красное, а на других — черное, — уточнил Багров. — И вот я не знал, что это такое, а этикетки эти были с какими-то мелкими буквами, с моим зрением хрен разглядишь.

— Пива будешь? — спросил Залесов, потому что очередь уже подошла.

— Нет. Мне лучше это, — Багров ткнул пальцем куда-то в живот Бритни Спирс, которая с самым наглым видом что-то сосала через соломинку. Эта наклейка была тут повсюду.

— А что ты пива не пьешь? — удивился Залесов. — Я очень даже пью. Тут бывает отличное пиво.

— Да я пиво не люблю с детства, — скорчил рожу Багров. — А все время приходится его пить за компанию. Все пьют, ну, и я тоже. А теперь я решил — какого черта я должен пить пиво, если я его не люблю? С тех пор не пью.

— А что ты пьешь?

— Ну, зеленый чай, водку.

— Да, — поддержал его Залесов, но взял пиво, еще черный пенистый напиток для Багрова, и они пошли к столику.

— Ну, так что ты там говорил про булочки, растерзанные пополам и с красными и черными точками?

— А, ну да, — с некоторым усилием вспомнил Багров, и продолжил. — Так вот, прошло много лет, прежде чем я понял, что это было такое.

— И что? — быстро спросил Залесов, который давно уже все понял.

— Бутерброды с икрой! Вот что! — и Багров торжествующе посмотрел на товарища. — Нет, ты представь, ведь я их в жизни никогда не пробовал! Ну, и откуда мне знать, что на свете бывает такая икра? У нас докторская колбаса считалась страшным деликатесом в деревне! Из города ее везли! Как-то я поехал в Москву году в 84, что ли, зашел там в магазин, смотрю — все витрины в докторской колбасе, за которой у нас надо было выстаивать в очередях по шесть часов! Вот когда я испытал культурный шок, о котором пишут наши диссиденты — которые приезжали куда-нибудь в долбаный Нью-Йорк и падали в обморок.

Тут они стали говорить, размахивая руками, попивая пиво и пепси, так что девушки за соседними столиками стали обращать на них внимание и улыбаться.

49

Они говорили уже полчаса и все не могли наговориться. Девчонки из-за соседнего столика, которые с интересом прислушивались к болтовне Багрова и Залесова, в конце концов и сами не заметили (хотя Багров тоже этого не заметил), как подсели к ним и тоже влились в разговор. Или это они сами к ним подсели? Багров не помнил. О чем шла речь — Багров и этого потом не мог припомнить. Просто было весело, просто были шуточки — беззлобные, веселье, обо всем на свете разговор, типа того, что любила рассказывать некая Инга — стояли они как-то с подружкой возле светогора, вдрут какой-то мужик помчался на своем мерседесе прямо на красный свет.

— Смотри, камикадзе! — сказала Инга.

— Ты его знаешь? — удивилась подружка.

Вот эту Ингу, продавщицу из модного бутика, с которой он познакомился на какой-то вечеринке и потом всю эту вечеринку слушал ее веселую болтовню, и вспомнил Багров. Мало того — он сам вдруг обнаружил с немалым удивлением в себе способность весело болтать, не заморачивая себе голову ненужными деталями и вопросами. Он просто улыбался в сторону двух девушек по имени Катя и Лена, он даже не пытался их разглядеть, они просто сидели напротив, такие милые и добрые, а самое главное, доброжелательные, смущенно улыбались, когда остроты доходили до какого-то края, от души хохотали над особо удачными словечками, показывая ряды юных нетронутых зубов, стоявших, как ровные заборчики или оборонительные валы на пути неприятеля.

Они и сами не заметили, как выбрались на улицу, должно быть, в этом сработала какая-то физиология, потому что в какой-то момент Багров обнаружил, что он стоит над бетонным корытом, которое, кажется, единственное не изменилось в кинотеатре «Родина» с тех еще студенческих лет или даже с конца войны, когда пленные немцы стали возводить это здание. И странное дело — ни запах, который стоял в этой комнатке, должно быть, с того самого момента, как первый немец обнажил свой военнопленный клинок и сделал свое дело, ни какие-то мрачные парни, которые молча и сосредоточенно курили в предбаннике этого заведения, ни дверь с тяжелой пружиной, ощутимо ударившая Багрова по спине, ничуть не поколебали его хорошего настроения, и он весело присоединился к Залесову и двум девчонкам, чтобы с ними уже отправиться вдоль по Ленина.

«Сколько лет, сколько лет, — думал Багров, — я не мог найти вот этого верного тона! Сколько лет я молчал как бука, не зная, что сказать этим самым прелестным девчонкам, и вот все идет как по маслу!»

Все дело было в том, что именно в этот кинотеатр он пришел когда-то со своей будущей женой и здесь же через сколько-то лет она сказала ему, что все кончено. То есть, она сказала, что на время поедет к маме и когда-нибудь вернется, но на самом деле уехала навсегда. Вот потому Багров и ненавидел этот кинотеатр, и больше не ходил в него, и даже обходил стороной. А тут надо же, оказалось, что нет никаких дурных воспоминаний, что все хорошо. О чем он думал еще — непонятно, может быть, он думал о чем-то еще, о новой жизни, например, и уже предвкушал какие-то удовольствия, как вдруг заметил вещи, которые не заметить он не мог, не должен был.

Должно быть, это началось внезапно, не так давно, но продолжалось уже минут, наверное, пять или даже десять. Светлое небо над Уфой вдруг подернулось какой-то тонкой паутиной, патиной непонятого происхождения, вдруг ошутимо стало холодать, и улица Ленина вдалеке словно расплылась, как это бывает от сильного напряжения зрения.

— А хотите, я покажу вам фокус, — вдруг сказал Багров, и не понимая, что он делает, указал на черную иностранную машину, которая стояла на той стороне улицы, возле министерства внутренних дел. За темными стеклами не было видно, есть кто-то в машине или нет никого. Все в радостном возбуждении посмотрели на эту машину и, разумеется, не заметили в ней ничего особенного. Багров протянул руку, вышло это как-то театрально, но он, в общем-то, не помнил, как он выглядит, он был весь охвачен этим дурацким возбуждением. Как же, весна, лето, девчонки!

Ничего не происходило. Залесов пожал плечами, ему видимо уже не очень нравилось вся эта заварушка, видимо, он чувствовал, что случилось что-то не совсем обыкновенное.

Из машины никто не выходил, стояла и стояла себе машина, хотя... Открылась передняя дверца, из нее выскочил хлопфер. Он отбежал на пять или шесть шагов, как раздался небольшой хлопок, взрыв и машина, подпрыгнув на месте, загорелась ярчайшим пламенем. Столб огня поднялся выше второго этажа. Это было весело и так ненатурально, что все смотрели весело, раскрыв рот, пока из пламени не появился черный господин среднего роста, от которого веяло ужасом.

50

Бывает так, что долго, очень долго ты живешь, собрав себя в кулак, собрав всю свою волю, и думаешь, что все хорошо что все получилось. И вот такие вещи случаются именно в момент, когда ты думаешь, что уже победил.

Багров после умного разговора, после тепла кафе, после общения с девчонками как-то размяк, он вдруг не к месту вспомнил, что ходил в этот кинотеатр со своей бывшей женой, обнимал ее за плечи, отчего рука затекла и потом пришлось ее долго возвращать к жизни. Это открытие неприятно его поразило, как всегда поражает какая-нибудь простая житейская неприятность. Только-только ты разбежался, как вдруг...

51

Не успел Залесов рта раскрыть, как Багров, который только что показывал рукой на какую-то машину, развернулся и куда-то побежал, явно

сам не свой. Девчонки, которые не ожидали ничего такого (Лена и Катя), тут же поменяли свои планы и уехали к себе в Инорс. Очень удивленный таким поворотом событий, Залесов поехал к себе на свою Новостройку.

Он ехал в автобусе и молчал, явно не зная, что и думать. Самые разнообразные, всякого сорта и веса мысли бродили у него в голове. Автобус — старенький пазик, был полупустой. На каждой остановке из него выскакивали пассажиры, словно ошпаренные чем-то, пока Залесов не остался один. Водитель — пожилой башкир — страшно ругался, призывая людей на остановке садиться. Но, только глянув на морду пазика, народ спешно отходил.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы на остановке «Советский райисполком» в автобус не зашел пьяный Рапиров. Увидев полузнакомое лицо, он подсел к Залесову. Как ни в чем не бывало, он принялся болтать с Залесовым о всяких литературных делах, в гущу которых он варился. Залесов отвечал нехотя, он все еще был в шоке.

Видя, что его сосед не склонен поддерживать разговор, Рапиров принялся рассказывать о том, как он ездил в гости к поэту Банникову лет шесть или семь назад. Залесов только кивал головой, хмыкал в патетические моменты, порою кивал. Рассказ оттого получился практически монологом. Вот что усыпал Залесов.

Рассказ Рапирова о поездке к Банникову

В какой-то момент перестаешь помнить, каким ты был вчера или позавчера, или десять лет назад, начинает казаться, что таким, какой ты есть сейчас, ты был всегда, только волос было меньше седых, да зубов было больше здоровых, да Сашка Банников был жив и здоров, и ты ворчал на него что-то вроде — опять бухает где-то! лучше бы писал. А он и писал.

Года два подряд он писал мне в письмах — приезжай да приезжай, особенно летом, где-то в июле — начале августа, ну чего тебе стоит. Не получалось, все работа и работа. Я тогда торговал чем-то, что продаваться не хотело. Ну, когда это стало ясно уже всем, дай, думаю, поеду, а чтобы он не замордовал меня чем-нибудь, а что вы хотите, такой человек, взяла я с собой Айдары Хусаинова. Ну, позва, то есть. С утра пошли-поехали на автовокзал, поболтались чуток, взяли билеты и стали ждать. Пока о чем-то нехотя поговорили, все-таки утро, не разговоришься, подошел автобус, и мы поехали. Ехали-ехали, какие-то пустыни, то есть зеленые поля, Бирск, то да се. Наконец въехали в горы. Часа четыре мы всего ехали, по дороге даже останавливались где-то, там две бабки громко между собой разговаривали, не обращали внимания на пассажиров. А сами вроде как пирожками торговали. Пассажиры к ним подошли, а бабки ноль внимания. Наконец все стали возмущаться, мол, пирожки давайте, и все смели. А они страшно дорогие и очень плохой выпечки оказались. Мы тоже, дураки, этих пирожков полопали. А бабки, довольные, пошли домой. А мы с горя отляли в сторонке и поехали дальше.

Наконец приехали. Так себе райцентр, все родное, советское, книжный магазин, то-се, пошли к реке, там подождали парома. Паром пришел. Все стало другим — река, полутуман такой, а река там большая, больше, чем в Уфе, потому что дикая, наверное.

В Уфе она, Уфимка, так себе, а там Караидель. Да еще Павловка недалеко, все разливается, наверно. Ну, в общем, блеск и нищета партизанок. Переплыли на пароме, прошли длинный ряд домов, которые по весне небось затопливает, и попытели на гору. Там две дороги — одна наприя-

мую, через гору, а другая в объезд этой горы. Когда погода плохая, на нее не заберешься, все скользит. Там уклон почти сорок пять градусов. Хусайнов-то комплекцией не оплошал, да и я, дурак тоже, ну лезем и лезем, а уже полдень близится. Жара. Наконец заползли на эту вершину, вроде легче стало, пошли, а там на обочине сидят местные, водку пьют, ну, и нам предложили. Мы отказались и говорим, так, мол, и так — идем туда-то и туда-то, к тому-то и тому-то. А, знаем, говорят, наш человек. Водку хорошо зашибает. Смысл, в общем, такой, можно у Хусаинова спросить. Ну, мы потоптались для приличия и пошли дальше. Пары минут не прошло, догоняет нас хлебовозка и тормозит. Выглядывает один из тех, кто там выпивал и говорит: «Полезайте, подвезем куда надо». Ну, так и приехали. Дома его не оказалось. Вообще дом мы его спутали, зашли в другой, на них номера не было, вот и обозначились. Большой такой дом, чистенький. Зашли, а там никого, покричали-покликали, вышли. Идет бабка. А он в соседнем доме живет, говорит она, и показывает на неказистый такой домишко. Так его дома нет, он на покосе, сходите к его родителям туда-то и туда-то. Мы пошли. Милые такие люди, мама его, простая такая женщина, полная, был там и отец, того совсем не помню. Директор школы в отставке. Хорошо нас встретили, напоили чаем, мы пошли прогулялись, искупались, да еще зашли там к одной тетке, матери одной моей сокурсницы, мы с ней вместе учились в сельхозе, она теперь живет в Нефтекамске, и я давно уже ее не видел. Вернулись, поболтали о том, о сем, у них беженцы-армяне живут, что-то еще, подъезжает машина, и с нее выпрыгивает, ну, он. В кирзачах, загорелый. Привет-привет, он пошел, умылся, и сразу к нам. Жена, дети тихо так переместились, я даже не запомнил, как они выглядят, а мы сели на веранде, бутылку вытащили, мы привезли которую, и поговорили — как там тот и этот, какие новости, ну, наши, по делу нашему, то да се, так бутылку и выхлебали. Он сказал, что кресло, на которое я сел, он сделал сам, и много чего было им такое сработано — грубовато, но сидеть можно. Потом бутылка-то кончилась, он и говорит: пойдем еще возьмем. Нет, он сначала бражку вытащил, мы ее прикончили, ну, уже по пьянели, так вот он и говорит — пойдем, мол, купим еще, деньги вроде есть, ну, если не хватает, то пары тысяч. Были это еще старые деньги в году 94 кажется, уже и не помню точно. А я и говорю ему, да ладно мол, чего там, и так хорошо, и так пьяные же, а он ни в какую, пойдем да пойдем, часа два так препирались. Он говорит — для меня выпить — это отправиться в путешествие. А я говорю — я вот люблю все понимать и быть в курсе. В общем, потом он сдался или уж я ему говорю, мол, спать давай, что ли, мы же все-таки с дороги. В общем, легли спать. Утром рано он уехал опять на сенокос, а я это дело не люблю и не стал с ним проситься, настаивать, да он, как само собой разумеющееся, нас не позвал и не говорил даже. Сказал только, что, мол, мать покормит. Ну, так мы и сделали. Поболтались, покупались, в магазине я купил что-то очень дешево две стамески и два же мастерка. Купил бы больше, да денег не было, только на билеты оставалось. Вечером он приехал, вытащил откуда-то еще бражки, занял, наверное, у кого-то, опять мы выпили, и опять он нас мурьжил — пойдем да пойдем, купим еще да выпьем. Но мы с Хусаиновым не пошли. Хусаинов потом мне сказал — как ты, мол, это вытерпел, я бы давно уж согласился бы. Если бы тебя не было, я бы, наверное, не вытерпел, — сказал я ему.

Наконец мы уехали, переписывались, то да се, а через год или два, когда я уже переехал в Уфу, мне сказали, что он умер. Да, приезжал в Уфу, приходил в Дом печати, мне говорили, он только был или он пришел,

как ты ушел, я тоже был в Доме печати в эти дни, потом он уехал, а мы с ним так и не встретились. Вот он вернулся из Уфы и через день, говорят, и умер. Его жена через месяц или два позвонила и сказала, вот, мол, умер, так вот все и было. Да.

52

Пьяный Рапиров говорил громко, на весь автобус. Странное дело, во время его монолога автобус постепенно наполнился. Потом оказалось, что люди его тоже слушали, потому что перед самым выходом на остановке «Пятьдесят лет СССР» к ним подошел какой-то мужик и сказал, что Банников был во поэт, отличный. Ничего больше он не сказал, но, видимо, чувствуя, что сказать надо, он повторил это раз восемь, все менее и менее смущаясь. Залесов, который в это время мучительно соображал, где он видел этого мужика, не нашел ничего лучшего, как спросить его об этом. Мужик, который говорил в это время свою восьмую фразу, замолчал. Лицо его оставилось, на нем резко проявились желваки, морщины побежали на свои места, как марсианские каналы, мутные глаза стали светлеть, как светлеет в тумане утром, и на этом все кончилось. Он отвернулся и выскочил в дверь, которая как раз открылась. За ним выскочили и Залесов с Рапировым. Мужик убежал скорым шагом по направлению леса. Пьяный Рапиров махнул рукой и стал требовать продолжения банкета. Залесов сказал, что ему пора домой и немедленно ушел. Рапиров стал искать мобильник, ему не хотелось трезветь. Трезвый мир был ему ненавистен. В трезвом мире у него не было ни одного знакомого человека, не говоря о друзьях.

Страшный лес чернел перед ним, нужно было вызвать нового духа, чтобы он — хотя бы на время — спас его, погрузив в очередную нирвану. Гудки наконец прервались, и Рапиров услышал голос.

— Алло, Себастьян! — хрипло сказал этот голос. — Я сейчас к тебе приеду!

53

Зелень, зелень, что-то зеленое стояло перед глазами Багрова, когда он снова обрел свойство что-то воспринимать из окружающего мира, когда мир, пораженный скоростью его бегства, нагнал его и снова принял в свои объятия. Оказалось, что он всего-навсего сидит на скамейке где-то во глубине дворов улицы Цюрупы, видимо, так, поскольку именно здесь находилось это сочетание деревянных двухэтажных купеческих домов, в которых уже давно жил самый настоящий полупролетариат. Впрочем, в этих домах жила и богема, где-то здесь вырос Римский, художник и друг Багрова. Не есть ли вон тот домик дом его отца, и не сам ли Римский стоит возле крыльца, хмуро глядя на окружающую действительность?

Но это был тот большеголовый черный человек, который несомненно гнался за Багровым, который несомненно сидел в машине и выскочил из нее как чертик из табакерки. Но постойте, подумал Багров, ведь он, кажется, блондин, почему же мне он кажется черным? Кажется, он швед, по меньшей мере, у него шведское гражданство и паспорт на имя, постойте-ка, Сола Юлейсона. Сола, видимо, сокращенное от Соломон, не так ли, сказал сам себе Багров, и ему стало даже как-то смешно, что... Но додумать до конца свой пассаж он не успел, потому что большеголовый человек быстрым шагом двинулся — о Боже! — к тому самому месту, где на скамейке сидел Багров.

Прыжки, скорость, движение, пятна, обгоны, хрип, усталость — и Багров очнулся во дворе какого-то нового многоэтажного дома, который радовал глаз своими обводами и красками. «Ну, могут же, если хотят», — подумал он, заворачивая за угол с таким ощущением, что возвращается домой, что живет он здесь или же ему предназначено поселиться в нем. Однако ничего более знакомого он не увидел, разве что широкую крышу подземного гаража, выступавшего из земли, лестницу, по которой уверенно, словно спускался в ад, уходил под землю невысокий и страшно самодовольный человек с брезгливым чеховским лицом и бородкой. Такая перспектива не обрадовала Багрова, и он перевел взгляд направо. Неширокий проезд был заставлен дорогами иномарками, так что оставался узкий проход, и вот по нему спиной к Багрову шел — и тут было сложно сказать, кто там шел, потому что там было движение, это ясно, но оформить его во что-то конкретное Багрову было трудно. Видимо, что-то расфокусировалось, хотя, постойте, несколько скачков, и вот уже на крыльце дома, на небольшой скамейке обнаружился глубокий старик с мужественным, полным внутреннего достоинства лицом. Тут он заметил Багрова, улыбнулся ему и похлопал по скамейке, мол, садись рядом, дружок. Он склонил голову набок и оттого улыбка его вышла такой бесконечно обаятельной, что Багров и сам не заметил, как подошел, сел, и они стали разговаривать. Говорили они долго, словно бы целую вечность, пока старик не сказал ему — ты близок душе моей, ты мой человек. Он снова улыбнулся, но на этот раз это была спокойная и мудрая улыбка понимания чего-то настолько большого, что это трудно изложить просто и ясно, а только остается мычать, восхищаться, догадываться, думать...

Словно солнце зашло за тучи, словно ветер утих, уткнувшись в неведомую преграду, и Багров поднял голову. Большеголовый черный человек был здесь. Он стоял в двадцати шагах, он только что завернул за угол дома. Багров посмотрел на старика. Но это был уже не старик, это был внезапно помолодевший, собравшийся с силами для последней битвы человек. Радостными, молодыми глазами он смотрел на величайшую опасность как на величайшую радость в своей жизни. Багров медленно перевел взгляд и посмотрел в лицо большеголового человека. Тот сделал шаг назад и исчез за углом.

— Теперь беги, сынок, — сказал старик. — Теперь беги! И Багров, сорвавшись со скамейки, снова побежал.

Он бежал так быстро, как только мог, не смея оглянуться, не дыша, не помышляя даже думать, что происходит у него за спиной.

Командировка затягивалась, и теперь было ясно почему. Коренастый господин медленно шел по каменным плитам по направлению к бронзовому памятнику, что высился вдалеке над обрывом. Отчего-то ему нравилось сюда приходить. Во первых, в таких городах не слишком много мест, где стягиваются силовые линии, а это было такое место. Господин чувствовал это, он видел город как вытянутый остров, стремящийся к реку, чтобы устремиться вглубь континента, к тому самому месту, где он наконец овладеет его сердцем. И оставалось-то немного, но преодолеть это расстояние пока не было сил и решимости.

К тому же это место успокаивало, далекий вид, открывающийся внизу, напоминал коренастому господину что-то прочно забытое, что-то

весьма важное из его жизни, но словно вытравленное так основательно, что... На этом месте он прекратил свои размышления и просто уставился вдаль, не обращая внимания на разговоры вокруг, на щелчки фотоаппаратов, на щебетанье девиц, улыбки, мельтешенье людей. Усталость навалилась на него, словно тень от памятника придвинулась и накрыла чугунной своей пятой. Господин недоуменно поднял голову, посмотрел на всадника, яростно указывающего вдаль, снова обратил свой взор на горизонт.

...Море-степь, ковыль-волна, протяжная песня, похожая на вой отчаяния, шум и крики, лица людей, искаженные войной и снова мертвенная гладь обступили его со всех сторон. Долгие, долгие, долгие годы отчаяния и наконец парус, причаливший к берегу, корабль, из которого выскочили люди, перебившие охрану, снявшие с него кандалы...

— Гр-гр-гр-гр! — раздалось за его спиной. Господин обернулся. Перед ним стоял патруль, было уже темно, так что фонарики в их руках сверкали, словно провалы в ткани времени.

Автоматически господин вынул американский паспорт, раскрыл его на нужной странице.

— Сал Юлейсон, — напрягшись, прочитал сержант.

— Сод, — поправил его господин.

55

Что-то произошло, но что именно — понять, как всегда, было невозможно. Единственное, что как-то сообразил Багров — что надо изо всех сил сдерживаться, иначе он может натворить ой каких делов. Но и это же самое вселило в него уверенность, которая в жизни всегда легко и быстро переходит в самоуверенность и даже наглость. Словно какие-то светофильтры поменялись при этом в его глазах и теперь он смотрел, как смотрят в окно этажа на четыре повыше — надо же, думает человек, в соседнем доме такие симпатичные девчонки! И решает непременно туда зайти, и стучит во все двери, откуда появляются люди, о существовании коих он и не подозревал, и даже никогда в жизни не встречал, несмотря на все годы, какие он тут живет. Или, что бывает гораздо хуже, эти девчонки оказываются дочками какого-нибудь мэна, который попался ему при каких-то других раскладах, и, может быть, даже не самых лучших, но кто бы мог подумать, что у него тоже могут быть дети! Что он отец и муж, и все такое. Где живут люди, которых мы видим на работе? Кто их дети? Кто их мужья? Кто, наконец, их любовники или любовницы, если они есть, и что они делают, когда приходят домой и бросаются на диван с криком «как меня все на свете заебало!» Какие слова они говорят своим дражайшим половинам, как ругаются, как веселятся, какую позу предпочитают при сексе и насколько часто он бывает у них?

Багров представил себе древний сарай в деревне у мамы, он же, блин, деревенский, вспомнил древний погреб и какой-то большой камень, который лежал в этом погребе, наверное, с тысячу лет. Когда однажды он скосырнул его, вытаскивая мешок картошки, он вдруг увидел потаенную в нем жизнь — какие-то червячки копошились там, какая-то жужелица промелькнула, сверкнув красноватым телом, словно живой буравчик, белая кладка неведомых личинок аккуратно лежала в прохладной вони погреба, дожидаясь момента, когда они станут шустрými червячками...

Всюду жизнь, но эта изнанка жизни Багрову не понравилась. Да и не могла нравиться. Как же может понравиться все это приготовление к

чему-то новому, неизведанному, когда легче всего на свете прогреметь, прозвенеть на весь свет и стигнуть во мраке, и пусть потом думают, что это было, почесывая в затылке рукой.

Но сейчас, когда Багрову надо было кровь из носа разобраться в том, что с ним происходит, сделать этого он не мог. Конечно, он же был не дурак какой и наконец сообразил, что с ним происходит нечто такое, о чем он никогда и нигде не читал и не слышал. Также он сообразил, что, когда закрывает левый глаз, то никакая мутотень ему не мерещится, хотя как сказать — тогда голова начинает болеть, да и сам глаз болит со страшной силой. Вот, собственно, и все. А какой из всего этого сделать вывод — понять было невозможно. Ведь он был просто человек, такой же как все. Но кто-то отвалил камень над ним и вот теперь смотрел воспаленным глазом, как он мечется, не в силах что-то понять.

56

— Где этот Багров? — в коридоре послышался истошный крик и в комнату ввалился главный редактор журнала Андройдов. Здоровенный, про таких псевдорусские сочинения говорят «орясина», у него были мягкой резины ладони, при пожатии рука в них просто утопала. Зато плечи были такого плотного жира, что он порой, находясь в прострации, мог вывернуть случайно подвернувшуюся дверь.

— Где рукопись Баталова?

— Какого Баталова? — не понял Багров.

— Ну, Багров, ну, Багров, — загундосил Андройдов, — он еще спрашивает! — И воздел очи горе. — Журнал надо сдавать, а ты рукопись Баталова про нефтяников держишь!

— Вы ее мне не давали, — пожал плечами Багров, возвращаясь к действительности, из которой он был выбит странными событиями последних месяцев.

Из-за шкафа, который отгораживал угол, на мягких лапках, покачиваясь, словно на пружинках, вышел, как тень, первый заместитель главного редактора Ноль Эдуард Абрамович, минут за пять до сего действия вернувшийся в кабинет со слабой улыбкой человека, исполнившего свой конституционный долг. Теперь он был жадно настроен и работал, словно радар, который не должен пропустить ни единого слова.

Багров стал оглядываться, словно припоминая, что он, кто он и что это за место, в котором он находится. Как всегда информация запаздывала, но потом в мозгу что-то щелкнуло, и он вспомнил все: и что, и кто, и где, и зачем. Ну да, он здесь работает, зарабатывает на хлеб насущный, и это место считается очень даже хорошим, за него, как ему талдычили со всех сторон, надо держаться.

— Вот когда я работал в обкоме партии, — брезгливо, на одной интонации загрохотал Волшебнов, — у нас там ничего не пропадало.

— Ну не надоооо!.. — уже почти завыл Андройдов. — Где, где эта рукопись?

За всеми этими делами Багров как-то упустил, что его ждет работа, все эти кучи рукописей, как правило, на самой плохой бумаге и самой истертой машинописью, словно тысячи редакций уже отказали их авторам и этот журнал был только очередным этапом на долгом пути в мусорную корзину. Но трусливый главный редактор Андройдов, который вообще плохо разбирался в людях, частенько, пугаясь тех нехитрых приемов, которые использовали авторы, ставил-таки на рукописи свою визу, и она

попадала к редактору, а именно к Багрову. А он потом сидел, мучаясь от желания бросить все к чертовой матери и уйти в прогуляться по коридору, понимая, что сделать ничего невозможно, не переписывать же рукопись от начала и до конца, просто-напросто вычеркивал, что можно, расставлял запятые и отправлял читать корректорам.

Но в этом случае он ясно помнил, что такой рукописи он не брал и ни о каком Баталове даже не слышал. Он оглянулся по сторонам. Никандров, как мягкая игрушка, тихо сидел за своим столом, уткнувшись в рукопись, которую он лихо чиркал направо и налево, словно был писарем в армии Буденного и составлял рапорт Троцкому. Сотни уже были пущены в распыл, а он все чертил и чертил, от волнения высунув язык. Порой в такие минуты он начинал напевать чувашскую песню, которую, видимо, выучил в детстве.

Багров перевел взгляд на Шалухина. Тот застыл в каком-то смутном состоянии, с таким выражением лица, словно в такие моменты его душа выключала механизм осязания, обоняния и что там еще бывает у людей и погружала его в коматозное состояние, лишь бы не видела, не слышала эта ранимая душа ничего отвратительного, что творится на свете.

Наконец Андроидов, который все это время стоял в ступоре, неожиданно бросился вон из комнаты. Что уж пришло ему голову — было непонятно. Багров вышел вслед за ним, он отправился в техотдел, потому что делать было все равно нечего, пока эта рукопись не будет найдена, буря в стакане воды не прекратится.

В техотделе сидел пьяный Иван Файрушин.

— Где Костин? — прохрипел он, пытаясь подняться со стула.

Никакого Костина не наблюдалось с утра, но Багров знал, что он где-то рядом, как истина в сериале «Секретные материалы».

— Скоро будет, — успокоил он Ивана. — Ты лучше скажи, не видал ли где на свете ты царевны молодой? Тьфу, блин, рукописи тут такой, про нефтяников?

— Да нет, что за рукопись?

— Про нефтяников? Нет, не видал. Где Костин?

Все это было дурным сном, который никогда не кончится.

57

Поиски рукописи заняли все время до обеда. Андроидов еще не раз вбегал в комнату, нападая на Багрова, которому, как ему казалось, он отдал рукопись, уже и сам Багров начал сомневаться в том, что ее не брал, и оттого два раза перебрал все, что у него лежало в столе и двух шкафах, которые он оккупировал под архив своего отдела. Ничего, разумеется, не было. Уже все были подняты со своих мест и даже Шалухина, который вообще-то заведующий отдела публицистики, тоже сорвали со своего места и чуть ли не насильственно привели к исполнению обязанностей земной жизни. Но рукопись не находилась.

Наконец, когда все методы были испробованы и даже в бухгалтерии был проведен шмон, Багров зашел в кабинет главного редактора. Напротив Андроидова сидел какой-то серый мужчина с натянутым выражением лица. Было ясно, что это какой-то отставной чиновник какого-нибудь министерства или на этот раз «Вашнефти», который недавно был выброшен на пенсию и решил покопаться в своих компроматах, вдруг там найдется что-то пригодное к печати. Скользнув по нему глазом и поздоровавшись, Багров подошел к столу главного редактора, который был завален перевернутыми бумагами.

Николай Антонович сидел в такой полной прострации, что уже не боялся этого посетителя, ему уже хотелось только одного — чтобы тот поскорее ушел. Вытянутая его физиономия еще более вытянулась, и было ясно, что скоро ее прорежут тысячи морщин, как трудолюбивые мураши, таща на свалку труды и дни. Есть такие люди, что стареют очень быстро, буквально на глазах. Бегал тут этакий пупсик, и вдруг — полный старик с потухшим взором и полным нежеланием жить. Но пока этого не произошло, пока энергия еще была через край и Андроидов держался.

Видя, что редактор не обращает на него внимания, Багров отвернулся и стал смотреть на высокий шкаф. На нем лежала какая-то папка, которая и торчала углом наружу. Вдруг за спиной раздался грохот — это Андроидов встал, уронил стул, быстрым шагом, сметая все со своего пути, подошел к шкафу. Он схватил край пачки бумаг, выдернул, посмотрел:

— Ну вот же она! Вот я и написал — «Багрову — в номер!» Я же говорил, что тебе передавал! На, возьми, — сунул он рукопись Багрову и обернулся уже к мужчине, выражение лица которого ничуть не изменилось.

— Аглям Наумыч, уж извините, но в следующем номере — непременно-с, — щегольнул он русским словом, каким, как всякий обрусевший чуваш, любил щегольнуть.

Аглям Наумыч медленно встал. Оказалось, что он как раз настоящий старик, уже далеко за семьдесят.

— До свиданья, — сказал он вяло, словно забыл, зачем пришел, пожал руки Андроидову и Багрову и вышел прочь из кабинета.

За ним вышел и Багров, но старика уже нигде не было. Удивившись такой прыти, он пошел в кабинет, сел за стол и открыл рукопись.

В коридоре посылшался веселый шум — это встретились, наконец, Файрушин и Костин. Багров поднял голову, улыбнулся и решил, что жизнь постепенно приходит к какой-то норме. В кабинете и вправду все притихло — Волшебнов листал журнал «Мурзилка», Никандров что-то искал на дне своей банки с обедом, Шалухин еще не вернулся из «Огонька», а за шкафом тихо скреблась мышь — это Эдуард Абрамович писал отчет главному редактору о нынешних по вверенному ему кабинету происшествиях. Словно почувствовав эти мысли, из-за шкафа медленно вышел Ноль и ни к кому особо не обращаясь, сказал:

— Вот стукнет сто лет — сяду писать мемуары!

От такого заявления все в кабинете чуть не попадали со стульев. Еще тридцать лет! Нолю, который в жизни не ударил пальцем о палец, нельзя было дать его семидесяти. Выглядел он молодожаво и не менялся последние лет сорок, точно старый вурдалак.

Багров вздохнул и уткнулся в рукопись.

Статья была про нефть. Багров уныло продирался сквозь привычные строки о том, что богатство республики прирастает этой самой кровью земли и т.д. и т.п. Ничего особенного от этой статьи он не ждал и поэтому даже пропустил момент, когда началось самое интересное. Багров знал, что нефть в республике стали добывать в тридцатые годы, называли это дело «Второе Баку». Тем его знания и ограничивались. Но тут у него волосы дыбом встали. Оказалось, что еще в начале XVIII века на реках Соку и Шешма, что текли на бугульминской возвышенности, нашли эту самую маслянистую жидкость! Багров просто развел руками, потому что

никогда он не слышал, чтобы башкиры колеса смазывали нефтью, чтобы лечили болезни суставов, чтобы жилища свои освещали! Блин, да нефтяной век пришел в Башкирию, еще когда Европа свечки жгла, свиной жир переводя гекатомбами! Или мегатоннами? — задумался Багров. — Да в общем, это неважно! — подумал он и углубился в историю.

Тут его поджидали старшина Надыр Уразметов с сыном Юсупом и друзьями Аслей и Хозей Мозяковыми. Долого они просили Коллегию разрешить им построить нефтяной завод. Блин, еще нигде ничего нет! А тут завод! Разрешение было получено, лихорадочно читал Багров, однако было построено только амбар для нефти, а потом по непонятной причине Уразметов умер (он заболел неизвестной болезнью). Испуганный сын не стал продолжать дело отца.

«Какая жалость», — подумал Багров.

И чем дальше он читал, тем больше убеждался, что какой-то рок преследовал эти места. Никто не мог наладить промышленной разработки, хотя нефть сочилась повсюду, а в реку Агидель вообще истекал поток асфальта.

В конце 19 века в Башкирию приехали люди Нобеля (какой-то агент Смит), и, прикинув что-то, заключили договора с владельцами территорий, чтобы те запретили вести изыскания. И только в 1930-м году в Ишимбае первая скважина дала нефть.

Багров задумался. В его голове пробегали видения одно другого слаще, что вообще-то называется геополитикой. Вот построен первый нефтяной завод, по всей России продаются лекарства и мази из нефти, а богатейший не по дням, а по часам Уразметов зовет ученых из Германии исследовать башкирское масло, как теперь называют нефть. Вот ученые находят способы перегонки и говорят, что его можно использовать для освещения домов взамен надоевших всем лучин. Потребление нефти возрастает в сотни раз, агенты Уразметова рыщут по всей Башкирии, пытаются найти нефть. Наконец возле Ишимбая они находят то, что искали. Кантонные начальники продают землю, племя башкир уходит в Казахстан, где потом еще сотни лет поют песню «Уразметов прогнал нас с родной земли». Выходец из этого племени Тагат Сагитов становится министром культуры Казахстана.

По всему ишимбайском району роют колодцы, однако нефти все мало. Наконец кураист такой-то находит способ — он говорит, что землю надо просто пробурить. Долго ищут, чем бурить, как бурить, наконец, ударяет первый фонтан нефти. Все вокруг загажено нефтью, такой грязи, как пишет очевидец, нет нигде, даже в аду. Башкиры сочиняют еще одну песню — «Ай, погубил Надир наш Урал, залил его кровью земли».

Башкирские керосинки расходятся по всей России, попадают в Среднюю Азию и на Восток.

Неслыханное богатство, попавшее в руки Уразметова, создает страшное напряжение. Башкиры отрекаются от него, и потрясенный Надир умирает. Его старший сын Юсуп, не желая покидать свой народ, бросает все и уходит кочевать в казахские степи. Все попадает в руки сына Юсупа, которого зовут Ходжа.

Ходжа, понимая, как много у него врагов, меняет веру и переходит в христианство. Он прибывает в Москву, заплатив огромные взятки, попадает к царю Павлу Первому. Император берет его под свое покровительство. Уфа становится нефтяным центром земли, в подвалах его банков хранится несметное богатство...

59

— Багров, ну как ты там? — раздался над ухом голос Андроидова.

Не сразу пришедший в себя Багров только моргал, пока до него не дошло, что реальная жизнь все еще продолжается. Наконец он справился с собой и ответил, пожимая плечами:

— Все нормально, а в чем дело?

— Ну, Багров! Ну, Багров! — театрално вознес к небесам руки Андроидов. — Ты когда статью сдашь?

— Сейчас. Осталось только две страницы.

— Ты сколько сидишь над статьей? Уже час? Ну, Багров! Ну, Багров! — и Андроидов опять затянул свою любимую песню.

Было странно видеть, как здоровый мужик под пятьдесят натуральным образом плачет и ноет. Но сколько бы ни видел Багров начальников, почти все они были такие. Делать было нечего, и Багров уткнулся в статью. Оставалось ему и правда немного. Казенные слова лихо летели под бдительным оком Багрова, и вот уже скоро будет поставлена точка, и рукопись отправится в техотдел.

60

Выйдя в коридор, Багров столкнулся с Юрием Алексеевичем Ерофеевым, внештатным корреспондентом практически всех уфимских изданий. Энтузиаст-краевед, он прославился тем, что нашел в первом издании краткой энциклопедии Башкортостана ровно тысячу ошибок.

— Я бы нашел и больше, ну думаю, пора остановиться! — любил он рассказывать об этой истории всем желающим в курилке третьего этажа дома печати. — Я понимаю, когда Героя Советского Союза называют Героем Социалистического Труда, я понимаю, когда кандидата наук называют доктором наук, но я отказываюсь понимать, когда Каценеленбогена называют Петровым!

И журналисты весело хохотали вместе с ним, нисколько не напрягая память, потому что не знали, кто такой Каценеленбоген и почему он назван Петровым. Их скорее смешил неподдельный гнев опытного коллеги. Столько лет в прессе — пора бы и привыкнуть ко лжи. Ан нет, правда себе дорогу пробьет, несмотря ни на что!

И на этот раз неподдельное возмущение было на челе заслуженного журналиста и краеведа. С ним, конечно, пытались бороться с помощью русского народного лекарства, но то ли доза была маловата, то ли печаль глубока, в любом случае, уныние не сходило с ясных очей Юрия Алексеевича.

Обрадовавшись знакомому лицу, он неловким движением руки схватил Багрова за плечо и стал говорить ему что-то — быстро и довольно неразборчиво. Багров отвечал ему такими же междометиями, и это мчание продолжалось довольно долго, пока они не отошли к противоположной стене коридора. Там, почувствовав опору, Ерофеев проделал сложную комбинацию с лицевыми мускулами — он энергично поморгал глазами, затем подвигал челюстями, потом уже вообще замахал руками, сдвигая с места позвонки, и только затем довольно внятно рассказал Багрову причину своего страшного недовольства.

Оказалось, что месяца три назад он принес в журнал статью про Матроса. Ее приняли, поставили в номер, и вдруг ее не оказалось! А Ерофеев на нее рассчитывал! Он деньги занимал! А статьи нет! После того,

как Багров выслушал это раз семь или восемь, он решил внести разнообразие в этот диалог и спросил, что это за матрос такой и как он прошел мимо его отдела.

— А в том-то и дело! — оживился Ерофеев. — Андронидов ее прочитал, сам отредактировал и тут же отдал на верстку.

— И что? — сказал Багров. — Это все? Может, он не передал ее в техотдел. — Нет-нет-нет, встрепенулся Ерофеев. — Отдал, я сам видел ее в верстке.

— Ну ладно, — пожал плечами Багров. — А про что хотя бы статья? Что это за блин такой матрос?

Оказалось, что это целая история. Матрос был не простой. В июле 1941 года в Уфу прибыла целая семья Матросов — Григорий Ефимыч, Аркадий Ефимыч, и еще несколько ефимычей и их жен и детей. Григорий Ефимыч организовал в Уфе детский драматический театр, в котором и служили все его родственники. Из сорока человек штата не было ни одного, кто бы не был его родственником, к примеру, завпостом служил некто Ефим Григорьевич Матрос, а именно двухлетний сын Григория Ефимовича.

За год существования театр не поставил ни одного спектакля, но паек получал исправно. Мало того, он получил в свое распоряжение здание, которое сдавал в аренду каким-то эвакуированным предприятиям.

Самое смешное, как он погорел. Оказывается, Григорий Ефимович добился в Минкультуры СССР, чтобы все театры Башкирии объединили под его началом! Когда обком узнал об этом, поднялся страшный скандал. Как это всеми театрами республики будет руководить неизвестно кто! В конце концов, дело дошло до Сталина. Узнав, что в Башкирии всеми театрами командовал, как оказалось, недоучившийся агроном, Сталин долго смеялся, а потом сказал — в аграрной республике, каковой является Башкортостан, руководить театрами в частности и культурой в целом должны специалисты с высшим сельскохозяйственным образованием. Но Матроса от должности отрешил! С тех пор в республике министрами культуры ставились только выпускники сельскохозяйственного института.

— Да вы, Юрий Алексеевич, со Сталиным своим просто антисемиты, — засмеялся Багров.

— Он был белорус по паспорту, — грустно сказал Ерофеев. — При чем тут антисемитизм!

— Н-да, — протянул Багров. — И действительно — ведь статья должна была выйти, но не вышла. Что за таинственные силы выдернули ее с полосы, уже из готового оригинал-макета журнала?

Как ничего хорошего не может быть из Назарета, так все плохое в редакции происходило от одного человека.

— Ну пойдёмте, поищем, что ли, — вдруг сказал Багров и потащил Ерофеева за собой. Он ввалились кабинет, где оказались в самой гуще спора.

— Ну ка-аак же та-ак может быть? — возмущался Ноль. — Как же это без графы «национальность» в паспорте? Прав Рахимов, что отстаивает ее, тысячу раз прав.

— При нас, коммунистах, никто бы и не пикнул, — бурчал Волшебнов. — Партия, правительство лучше знают, что надо, а что не надо. Мы в партии сто раз выверяли, прежде чем принять решение.

— И охота вам спорить по пустякам, — вдруг взорвался Шалухин и выскочил вон из кабинета. Никто и не заметил, как он вернулся из своего волшебного мира снов и иллюзий.

Неловкая пауза повисла в воздухе.

— Эдуард Абрамович, — вдруг обратился Багров к первому заместителю главного редактора. — А как была девичья фамилия вашей матушки?

— А? Что? — Ноль словно очнулся от глубокого сна. Усилие пробежало по его лицу, усилие, сообщавшее мьшцам выражение чистоты, невинности и заинтересованности. Но поскольку сил на все не хватало, видимо, поэтому он и сказал:

— У нее была очень необычная белорусская фамилия — Матрос, а в чем дело?

— Да так, пустяки, — улыбнулся Багров и потащил Ерофеева в коридор, бормоча по дороге радостным голосом. — Ну вот, не всему же на свете есть таинственные объяснения!

— Все ясно, — сказал протрезвевшим голосом Ерофеев. — Но где же мне занять денег? Где же теперь занять четыреста рублей?

На это Багров ничего не мог сказать, ибо до полочки было далеко, а в кармане тоже было пусто.

61

— Лена, Милаяуша! Привет! — почти пропел Багров, толкая дверь, обитую тонким листовым железом — жалкой защитой от воров, буде они покусятся на государственное имущество. Это была единственная такая дверь во всем Доме печати, остальные как-то доверяли смуглому прапорщику с деревенским обиженным лицом ребенка, который сидел внизу, на вахте. Однако за этой дверью хранились неисчислимы сокровища в виде двух компьютеров технического отдела журнала «Байские попреки» и двух прелестных существ женского пола, сотрудниц этого отдела, с которыми у Багрова установились теплые отношения, которые выражались в том, что они часами болтали о всяких пустяках и весело хихикали, что вообще-то вовсе не было похоже на сумрачного типа, каким был Багров. Видимо, он и сам был существом иного рода, хотя, несомненно, мужского.

Однако на этот раз никакого ответа он не получил. Оба прелестных существа сидели, уткнувшись в свои мониторы. Ясен пень, надо сдавать журнал, и как он опять об этом забыл? Делать было нечего, и Багров положил свою отредактированную заметку на стол (милоостивый кивок означал, что его заметили) и вышел в коридор. Возвращаться в свой кабинет не хотелось, и потому Багрова, он теперь бесцельно шатался по коридору, в конце концов, словно пчелу, случайно задевшую неведомо куда, прибило к окну, и он уставился довольно безразличным взглядом на улицу, по которой сновали люди. Вниз они шли к центральному рынку, вверх — к автобусно-троллейбусной остановке.

Никаких таких особых мыслей у Багрова не было, и думать, в общем-то, не хотелось. О чем тут думать, если мысли ни к чему не приводят, словно ты упираешься в невидимую стену. Вот как сейчас — вроде бы все видно, все пути открыты, но впереди невидимое что-то не пускает тебя. Хорошо, что человеческим умом ты понимаешь, что это стекло. А если бы и вправду был пчелой? Однако аналогии тем и плохи, что работают в узком диапазоне. Какой-нибудь ловкий негодяй тут же бы сказал, что дело пчелы жить себе в деревне и таскать мед в улей. То ли дело муха!

Тут Багров инстинктивно скрутил газетку, которую он носил с собой в руках (это была «Вечерняя Уфа» с очередным касымовским «Литальманахом»), и ловко прихлопнул надоедливую муху, которая на секундочку присела на стекло. И правда, не все же мельтешить, как миниатюрный

вертолет, стреляющий невидимыми микробами по людям, надо же и себя показать, вот какие мы ловкие! И муха приземлилась на стекло и даже пошевелила лапками, словно член политбюро на трибуне. Но было поздно. Не на того напала.

Почти тут же позабыв о происшествии, Багров продолжал размышлять о своем. Странное дело — он уже как-то привык к тому, что с ним случилось и что продолжают происходить какие-то странные дела. Теперь он даже стал находить в этом какую-то свою прелесть. Правда, взрывать машины не есть хорошо, тем более с живыми людьми внутри, он и не собирался этого делать, но сама возможность очень даже обрадовала Багрова. Так что страх прошел, и осталось самое приятное — мечты о том, как же он распорядится этой внезапной открывшейся возможностью. Пять или шесть минут пролетели почти что в полубагбеге, прежде чем Багров поймал себя на мысли, что думает он только о деньгах. Это открытие его неприятно поразило. Ему казалось, что безумие начала девяностых годов, когда все вокруг только и думали, как бы по легкому срубить бабла, его отпустило. И вот они, те же мысли, никуда они не делись!

Багров вспомнил, как бросил свою многотиражку на уфимском нефтеперерабатывающем заводе, как снимал комнату в Зеленой Роще, как они с Юнусовым продавали нефть и как однажды тот же Юнусов ему сказал:

— Знаешь, здоровье уже ни к черту — на четвертый день пить уже не могу!

Багров улыбнулся при этом воспоминании, и потому ничуть не удивился, когда, случайно посмотрев вниз, на дорогу, увидел, что мимо Дома печати к центральному рынку идет не кто иной, как сам Юнусов. А вдруг, решил Багров, у него теперь есть способность вызывать людей, только подумав о них? Еще тридцать секунд пролетели в развертывании этой возможности, и опять Багров недовольно нахмурился, когда обнаружил себя сидящим на куче денег. Ну ладно, подумал он, хотя бы так. За это время Юнусов уже прошел шагов сорок, шел он как-то странно, с каким-то креном в сторону от Дома печати, словно его тащили на невидимой глазу веревке. Проследив эту самую линию, Багров вдруг обнаружил, что Юнусов направляется к перекрестку, над которым на высоте человеческого роста висит не что иное, как черный шар, каковой он наблюдал не так давно в театре «Нур». Сердце Багрова застучало так, словно ухнуло в невидимую яму, и он, не помня себя, пробежал вниз по лестнице, на ходу поворачивая лицо налево и направо. В двух местах ошугимо ударившись о перила, он выскочил на улицу, и дверь смачно чавкнула у него за спиной. Какую-то долю секунды он постоял на крыльце Дома печати, оглядываясь по сторонам, а потом побежал к перекрестку.

Но никакого Юнусова там не было.

Багров сильно мотнул головой из стороны в сторону, ничуть не опасаясь, что она выскочит из природных своих пазов. Мимо шли люди, но нигде ни Юнусова, ни черного шара не было видно. Багров заморгал и только теперь почувствовал, как сильно перепугался. Сердце его, которое перешло на новый ритм, билось в ушах, в горле пересохло, словно на уроке физкультуры после километрового кросса, и вообще состояние было неважнецкое.

Багров вот уже минут как двадцать сидел на скамейке возле памятника Шагиту Худайбердину, что вылезает, словно подземный демон, из

камня на площади перед Домом печати. Мимо пролетал апрельский ветерок, проходили коллеги-журналисты, улыбались измученными нарзаном лицами, здоровались, перекидывались новостями, самой главной была, что бабая скоро скинут. Багров улыбался в ответ, он-то знал, что еще не скоро, что еще рано, в общем, ничего он не знал, но что-то подсказывало ему — ждать перемен в обществе глупо. Главная перемена — в тебе, друг мой, повторял он. И доповторялся, потому что успокоился и решил пойти на работу — ведь там его ждала гора рукописей, а в них — слова, требующие вмешательства, приведения в божественный порядок его рукой.

Багров встал и сделал несколько шагов к Дому печати, когда дверь здания открылась и на крыльце появился не кто иной, как Андроидов. Безотчетно Багров остановился и посмотрел на главного редактора журнала «Бездны агитатора». Остановился и Николай Антонович, совсем уже непонятно почему.

Вот так они стояли и смотрели друг на друга, словно это была их последняя встреча, словно нить между ними натянулась и стала явственной ощутимо. Вдруг в какой-то момент Багров почувствовал, что... что стоит на крыльце и видит на площади перед Домом печати не кого иного, как самого себя! И в этот самый момент он почувствовал, что он уже не Багров, что он почему-то вошел в голову Андроидова, который вовсе и не Андроидов, а фамилия у него какая-то другая, очень простая у него чувашская фамилия, настолько простая, что Багров ее забыл, как забываешь, сколько остановок надо ехать к Дому печати.

Вдруг Багров увидел перед собой всю жизнь своего старшего товарища, словно она только и ждала, чтобы предстать перед кем-то в своей жалкой и вместе с тем даже какой-то трогательной наготе.

Детство в провинциальной Уфе где-то на улице Аксакова, в деревянном доме, страшное потрясение детства — в дом забрался уголовник, напугал подростка Колю до полусмерти, оттого, видать, и стихи начал писать, не в силах побороть этот ужас. Потом армия, институт, семнадцать лет в местном издательстве, где над ним издевалось начальство, которое ни в грош его не ставило, заставляя донорствовать — дотягивать до нужного уровня безграмотные подстрочники местных поэтов. Раблепствующий перед начальством, гонорливый, как шляхтич, перед авторами, вдруг оказался он в кресле главного редактора, просто потому, что выжили, не спился окончательно. И тут ему стало еще страшнее, поскольку каждый день он боялся, что его выгонят, снимут. А тут и новый первый его заместитель Ноль все нашептывал, пугал несуществующими угрозами и людьми. Им всем искренне хотелось только одного — чтобы все было тихо и мирно. А так не получалось. Немудрено, что в нем возникла и стала расти неведомая болезнь...

Видение схлопнулось, Багров почувствовал страшное смущение. Андроидов, видимо, тоже чувствовал себя не лучше. Он стоял и хлопал глазами, словно только что очнулся от сна. Вот так смущенно улыбаясь, словно увидели что-то постыдное и вместе с тем трогательное, они прошли мимо, делая вид, что не замечают друг друга.

Багров вошел в здание Дома печати, еще раз поздоровался с милицейским сержантом, самый вид которого говорил о том, что он стережет, как минимум, атомный секрет страны Советов, и прибавил шаг — коллеги один за другим заходили в лифт. Продравшись сквозь закрывающиеся двери, он и сам не заметил, как потом вышел на третьем этаже, где была редакция газеты «Вечерняя Уфа», где служил (его слово) литературный критик Александр Касымов.

Багров вдруг решил повидаться с ним, раз он уже оказался здесь. Но в кабинете никакого Александра Гайсовича не было. Кабинет вообще был пуст, словно в нем зияла пробоина в иной мир, не факт, что хуже среднего. Багров сел на стол и стал болтать ногами, раздумывая, куда бы мог скрыться Касымов, который если выходил в последние годы, то только в командировку в Москву на какое-нибудь литературное мероприятие. Но в голову ничего не приходило, лезли только какие-то мрачные лица, какие бывают в очередях за государственными бумагами.

Багров сидел так довольно долго, пока в нем не перегорело желание стать немедленно хорошим. Идти к себе ему уже не хотелось. Он все так же медленно пошел на выход.

63

Багров более или менее успокоился, он снова прогуливался по площади перед домом печати. И когда, дойдя до улицы, он совершенно случайно поднял глаза, то вдруг увидел, что черный шар как ни в чем не бывало висит над перекрестком как раз на высоте его груди. Только что его не было, и вот он снова есть. Надо же! А может, он все время здесь висел, но Багров его впопыхах и не увидел!

Он подошел поближе. Вблизи шар не производил никакого такого впечатления. Багров оглянулся. Было похоже на то, что люди, которые проходили мимо, вовсе его не замечали, а машины — тут загорелся зеленый и они поехали, задевая шар, но никак не влияя на его положение. Багров почесал затылок, дождался, когда все машины проедут, и, в общем-то, не зная, как поступить, протянул руку и осторожно ткнул пальцем шар. Прогнувшись, как воздушный шарик, поверхность пропустила палец, но более ничего не произошло. Багров покрутил пальцем и осторожно вытянул его обратно. Эффект был тот же, то есть нулевой, хотя по ощущениям Багрову показалось, что он просто опустил палец в весеннюю лужу.

Он пожал плечами. Так был неинтересно. Страшный черный шар оказался безобидной игрушкой. Как это глупо! А он хотел спасти от этой штуки Юнусова. Багров опять посмотрел налево и направо, однако, ясное дело, никого не обнаружил. Даже машин на горизонте не наблюдалось. Опасаться было нечего, и тогда Багров взял черный шар в руку и осторожно его сжал. Что-то ласковым током побежало по руке, пощекотало подмышки, ласковым перебором пальцев устремилось к правому уху, и ясный мир в глазах Багрова внезапно схлопнулся в черную точку для того, чтобы через долю секунды развернуться вновь, словно экран в кино-театре. Все звуки мира внезапно отключились, их место заняло какое-то шушшание. И вот уже по экрану побежали титры на неизвестном языке и гнусавый голос ясно сказал: «Кинокомпания «Культур-мульти» представляет. Художественный фильм «Как умирал Бассареев». После чего включилось действие.

Как умирал Бассареев

Сценарий художественного фильма.

Все персонажи вымышлены.

Бассареев шел по улице вниз от Дома печати к Центральному рынку, когда на проезжей части улицы остановилась машина и оттуда вышел человек, имени которого Бассареев не знал, но видел пару раз на тепло-

ходе, в казино. Он крикнул: «Эй, Ардашов!» и Бассареев не успел ничего сообразить, как оказался в машине — его довольно грубо впихнули в нее два человека, которые шли за ним уже некоторое время.

Все происходило настолько быстро, что он стал ощущать страх только спустя некоторое время, когда он вдруг обнаружил, что висит в воздухе вниз головой, причем подвешен он был только за левую ногу, а правая ненужно болталась в воздухе. Должно быть, я страшно комично выгляжу со стороны, подумал он, при том, что он привык выглядеть комично по собственной воле, но тут что-то было не так, и он испугался очень сильно, кровь прихлынула к его голове, и он почти перестал соображать, кроме того, что он должен выглядеть хорошо, он должен выглядеть хорошо.

Его внутренний монолог прервала страшная боль в районе живота, которая стала быстро подниматься и вдруг вступила где-то возле левой стороны груди. Боль была очень знакомой — сердце Бассареева пошаливало, все же было ему за тридцать, и он был поановат. Но такой боли он не испытывал никогда, она ударила, как тонкое острое шило, так что он просто перестал дышать и только тарашился на трех или четырех мужиков, которые что-то у него спрашивали.

На какое-то время он переставал их видеть, они придвигались к нему и исчезали, а когда вновь появлялись, изображение было каким-то мутным, и Бассареев обнаружил, что глаза залепяет какой-то жидкий клей, так что вскоре он почти перестал различать тех, кто его привез на этот пустырь.

Он вдруг обнаружил себя на пустыре, уже не вниз головой, над ним было небо, яркое небо полудня, бешеным взором Бассареев оглядел вокруг и заметил, что это свалка, какие-то детали каких-то машин — он резко придвинулся и вдруг понял, что это обгоревший кузов девятки, которая была куплена два года назад Михаилом Соловьевым у некоего Чураголова из Чишмов, Соловьев купил ее на деньги, на которые они должны были купить гарнитур, обидевшись, жена от него ушла, он напился пьяным, сел за руль и разбился... Удивившись, какая странная информация лезет ему в голову, он в какую-то тысячную долю секунды вернулся обратно и увидел, что несколько человек окружили что-то странное — кровавого с розовым цвета, и вдруг с ужасом понял, что это — он сам. Он попытался снова стать тем, кем он был секунду или другую назад, но не смог — тело его не принимало, и он уже забыл, каково это — быть вместе. Теперь ему казалось, что этот визжащий комок уже не он, в ушах звенело, кто-то кричал, на одной ноте, кто-то говорил, как будто включили все радио на свете и нет сил дотянуться до ручки, в голову лезли мысли, мысли, он ни о чем не думал, за ним что-то было, что он не мог увидеть, повернувшись мгновенно, теперь он делал это запростяк, не то, что раньше, и было такое чувство, что его закалинило — он впал в ступор от мысли, что он, человек, который должен выглядеть великолепно всегда, вдруг оказался в такой нелепой позе, в таком нелепом положении, в такой нелепой ситуации. Он впервые не знал свою роль. Бассареев силился понять, что же ему мешает, отчего он чувствует такую ужасную боль, хотя он уже не чувствовал никакой боли — все ушло, ушли те люди, удалился он сам — он вдруг обнаружил способность легким движением — руки — пальца — мысли — перемещаться в места, в каких он не был никогда, яркие краски захватили его, все смешалось, он двигался так быстро, это было таким захватывающим зрелищем, что он подумал, что это его лучшая роль, хотя, как

ни странно, он чувствовал, что не знает ни одного слова, он не был готов к этой роли, и еще — он не видел зрителей — они тонули в полумраке более густом, чем это бывает на сцене его родного театра.

Он вспомнил, что он актер, он вспомнил работу, он вспомнил свою жену и детей, и тогда он понял, что умер.

Теперь было нечего делать, кроме как попытаться понять, что же случилось, что привело его к такому концу, но вспомнить он, странное дело, ничего не мог. Он видел лица детей, пяти и восьми лет, девочка и мальчик, он уже не помнил, как их зовут, и с ужасом подумал, что не помнит, как зовут его отца и мать — отец ушел от них, когда ему было года три или четыре, мать была жива. Они оба были живы. Живы, — подумал Бассареев, вот в чем дело, он растерялся и уже не знал, что делать, что предпринять, если он не может вспомнить, что такого с ним случилось. Должно быть, инфаркт, подумал он про боль в сердце, что же он сделал не так — деньги, их было около пяти тысяч долларов, он хотел купить машину, что такое машина? Он ехал на машине и увидел на остановке девушку, о которой ему рассказывал приятель, показал фотографию, он остановился, они познакомились. Кто была эта девушка? Его жена? Она будет переживать, что нет денег, деньги, да, что-то было с деньгами. Он вдруг обнаружил себя в темноте, рванулся и выскочил к небу, где было светло и где светилось что-то странное, очень теплое и зовущее. Я — мертвец, — подумал он, — я могу делать все, что захочу, я могу полететь на солнце. И он стал махать руками и дергаться в воздухе, чтобы взлететь. Странно, — подумал он, — я не придвигаюсь ни на шаг, но ведь только что я был далеко отсюда, а теперь — он поднял голову и увидел, что солнце само придвинулось к нему и в мгновение ока поглотило его, он почувствовал себя в чем-то горячем и стремительном, как кипяток, это двигалось, как воздушный поток, не сворачивая. Еще секунда — он вдруг почувствовал приближающееся нечто, темное и большое, куда они — он понял, что был не один — все взлетели — и раздался такой огушительный свет, как если бы взорвались все фейерверки мира над самой большой сценой, какая только может быть в театре.

64

Багров глупо засмеялся и разжал руку. Мир, каков он есть, медленно проявился обратно и занял положенное место. Черный шар снова висел над перекрестком и не собирался никуда исчезать. Какое любопытное кино! — подумал Багров. — Какие интересные перспективы открываются, — подумал он же. — Как будет любопытно обставить Голливуд, если освоить эту технологию, — получила свое развитие эта мысль, и он чуть ли не на одной ножке попрыгал дальше вниз, по улице 50-летия Октября по направлению все к тому же Центральному рынку.

Ну, надо же было такому случиться! Зловещий черный шарик, которого так боялся Багров, оказался ничем иным, как просто-напросто неизвестным пока не только науке, но даже физиколюбителям, деревенским кандидатам на Нобеля, способом имитировать события окружающей нас жизни! Как любопытно! Как здорово! Феерические мысли о съемках кино с лучшими красотками вселенной захватила Багрова, и он очнулся, только когда вместо Аны Беатрис Барроз поцеловал дверь магазинчика «Подписные издания», к которому его сами принесли ноги. Этот магазин находился в двух или трех шагах от перекрестка, и частенько Багров его навещал в обеденный перерыв. Это был любимый магазинчик журналистов дома Печати.

Но Багрову сегодня как-то не хотелось рассматривать книжки, сегодня отчего-то хотелось петь и танцевать, как это бывает, когда страшная опасность пролетит по касательной.

В магазине, естественно, были посетители, они гуляли вдоль полок, брали в руки книги, слюнявили пальцы, перелистывали страницы. Положив книжку на место, они что-то спрашивали у продавщицы, выслушивали их, а затем уж либо рука тянулась к карману за последней сотенной бумажкой, либо, наоборот, пожав плечами и как-то сгорбившись, они покидали магазин.

В своем хорошем настроении Багров даже не знал, как ему быть, что такого отчебухить. Он поздоровался с знакомой продавщицей, в растерянности посмотрел налево и направо и в дальнем углу заметил точно такой же черный шарик, какой он видел на улице. Не понимая, что он делает, Багров подошел к нему и, размахивая пальцем, как оратор на трибуне, с размаху проткнул его. К удивлению Багрова свет вокруг него не померк, просто — в ушах зачвакало и неприятный голос сказал буквально следующее, причем со страшным акцентом: «Один татарин приехал в Уфу из-за границы. Он был очень известен во всем мире и думал, что на родине его тоже примут очень хорошо. Но ему не разрешили встретиться со своими педагогами, общественностью республики и даже не пустили в училище, где он когда-то учился. Этот татарин обиделся и уехал обратно, где вскоре умер неизвестно отчего».

Багров вытянул палец обратно, зачем-то облизал его и задумался. Ему решительно не понравилось, что на сей раз не было кина. Подумав, он решил, что дело было в том, что в прошлый раз он этот самый шарик сжал. Он почесал правую щеку и, быстро протянув руку, схватил черный шарик. Потная ладонь сразу же высохла, похолодела, и уже другой голос, уже без никакого акцента, заговорил, словно продолжая прерванную радиопередачу:

— Таким образом удалось организовать подпольную резидентуру КГБ в Париже. Никого уже не смущали многочисленные молодые люди, что прибывали и убывали в неизвестном направлении, все они считались любовниками Рудольфа Нуриева. Так же это была идеальная крыша для путешествий по всему свету. В конце концов, Нуриев был удостоен звания генерала КГБ, стал Героем Советского Союза. Однако в какой-то момент все ему надоело, и он стал проситься обратно в Россию. Он мечтал снова выступать на сцене Башкирского театра оперы и балета. Но мечтам его не было суждено сбыться...

В себя его привела какая-то тишина, вдруг наступившая в магазине. Багров обернулся и увидел, что все посетители и продавцы смотрят на него. Багров пожал плечами, нелепо взмахнул рукой, изображая поэта Владислава Троицкого, который именно так читал свои стихи, и стал рассматривать бесконечную Сметанину, которой были заставлены полки магазина.

— Какой нелепый эффект, — думал он. — Никакого изображения, одна звукозапись. Да, придется поломать голову.

И, снова поймав себя на мысли о больших деньгах, он чертыхнулся и отошел недовольно к полке, на которой стояли всякие фантастические книжки.

— Извините, а когда будет восьмой том собрания сочинений Гарри Гаррисона? — спросили у него над ухом. Багров обернулся и увидел парня лет тридцати пяти, прилично одетого, с редким еще в Уфе сотовым в руках и с пейджером на поясе. Да и одет он был, ясное дело, не на китайском рынке.

Короткие переговоры завершились тем, что парень купил пятитомник Филипа Дика, который, как оказалось, недавно появился в магазине.

Этого парня здесь явно знали. Прислушавшись, Багров понял, что этот парень — владелец какого-то супер-пупер магазина, и он любит читать книжки, что у него большая коллекция этой самой фантастики. Как интересно, подумал Багров, но уже никаких выводов делать не стал. Какой тут можно сделать вывод? Любит человек читать — пусть читает. Багров по привычке полез в «потолщю», отголосок педагогического детства с пятитомником Макаренко на полке, и уже повернулся, чтобы пропустить парня. Глядя в его удаляющуюся спину. Он понял, что это Казакбуллин Ильдар Дамирович, 1964 года рождения, владелец магазина «Глобал Инвариант», который торгует элитной верхней одеждой. Но этот бизнес только прикрытие, а на самом деле...

Но тут перед глазами Багрова зашелестела киноплёнка с видом книжных полок, и голос в его голове сообщил, что на основе этого собрания в республике будет открыт уникальный музей фантастики и детектива.

«Тьфу ты, — подумал Багров, — журналистика какая-то, какое-то агентство «Башинформ». Между тем Казакбуллин, как ни в чем не бывало, вышел на улицу, сел в большую черную машину, каких Багров еще не видел в Уфе, и уехал.

Багров смотрел ему вслед, словно впервые видя какой-то плавный след, плывущий в воздухе за машиной, какой бывает, когда курсор мышки работает в особом режиме. «Днем на работе, вечером читает книжки — что в этом плохого? — подумал Багров. — Да, так и пройдет его жизнь. Но ведь он-то этого не знает, а я знаю. Стой! Так ведь музей создадут, потому что этому парню придет кирдык! — спохватился Багров, вдруг вспоминая еще какой-то кусочек информации. — И что теперь делать? Идти предупреждать? Он спросит, откуда я это знаю? А как сказать, откуда? А вдруг все это только сказка, какая-то информационная наводка, — подумал Багров. — Вдруг все не так? Откуда мне проверить?»

Тут ему открылся еще какой-то кусочек информации, и он отправился дальше к Центральному рынку, не зная, чему и верить, от его хорошего настроения не осталось и следа.

65

Тилибомкнул негромко телефон, и Соловьев ткнул пальцем по иконке. «Раааботаем», — сказал он негромко и неловко встал с кровати, на которой провел уже столько времени, что слился с ней очертаниями. Гамаюнов храпел на соседней. Он не шевелился, и только подрагивание большого носа выделяло его из мира мертвых.

Возвращаясь к срединному состоянию, Соловьев стал медленно, но весьма целеустремленно собираться в нечто целое. Его руки то удлинялись на всю комнату, то сжимались в точку на теле, пока он не почувствовал себя готовым — просветленным на все сто процентов. Наконец, он взял в руки небольшой чемоданчик, отрегулировал его вес в руке, шагнул к двери и вышел, щелкнув китайским замком.

Гамаюнов уже ждал его на улице, в автомобиле. Как он вышел раньше Соловьева, откуда авто — спрашивать было бессмысленно. Мир медленно двигался вокруг, подчиняясь незримой воле тех, кто видел в нем свои ходы и направлял по ним свое живое орудие.

Багров дошел до кафе «Уньш» и по привычке посмотрел на него. Там всегда кто-то был из коллег, кто остановился на минуту поговорить с Гекльберри Финном. О, коллеги, коллеги! Кто бы воспел судьбу провинциального журналиста с его мечтами и надеждами, с его скучной обыденностью и волшебным мигом удачи, когда кажется, что ради нескольких строчек в газете можно было жить, как будто в его руках волшебное, ни с чем не сравнимое орудие, преображающее небо и землю!

Багров вспомнил жаркий сентябрьский день, когда в Доме печати прощались с одним из стариков-журналистов, который, как говорили в толпе, сгорел на работе. В фойе было скученно, стояли ровесники покойного, набежавшие, как репортеры, со всех сторон. Они и были репортеры, старая хватка никуда не делась, и только угрюмые лица цвета киви выдавали их с головой. Так много информации прошло через них, что они теперь и сами были рабы ея, мысленно обрабатывая текст, гоня его к печати:

«Вчера в Доме печати состоялось прощание со старейшим журналистом...»

И в свежем номере выйдут стишки покойного, поэзия, нелюбовь к которой скрывается под фразой типа — напечатай одного, все графоманы набегут, не замечая иронии, спрятанной в ней...

Легко ли полновесность бытия переводить в штампованные фразы, в удобоваримые, как части конструктора, свидетельства незыблемости картины мира, в которой все идет в топку, даже собственное небытие. Так что перехватишь в «Уньше» стопку концентрированной информации и снова за работу, за дело, за старинное дело свое...

Из «Уньша» вышло несколько алкашей и прошли мимо Багрова по своим неотложным делам. Вслед за ними вышел, как ни странно, Юнусов.

— О, Багров, — сказал он, улыбаясь шире обычного. Он был явно весел.

— Юнусов! — в тон ему откликнулся Багров. — Ты что тут делаешь?

— Есть такое волшебное слово «менеджмент!» — улыбнулся Юнусов. И они стали разговаривать. Со стороны это походило на какой-то спектакль, потому что бывает ли в жизни, чтобы люди так общались — весело, спокойно, непринужденно? Чтобы смеялись от души? Чтобы буквально прыгали от радости, от удачно сказанного слова, шутки, от анекдота?

Мрачному человеку, страдающему от бодуна, все на свете кажется фальшивым, даже каким-то непристойным, нарушающим торжественное течение трагического мирозерцания. Собственно, поэтому все это не могло продолжаться долго, и Багров с Юнусовым расстались. Правда, перед этим Юнусов рассказал, что ушел из своего магазина, что теперь безработный, долги, что...

— А что там случилось с карасем?

— Каким карасем, — не понял Юнусов.

— Ну, ты же рассказывал, что у вас в аквариуме жил карасик.

— А, это смешная история получилась, — обрадовался Юнусов. — Туда запустили коллеги пираний, ну, купили по случаю. Эти пираньи и сожрали щуку. А карась как забился куда-то в игрушечный кремль, так и жил там, перебиваясь крохами. А потом мы забухали, забыли кормить рыб и пираньи сдохли. Теперь там живет один карасик! Вот такие дела!

Багров засмеялся от такого неожиданного исхода, и они попросились. Юнусов торопился, волшебное слово «менеджмент» звало его в дорогу, которой не было конца.

67

— Куда ты лезешь, идиот!

Истощенный крик вернул Багрова к действительности, и оказалось, что обращен этот крик вместе с определением к нему самому. Он проходил мимо огромного здания «Башкредитбанка», когда завернувшийся мерседес чуть не сбил его с ног. Из машины выскочила молодая женщина в состоянии самого крайнего возбуждения.

— Я два года сосала член, чтобы купить эту машину! — заорала она, явно не соображая, что говорит. Поток ярости обрушился на Багрова, и чтобы как-то защититься, инстинктивно, он выставил вперед руки и закрыл глаза. Это был страх, хотя с чего бы так пугаться какой-то уличной дамы? Но вместе с тем это было что-то новое, какой-то жест, который к нам приходит, когда мы его перенимаем у кого-то. Тут перенимать было не у кого, но жест — вот он, он был реален.

Как это ни странно, буквально через долю секунды крик прекратился вообще. Багров осторожно открыл один глаз, за тем второй. Молодая женщина удивленно смотрела на него, явно ничего не понимая. Боковым зрением Багров видел, как она стремительно превращается из ****, «Башкредитбанк» в ****, заведующую отделом банка «Уралсиб». Это было так удивительно, что Багров смотрел во все глаза. Новая личность была чуть постарше и более суровых правил, потому что обнаружив, что она одета весьма раскованно по своим новым меркам, *** немедленно села в мерседес и укатила прочь, видимо, обновлять гардероб, не сказав при этом ни одного худого слова.

Багров пожал плечами и хотел было уже продолжить свой достаточно бессмысленный путь, как вдруг увидел, что поменялось еще кое-что. Только что наверху двадцатипятиэтажного здания висели огромные буквы Башкредитбанк, за которые было заплачено около восьмисот тысяч рублей, если не врал источник. И вот теперь там было написано «УРАЛСИБ».

— Хе-хе-хе! — зашелся мелким, нервным, неприятным смешком Багров, который раньше не замечал за собой такого. — Так ведь это же сделал я! Это я такой крутой! — подумал он и пошел дальше, веселый и довольный собой, как Рустик Нуриев, местный музыкант, поэт и вообще весьма талантливый человек.

Чтобы еще такого сделать, самодовольно думал он, но пока ничего особенного ему не приходило в голову. Идти вверх по Революционной уже не хотелось, что там такого может случиться, он не знал, но хотелось идти по Ленина, все-таки центровая улица.

68

Возле галереи «Мирас» стоял мрачный худой человек, в котором Багров не сразу узнал Касымова. Ну, бывало, Александр Гайсович находился не в духе. Но это было что-то особенное.

— Здравствуйтесь, Александр Гайсович! — сказал Багров, приближаясь на нетвердых ногах, словно перед ним был источник радиации. Касымов повернул к нему изможденное, яростное, почерневшее лицо и сказал:

— Я разменял квартиру и переехал.

Он замолчал. И молчал очень долго. Потом добавил:

— Теперь я живу на остановке «Спортивная» с сыном.

— А как же Москва, журнал... — сказал Багров и осекся.

— Взяли племянницу, — сказал Касымов.

Он повернулся и, не прощаясь, пошел к Дому печати, словно журавль с неудачной охоты, которому незачем больше жить.

Багров долго смотрел ему вслед, а потом, развернувшись, быстрым шагом перебежал улицу, завернул на Ленина. На углу Достоевского он остановился и с глазами, полными слез, купил коржик в маленьком буфетике возле ашханы.

69

— Багров, как я рада вас видеть, мой друг! — услышал он над самой головой голос Галины Александровны Бельской. Подняв голову, Багров обнаружил эту даму рядом с собой.

— Представляете, я получила письмо от дочки Шаляпина, — продолжила тем временем Галина Александровна. — Незадолго до смерти Рудика Нуриева она его встретила его в самолете. И он ей сказал: «Скоро мы встретимся с вашим отцом на кафтане!» Представляете?! Что это за такой кафтан?

Багров пожал плечами, никакого кафтана он не знал, кроме того, что носили когда-то стрельцы.

Галина Александровна Бельская, потомок известной в Уфе дворянской фамилии, была страстной почитательницей Шаляпина. С его именем она ложилась спать, с его именем она вставала, и каждому, кого встречала, она готова была рассказывать о Шаляпине ну просто бесконечно. Этого было мало — с каждого она требовала немедленных действий во славу Шаляпина, что несколько утомляло, это раз, а во вторых порождало, как ответную реакцию от местного сообщества, стойкую репутацию местной сумасшедшей.

— Я тороплюсь, Галина Санна! — сказал Багров с коржиком во рту, смущенно улыбаясь — врать он не умел.

— А когда ко мне зайдешь? Я живу в этом доме, — Бельская показала на угловой дом, в котором располагалась ашхана. — Заходи, ведь мы же с тобой хотели сделать интервью про Шаляпина! Вот ты не знаешь, какой он чудо-человек! А я тебе расскажу, а ты напишешь!

— Галина Санна, — судорожно проглотив кусок коржика и загоревшись ни с того, ни с сего, Багров вдруг стал решительным. — А ведь вы не случайно любите Шаляпина!

— Конечно, не случайно, в мире вообще нет ничего случайного! Он же гений, как его не любить? — Галина Александровна была само очарование.

— Дело в том, что вы его внучка! — улыбнулся на всю улицу Ленина Багров.

— Ну, милый, что ты, ведь это же неправда, — засмеялась Бельская счастливым смехом.

— Он же был большой шалун по женской части, так что вы его потомок, это сущая правда, уж поверьте, — наседал Багров.

— Нет. Ну, это... — неуверенно сказала Галина Александровна, все менее и менее противясь мысли, которая ей, несомненно, нравилась.

— Это правда, помяните мое слово! — вдруг сказал Багров изменившимся голосом и, не прощаясь, пошел по Ленина дальше. Шагов через двадцать он оглянулся, не в силах быть таким напыщенным и серьезным — Бельская все еще стояла на перекрестке.

70

Словно покинув зону Шаляпина, Багров тут же забыл о нем через сто двадцать шесть шагов — возле сгоревшего здания Театра юного зрителя, а до того — Дома политпросвещения. Около сего объекта двойного назначения стоял человек, в котором Багров без труда узнал архитектора Константина Донгузова. Это опознание было тем легче, что Багров принимал участие в пресс-конференции, которая как-то проходила в агентстве «Башинформ» и где сей архитектор выступил с речью, которой не понял абсолютно никто. Даже Багров, как ни напрягал мозговые извилины, должен был сдаться. Пресс-конференцию организовал вечный Василь Ханнанов, чему она была посвящена — уже забылось, кто там был — тоже вылетело из памяти, а вот архитектора Донгузова и страшное свое ответственное напряжение он запомнил.

— Здравствуйте, — сказал он опасливо, медленно приближаясь. Видимо, ему казалось, что господин архитектор в ответ скажет ему нечто, что опять превысит отведенные ему лимиты понимания. Однако же все оказалось не так страшно, потому что архитектор сказал в ответ вполне себе понятное:

— Здравствуйте, Багров.

Обрадовавшись, что его знают и помнят, Багров вернулся в благостное состояние духа и вдруг рассказал архитектору о Галине Александровне Бельской, что она внучка Шаляпина, и о Рудольфе Нуриеве, что он генерал КГБ.

— Это любопытно, — сказал где-то через минут сорок архитектор, потому что именно столько продолжалась речь Багрова, — а мне вот кажется, что если это здание облицевать красным кирпичом, оно будет очень даже неплохо выглядеть.

Багров оглянулся на здание Молодежного театра.

— Ага, — сказал он, — это будет неплохо, но к чему вот здесь дурацкий шар из камня?

— Что за шар? — отрывисто спросил архитектор, у которого, видимо, заработала творческая мысль.

— Да если вы облицуете этот театр красным кирпичом, какой-нибудь ответственный товарищ обязательно предложит вот здесь установить большой шар из камня.

— Ну, надо попробовать, может быть, шара и не будет. Или мы потом поставим здесь памятник Мустаю Кариму, — вдруг сказал он и, кажется, сам себе удивился.

— Да будет, — сказал Багров и стал растирать руки, чтобы провести некоторые манипуляции.

Архитектор с любопытством разглядывал все эти странные пассы, пока Багров не сказал:

— Ну вот, все.

— Что все? — не понял Донгузов.

— Через пару недель вы начнете реконструкцию этого театра. Но помяните мое слово насчет шара. И еще — мне не нравится, что он называется «Театр юного зрителя». Пусть он будет называться «Национальный молодежный театр».

Донгузов, который, видимо, только из чувства приличия ничего не сказал, после некоторого молчания, которое ничем особенным не было заполнено, попрощался и выразил намерение пойти домой.

— А я вас провожу, — быстро сказал Багров, — вы где живете?

И они пошли дальше по Ленина, поглядывая по разные стороны этой великолепной улицы.

71

Неловкое молчание, которое воцарилось между ними, было прервано на следующем перекрестке, Кирова и Ленина. Там они встретили Нину Дмитриевну Исанбердину, куратора галереи «Мирас». Поскольку все были знакомы, между ними и состоялся довольно церемонный разговор о том, о сем, об уфимской культуре, о выставках, которые хорошо было бы осветить в печати.

— Что-то мне надоело писать о художниках, — сказал Багров. — Вон и Касымов перестал почти о них писать. Давайте лучше я Вам сделаю музей современного искусства.

— Это как? — быстро и сурово спросила Нина Дмитриевна, и глаза ее за стеклами очков недоуменно сверкнули.

Надо же, вдруг подумал Багров, у нее на носу очки! До сего момента эти самые очки сливались с самой Ниной Дмитриевной и никак не выделялись на лице.

— А вот, — махнул налево рукой Багров. — Здание пропадает, центр научно-технической информации. И он стал делать какие-то пассы.

— Ну вот, через пару лет, — наконец объявил он. — Здесь будет музей современного искусства. Вы там будете директором, а я пресс-секретарем. Правда, недолго.

— Вы знаете, я тороплюсь, — нарушил неловкое молчание Донгузов.

— Не торопитесь, — посмотрел на него Багров. Он был в каком-то трансе, который делал его не то чтобы нахальным, но скорее свободным. — Вот посмотрите направо.

Нина Дмитриевна и архитектор послушно, словно загипнотизированные, глянули направо. Вдалеке высился Дворец профсоюзов.

— Нет, не получается, — сказал Багров после некоторого перерыва. — Ну, хорошо, посмотрите налево.

Нина Дмитриевна и Донгузов так же послушно посмотрели налево. Перед ними лежала улица Кирова и ничего более.

— Видите, там, вдалеке — это кинотеатр «Йондоз». Вы из него снова сделаете собор, — обратился он к архитектору.

— Ну, теперь и мне пора, — сказала, очнувшись, Нина Дмитриевна.

— Дсданья! — попрощались они дружно.

— Я Вас провожу, — сказал Багров архитектору, и тот обреченно, как всякий интеллигентный человек, кивнул.

72

— Багров! Багров! — вдруг закричал кто-то сверху на следующем перекрестке — Ленина и Чернышевского. Подняв голову вверх, Багров обнаружил художника Королевского, который стоял на роскошном, однако избитом временем балконе старинного здания.

— Здрасьте, а вы тут живете?

— Да! — важно сказал Королевский. Он был пьян.

— Ну, пока! — сказал Багров и отправился догонять Донгузова, который тем временем радостно убежал вперед.

— А вам не надоела эта рожа? — спросил Багров, догнав архитектора возле витрины «Башинформсвязи».

— Что за рожа? — интеллигентно удивился тот.

— А вот! — и Багров ткнул рукой в большой плакат с Ельциным. Он там как раз провозглашал — мол, берите суверенитета сколько проглотите. Рядом с ним стоял какой-то мужик с кураем, очевидно, это был намек, мол, нам надо ровно столько, чтобы только дунуть.

Архитектор остановился и вздохнул. Тут плакат стал цветным, и на нем появился какой-то ушастый, спортивного вида мужчина-парень, — улыбочивый, некрасивый и чем-то все же приятный.

— Это кто? — ткнул ошеломленный архитектор в фотографию.

— Будущий президент. С января, — важно ответил Багров.

— А фамилия у него какая?

— Не знаю.

Донгузов поморгал и увидел, что плакат стал прежним.

— Ну, пойдёмте, что ли, — сказал он тоскливо.

И они пошли дальше вдоль по Ленина-реке, как назвал эту улицу в своих стихах поэт Хусайнов.

73

Багров, однако, больше никого не встретил. Вообще-то, когда он прогуливался по Ленина, ему навстречу обязательно попадался двадцать один знакомый. Это было проверено. Однако сегодня был, видимо, не его день.

— А как Вы думаете, Шаляпин, когда жил в Уфе, мечтал о всемирной славе? — спросил он Донгузова.

Выслушав в ответ тираду, в которой он не понял ничего, хотя все слова были вроде бы понятны по-отдельности, Багров, чтобы что-то сказать, заметил:

— Вот тут, — они стояли возле концертной афиши, которая находилась напротив оперного театра. — Вот тут давно пора поставить памятник Шаляпину. Я Бельской обещал. — И он постучал по гнилой доске, заляпанной поколениями афиш. — Эту херню мы уберем, а вместо нее будет памятник. А делать его будете вы, Константин Александрович!

— Я? — удивился Донгузов. — И когда же?

— Ну, года через три-четыре!

— Хорошо, я согласен, до свиданья! — серьезно сказал Донгузов и пошел домой чуть быстрее, чем того требовали приличия. Багров смотрел ему вслед и думал, что на его месте побежал бы вприпрыжку.

74

Огромный экран, что стоял на углу Ленина и Пушкина, показывал что-то невообразимое — красные и синие полосы, запятыя и точки, огни, темноту, снова огни. Под экраном стоял Джон Леннон и кого-то явно ждал. Разумеется, это был не настоящий Джон Леннон в своих круглых очочках российского дореволюционного интеллигента Троцкого, на которого был похож как две капли воды, это был знаменитый уфимский рокер Володя Бутяков, известный тем, что сказал со сцены дворца «Юби-

лейный», во время рок-фестиваля, при огромном стечении народа, слово «похуизм». Было это в горбачевские годы, Вову тогда чуть не посадили за хулиганство, но все как-то обошлось.

— Привет, Бутяков! — сказал Багров, подходя поближе.

— Я не Бутяков, — недовольно нахмурился рокер.

— Что-то ты плохо выглядишь, да и постарел как-то, — сказал Багров, разглядывая старого приятеля. Тот и вправду был с бодуница, и землянистый цвет его лица не радовал глаз.

— Это потому, что я не Бутяков, а Шевчук, — сказал хмуро Бутяков, метнул неприязненный похмельный взгляд в Багрова и направился к машине, которая как раз тормознула возле обочины.

Багров посмотрел на машину и вспомнил разговор с братом, как он отличает одну марку авто от другой.

— А как ты отличаешь Блока от Пушкина? — спросил его брат.

— А разве их можно спутать? — удивился тогда Багров.

Так вот эта машина была какой-то Пастернак, и вылезли из нее два натуральных арабоверблюда в черных костюмах. Бутяков (хотя возможно это и правда был Шевчук, Багров уже начал сомневаться, не спутал ли он уважаемого рокера с похмельным бардом) остановился и что-то спросил хриплым, неверным голосом. Однако никакой Ильдус Губайдуллович никакой машины не присылаа, а два молодца, одинаковых с лица, остановились, чтобы встретиться с кем-то еще. Они сделали практически синхронно несколько шагов и остановились в позе бодигардов возле огромного телеэкрана, который продолжал закрывать вид с улицы Ленина на парк Матросова.

Шевчук-Бутяков-Леннон-Троцкий был обескуражен. Он посмотрел на часы, потом на улицу Пушкина, на виднеющийся вдалеке бюст Пушкина самого, потом почему-то на небо. Возможно, что он и сочинил бы новую песню, если все свои песни он пишет с бодуна в состоянии жуткой обиды на кого-то, однако тут подкатила какая-то таратайка, нечто среднее между башкирским поэтом Гафури и татарским поэтом Туфаном, и кто-то приятным голосом стал зазывать в какие-то дали. Бутяков что-то прохрипел, нагнулся, исчез. Хлопнула дверь, и местные акыны отправились в путь, чтобы петь и дальше свою нескончаемую песню.

75

— Привет! — Багров обернулся на знакомый голос. Со стороны музыкальной школы к нему подходил поэт Сиваков. С ним был какой-то незнакомец или незнакомка, которую(ого) поэт не удосужился представить.

— Мы идем прыгать с парашютом, — радостно сообщил Сиваков. — Пошли с нами. Но только я не Сиваков, я Иващенко, вечно ты меня с ним путаешь, — добавил он, еще шире улыбаясь.

— Откуда будем прыгать? С вышки? — стал уточнять Багров по благоприобретенной привычке.

— С вертолета. Друг у меня там, в училище вертолетном. Вместе в интернате учились в Ленинграде, — Иващенко (хотя было страшное подозрение, что это Сиваков, оно не оставляло Багрова) готов был рассказать всю свою биографию первому встречному.

— Толь Гргыч, да пошли уже. Что ты каждому встречному... — спутник(ца) Иващенко довольно бесцеремонно схватил(а) его за рукав.

— Ну, Земфир, дай объяснить человеку. Он с нами, может, пойдет, — улынулся примиряюще Иващенко и посмотрел куда-то за спину Багрову.

— Это вряд ли, — проговорил откуда-то сзади тяжелый металлический голос, и Багров обернулся. Перед ним стоял человек, которого ему хотелось бы видеть меньше всего на свете.

Все, что случилось затем, произошло в течение момента времени, рассказать о котором более подробно пока не представляется возможным, ибо до сего случая ничто во вселенной не происходило так быстро.

76

Они шли в темноте, чуть ли не наступая друг другу на ноги, по деревянной пыльной дороге, по мягкой земле, которая хранила в себе тепло вчерашнего дня. Кто-то был рядом, кто-то шел в отдалении. Сколько их было — десять, три сотни, тысячи, может быть, и больше, непонятно, потому что мгла летней ночи показывала некоторые тени, но она же и скрывала, не давая увидеть полной картины.

Теплый воздух, сладкий от выгоревших трав, казался океаном, который и плышь полной грудью, и плывешь в нем, и сам становишься им, когда идешь, не чувствуя ног, а только предчувствуя что-то новое — большое, невообразимое, чудесное.

Оно уже надвигалось, оно уже чувствовалось, потому что идти стало тяжелее, и стало понятно почему — дорога пошла в гору, да собственно дороги уже и не было, была жестковатая стерня, которая ласково шуршала в темноте, и был подъем, который постепенно становился все круче и круче.

Жизнь сузилась чуть ли не в точку, в какую-то минимальную сферу, и только в ней происходило нечто важное. Нужно было идти, карабкаться уже, напрягать силы, стремиться, упираться. С каждой минутой казалось, что за спиной создается разрежение пространства, что там легче, приятнее, вольготнее, что именно там остается счастье. А впереди воздух густел, становился все плотнее и плотнее, сжимался уже не просто в сферу, а в какую-то невообразимо малую точку, в которой плотность вещества уже превысила все допустимое, все возможное на свете. И это было будущее, оно, нарушая законы, не притягивало к себе, а отталкивало, словно вещество, набрав массу, теряло это приятное свойство наслаждения числом, стремясь обратно, в разреженность, к единичности, покою, nirване.

И только воля, только заданный ритм движения, только само движение продолжались и продолжались, словно это было нужно, словно без этого было нельзя, словно достичь нужно было так непременно, как непременно сама жизнь, само существование, бытие.

И что-то произошло. Это было еле-еле уловимо, непонятно, как дуновение ветерка на огромной высоте, даже не дуновение, а понимание, на грани понимания, что стало легче, иначе, что еще немного и надо замедлить движение, остановиться, встать.

Но тяжелая ртуть боли, отчаяния, безысходности, что накопили инерцию движения, тянули все дальше и дальше. Еще несколько десятков шагов ушли на то, чтобы принять их, утихомирить, дать им свой кусок бытования, и вот...

Собственно, ничего не изменилось. Все та же темнота, все те же тени вокруг, и воздух, хотя и чуть другой, но все тот же, с легким оттенком прохлады. Но было и ощущение, что впереди уже нет той преграды, что случилось нечто важное, что нужно немного подождать, почувствовать, осознать...

Тени вокруг стали говорить, и наиболее близкие из них вдруг выглядывали из темноты и снова скрывались в ней. И это была жизнь, и это было какое-то новое движение, в которое можно было погрузиться, потому что по дуновениям ветерка уже можно было понять, что кто-то куда-то уходит. Однако кто и куда — понять было невозможно, да и нужно ли это было в этот момент, когда все вокруг дышало спокойствием и даже небольшой печалью, смешанной с радостью.

Вестибулярный аппарат делал свое дело, организм приспосабливался к высоте, и было ощущение, что это гора Каф-тау, но ее местоположение и конфигурация пока не были ясны, хотя что-то уже затевалось впереди, словно кто-то играл оттенками темноты, прибавляя к ней какой-то тональности, как это бывает со звуком.

Какая-то особенная тишина наступила во всем, словно все звуки мира как раз и переключались в темноту, чтобы преобразить ее, и это-то как раз и происходило, пока не произошло что-то важное, важнейшее, самое нужное в этой темноте.

Первый луч солнца ослепительно сверкнул вдалеке, разом высветил пространство и время, показав картину мира, и — проник под кожу, согревая, радуя, оживляя к новой жизни, которой не было преград.

И рядом были люди, они не были ангелами света, но они не были и демонами тьмы. В них билась волшебная сила жизни, ее неповторимый ритм.

77

Это было почему-то легко. Инстинктивно защищаясь, Багров поднял руку, и большой телеэкран на углу Ленина и Пушкина вспух, словно кто-то выстрелил в него из ракетницы, задымил курчавыми пушкинскими бакенбардами. Два одинаковых с лица человека по фамилии Соловьев и Гамаюнов отлетели в разные стороны синхронным движением, образуя в совокупности круг, достигли берегов реки Белой каждый со своей стороны, затем обежали по периметру Багрова, достигнув гостиницы, в которой лежали их вещи.

Выписавшись, они отправились в ближайшую ризлаторскую контору, где, не торгуясь, приобрели квартиры в центре города, в которых и поселились, в скором времени обзаведясь семьями, работой и приличным положением. По средам они вместе ходили на заседания литературного объединения «УФЛИ», однако друг с другом не разговаривали.

А вот черный человек, что стоял перед Багровым, даже не пошелолхнулся. Он сам в ответном движении поднял руку, и волна, что настигла Багрова, легким ветром ударила ему в лицо.

Не так повезло Иващенко с его спутником(цей). Ветер понес их стремительной волной, пока они не оказались на борту вертолета, который как раз поднялся в небо над Затоном, чтобы группа любителей смогла совершить свой первый в жизни прыжок, от ужаса перед которым никто и не заметил их появления.

Другим следствием этой волны стало то, что улица Ленина оказалась пустынной, как в первые дни января, и потому Юнусов и Себастьян, которые как раз собирались выйти от улицы Октябрьской революции и подошли к «Оптике» напротив бывшего Детского мира, оказались ею не задеты.

Но волна, что ударила в лицо Багрова, вернулась назад и произвела странную метаморфозу с человеком, что стоял напротив него. По какой-

то эллиптической траектории он оказался на телецентре, где ударился спиной о спину Салавата Юлаева, что высился грозно над Белой. Памятник удивился и моргнул два раза от этого удивления.

Человек, совпавший с очертаниями спины, не удивился этому обстоятельству, а молча — в тот же момент — вернулся на место и снова поднял руку. Теперь он метил только и исключительно в грудь Багрову.

Волна оказалась такой мощной, что вернулась назад и понесла человека еще более изогнутыми путями, словно тащила его по американским горкам.

— Земфир, да не трогай ты его! — только и сказал Сиваков, как спутник от неожиданности или по какому другому посылу пнул ногой в живот неожиданно появившегося в проходе вертолета черного человека. Тот выпал в небо и некоторое мгновение был счастлив, пока не упал в двух шагах от Висячки — знаменитой скалы на реке Агидель.

Выбравшись из большой норы в мягкой земле, которая спасла ему жизнь, он уехал в Салаватский район, где работает и сегодня главой администрации поселка Малояз. Багров даже ездил к нему потом каждое лето со своей семьей — пить кумыс, болтать о сущности мироздания и радоваться жизни.

Однако досталось и Багрову. Мир словно взорвался перед ним, вспух, как чудовищный и прекрасный цветок многомерного пространства и времени. Вся его грусть, и печаль, и обиды, и горечь существования, все претензии, мечты и надежды, вся боль и вся радость вспыхнули разом, словно из тесной коробки черепа он вырвался на волю, словно зажглась сверхновая звезда и в ее ослепительной вспышке жизнь стала совершенно другой, и в ней открылись такие горизонты бытия, что просто захватывало дух.

Багров увидел, что он стоит на горе Каф-тау, что вся жизнь лежит перед ним как на ладони от чудовищных глубин до самой горней высоты. Но он понимал также, что все это открытие далось ему непросто, что вся эта вспышка скоро закончится, и тогда его мир может погаснуть, сожженный лучами сверхзнания, сверхведения и страшного воздействия со стороны. Он раскинул руки, и новое знание подсказало ему, что нужно сделать, чтобы спасти свой мир и остаться в живых.

А потом он и сам не заметил, как оказался возле магазина «Оптика», рядом с Юнусовым и Себастьяном, которые только что вышли на Ленина и опять говорили о смысле жизни. Первое, что услышал Багров, был голос Себастьяна:

— Апокалипсис нас спасет!

Уфа, 2002, 2011, 2012

Анна ПАВЛОВСКАЯ

/ Москва /



* * *

Самое время поехать на дачу,
печь затопить,
главную тему в стихах обозначить,
водки купить.
Молодость! Черные очи кочевья,
корчи любви.
Боже, по милости или во гневе,
благослови!

Плавно под ветром качается слива,
плавает в луже башмак.
Время достать из кармана огниво,
вызвать волшебных собак.

Я сохраняю в ладонях живое
пламя, шепчу огоньку,
не представляю — зачем, от кого я
прячусь, все время бегу.

Надо опомниться, надо вернуться,
точку поставить в конце.
Скоро собаки с глазами как блюдца
сядут рядком на крыльце.

Надо придумать простые причины,
хватит причины простой,
и тишины золотые кувшины
синей заполнить водой.

* * *

Касса брошена, очередь зла —
продавщица, забросив дела,
позабыв посторонних и стыд,
в телефонную трубку кричит:

«Невозможно тебя повторить,
 мне нельзя о тебе говорить,
 прижимаю я палец к губам —
 никогда не увидится нам.
 Я теперь молчаливей вдвойне,
 точно что-то сломалось во мне,
 точно жизнь, что была прожита,
 совершенно случайно не та.
 Вот бы время обратно вернуть,
 повернуть и судьбу обмануть,
 оказаться бы вместе с тобой,
 посмеяться над глупой судьбой».
 Огорчается добрый народ,
 продавщицу никто не зовет,
 и она, закрывая лицо,
 убегает рыдать на крыльцо.

* * *

презрение только защита
 от сильного речь затая
 подставь и другую ланиту
 и ребра открой для копья

бесплатная влага прольется
 останутся руки чисты
 я жду тебя возле колодца
 с ведром приворотной воды

о брат мой сомнительный отрок
 о юноша полуседой
 напейся водой приворотной
 холодной и чистой водой

и нет никакого обмана
 и нет никакого вранья
 сияет открытая рана
 Его и твоя и моя

КОКТЕБЕЛЬ

Андрею Коровину

Я чувствую, я существую, я есть.
 О чем ты мне напоминаешь, Овидий?
 Кричат за баркасом не чайки, а весь
 мой ужас — проснуться и Рим не увидеть.
 Похмельным прищуром валы осмотреть —
 широк и просторен морской лепрозорий.

Продай мне цыганка хорошую смерть
и каменный домик с террасой на море.
Продай мне сырой коктебельский коньяк,
кристаллы катрана и дынное сало,
и пемзы плевки из горы Карадаг,
и кровоточащие гроздь коралла.
Я стану вдыхать по дорожке луны
серебряный запах, я легкими всеми
заплачу, припав на твои валуны,
в безудержной и безутешной поэме.

ПОЭТ

Закат как ветчина в разрезе
лежит на кровельном железе,
блазнится, жир начнет стекать...
Здесь можно вспомнить Веронезе,
а можно и не вспоминать.

Сей сочный окорок небесный,
лежащий на тарелке пресной
в густой прогулочной тиши...
Как раз аллюзия на Гессе
по состоянию души.

Но я о них не вспоминаю,
я словно Будда глух и нем,
лениво Борхеса листаю,
и в памяти перебираю
примеры гауссовых лемм.

* * *

Бежала, гнал меня по свету
живой кочующий огонь
и клала я на все предметы
свою горячую ладонь.
Я только имя им давала
и дальше двигалась, легка,
и ни к чему не привыкала,
и не пускала корешка.

Потом ладонь моя остыла
и намагнитилась в огне,
все, что я раньше не любила
само приклеилось ко мне —
чего не вытащить клещами,
не выщипать по волоску.
Хожу, обросшая вещами.
и еле корни волоку.



Лиля КАЛАУС

/ Алла-Ана /

ИЕРОГЛИФ ЖИЗНИ

У меня тогда часто болел живот. Это было невыносимо. Но дети иначе, чем взрослые, воспринимают боль. Им просто не приходит в голову мысль о смерти. У меня болел живот, но я не боялась и не паниковала. И мама с папой тоже не паниковали, они были врачи, они работали, как звери, некогда им было паниковать. Живот болит? Выпей аллохол. Это все печень, наследственное. Когда бывало невмоготу и холодели кончики пальцев, мама поила меня черным, как деготь, холосасом пополам с боржоми. С ума сойти. Оказывается, у меня было тяжелое детство.

Летом меня отправили в советский круиз вместе с бабушкой. В общем, я родителей понимаю (сейчас). Надо же когда-то и отдохнуть. А мы с бабушкой улетели на Кавказ, на Черное море. Это была такая туристическая дискретная хрень. Два-три дня, предположим, в Гудауте, потом переезд, скажем, в Кутаиси. И так далее. Везде нас селили в гостеприимные бараки и охотно возили по местным достопримечательностям. Про Черное море помню только подлых жгучих медуз. Про Новоафонские пещеры — канифольный запах и какие-то натянутые канаты. Помню сережки на экскурсоводе в виде бритвенных лезвий (конец 70-х, кислотные времена). Коллективные снимки — двадцать человек, все в безумных шляпах, выстроены железной рукой фотографа каскадом. И я где-то там, сбоку, в детском еще платье и взрослых босоножках с тетиной ноги. Лицо не особенно радостное. Живот-то болит.

Бабушка относилась к туристическим пыткам философски. Плескалась в море, ездила на экскурсии и фотографировалась, как все. Но она до обморока боялась воров и все остальное время зорко стерегла наше имущество. С ней было трудно. Она могла беседовать только о фактах краж. Я забывалась с книжкой.

Не помню этого города, помню жаркое пыльное марево. Духоту туристического автобуса. Бабушкины поджатые губы и пламенный взгляд, устремленный в сторону пышной соседки, якобы уравнившей нашу чайную ложечку. Вот приехали, выгружаемся.

Кладбище. Жухлая трава, памятники разной степени ветхости, сутулые женщины, по глаза обмотанные черным. Нас куда-то ведут, что-то рассказывают, естественно, размахивая руками. И вот мы подходим к дому. К дому? Да. Маленькая одноэтажная халупка, но при этом настоящий дом, с окнами, с железной дверью, кажется, даже с «глазком». Входим, толпимся в единственной комнате. Она странная, даже на мой детский взгляд. На окнах — тюлевые шторы, на подоконниках — традесканции. На полу — паркет и несколько ковров. Вдоль стен — полированная «стенка» (многие женщины в нашей толпе завистливо ахают). Диван, торшер, кресла. Потом уже не ахают, только вздыхают. Телевизор. Шкафы забиты книгами («Всемирка», новенькая, с иголки), сервизом «Мадонна» зеленоватого шикарного сияния, чешским хрусталем. Хрустальных чаш много, они, как матрешки — одна внутри другой. На шкафах, поверху, цветочные вазы, но цветы в них искусственные, пыльные. На стенах тоже ковры и старый календарь с самолетами аэрофлота. На журнальном столике — красно-белая пачка сигарет. Открытая. А с потолка свисает, как остекленевший от ужаса осьминог, чешская же хрустальная люстра. Участники экскурсии все, как один, открывают рты и до ее финала так и не закрывают.

В центре комнаты — черная плита. Мрамор. Высеченное на нем молодое лицо. Надпись по-грузински, даты. Пока женщины благоговейно оглядывают хрусталь, считаю. Девятнадцать лет. Я по этому поводу не думаю ничего. Мне еще по возрасту не положено сокрушаться. Экскурсовод шепотом рассказывает трагическую историю захоронения. О погибшем сыне директора продуктовой базы. Или обувного магазина. Разбился, бедняга, на собственной «Волге». Мать едва не сошла с ума от горя. Единственный сын! Все грустно качают головами, глаза женщин увлажняются. Мы по очереди выходим, стараясь произвести как можно меньше шума. Солнце бьет в темечко, живот привычно отзывается болью. Скорее бы в барак, на кровать, к книжке, к аллохолу. Бабушка не в силах противостоять искушению. Отходит к женщинам, окружившим экскурсовода, жадно прислушивается к уточняющим вопросам, сама что-то уточняет.

Я разглядываю кустик. Под ним лежит спичечный коробок. Пустой. С наклеенным самолетом аэрофлота. Возле дорожки — камушки, я подбираю один. Кладу в коробок. Обрываю голубую звездочку-цветок с куста. Туда же. Зачем — неизвестно. Просто так. Желчь подкатывает к горлу. Наконец, идем назад, к автобусу. Я оглядываюсь на дом. Игрушечный какой-то. Думаю о том парне, который лежит под паркетными досками, коврами, ногами посетителей, тяжелой плитой. Наверное, он любил свою машину. Вот дураки. Построили бы гараж. Рядом. Нет, машина-то разбита. Ну, другую. А другая ему зачем? Он ту любил. Жарко тут лежать. Сухая земля. Я останавливаюсь, подбираю комочек земли и запикиваю его в коробок.

Бабушка успевает заметить. Хищным сильным движением она выхватывает у меня коробок и бросает его далеко, в скопище

могил, солнца, желтой травы, черных женщин, хрустального неба и тишины. Ее глаза как две бойницы. Она стискивает мне руку, больно, тащит в автобус. Всю дорогу ругает меня сквозь зубы, чтобы соседи не услышали. А соседям время от времени улыбается светской улыбкой. Я плачу. Ну что такого я сделала?! Только камушек взяла и еще это... Цветочек...

Запомни, шипит бабушка, с кладбища ни-че-го нель-зя у-но-сить.

Той ночью боль достигает адского пика. Пышная соседка приносит ложечку (ах, простите, автоматически, чисто автоматически унесла, ха-ха). Они долго беседуют с бабушкой. Я бреду по кладбищу, захожу в тот дом, я одна, в руках у меня ветки с голубыми цветками-звездочками, тихо, темно, пахнет синтетикой, наверное, у нее температура сорок, надо все время поить, ну я пойду, спокойной ночи, пей, пей, кому я сказала, я, захлебываясь, пью из хрустальной вазы деготь, он смрадный, и жидкий, и горький, и женщина в черном гладит меня по голове и что-то напевает... Так бегут неуклюжи, пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекооооийй...

...До конца поездки я беззаботна и весела, я обгораю на солнце, я обедаюсь виноградом, бабушка тесно сближается с пышной соседкой, я играю с соседской девочкой много младше себя, мы купаемся и снова куда-то едем. И это все ужасно интересно! А потом мы садимся в самолет аэрофлота, и он совершает вынужденную посадку в аэропорту города Адлер, и там я, бродя по забитому залу ожидания, вдруг утыкаюсь взглядом в знакомое небесно-голубое платье, и, не веря себе, поднимаю глаза — да, да!! Это она, моя любимая тетя, она как раз должна была отдыхать в Адлере, это она, красавица, какая прическа, какие «стрелочки» на веках, какой звонкий смех, какая сигарета на отлете, какая клубничная польская помада, какие каблучки!! А-А-А! Кричу я и с разбегу бросаюсь на родную голубую спину. Счастье тети тоже неподдельно, она меня очень любит и даже эту гнусность с прыжком прощает. Потом.

И мы все вместе летим домой.

А на третий день после приезда я просыпаюсь оттого, что мой живот стал твердым, как плита, а ноги и руки почти не двигаются. Мама некоторое время хлопочет с холосасом. Папа решительно вызывает «скорую».

И это была никакая не печень, тем более — наследственная. Это был банальный аппендицит. Аппендикс (по словам моей тети, к которой, кажется, подъехала хирург, толстый коротышка в несвежем халате) лопнул в руках врачей, забрызгав полость живота. И я еще долго после выписки хожу в поликлинику по месту жительства для откачки всего этого безобразия, и из моего живота торчит маленькая пластиковая дренажная трубочка. Потом ее вынут, все заживет, но останется глянцевая розовая точка.

Косой шрам от аппендицита справа. Точка. Присоединившийся к ним позднее вертикальный шрам от двойного кесарева.

Совершенная композиция, имеющая вид иероглифа.

Татьяна РЕТИВОВА

/ Киев /



Из цикла
«Похвалы из-за грани (цы)»¹

ХВАЛА РАЗВОДУ

Меня, де, хвалебницу, развели
Моими же думками вслух,
Никому не нужными. Ух.

Я вовсе не о востребованности,
А о — об, *orbis terrarum*,
Искусстве искуса искусственного.

Ибо я онтологическими руками
Все развожу да развожу это
Евклидово пространство.

Оно гуляет, стремглав
По борделям — то бишь по
Бордюрам для элитарных *elles*.

Я его уже не догоню, оно
Сгнуло за горизонт. Ом. Там
Где город-корова не спит.

Где разводят чау-чау и пр.
За околоченными баррикадами
И траншеями дурного вкуса.

¹ Стихи из книги «Похвалы из-за грани(цы)», «Алетейя», Спб., 2013.

Вспомним «Осень» Заболоцкого,
Как жестоко природа строит
Из нас карикатуру бытия.

Вряд ли. Скоро моя душа будет
В транспарантах с балаклавой.
Зефиры ее потеряют на износ.

А вы все Шишкин да Шишкин.
Эмпатии моей нет границ. Ибо
Протаранена аура моя. Я не

Вхож в ваш перегар тусовочный.
Мои почки и печень не могут
Выдержать такой избыток.

Разведите мою мольбу живой
Водой, пестрыми словесами,
Этакую хвалебницу орды.

ХВАЛА СОПКАМ МАНЬЧЖУРИИ

В японском музее весной
Цветет сакура, в Южно-
Сахалинске. Я там была,

Бал пила, мечтала
О кандалах. Нет но
Думала и сочиняла.

Воздавала дань родине.
Пока бурая в ботаническом
Собирала нашего поля ягоду.

Ну никак сама не разведусь
Больше не с кем,
Ни с самой собой, ни с тобой.

Нет повода, осталась одна
Лишь похвала. Разводу.
А я пою хвалу водоразделу.

Вода раз была, разбухала
Вехами эха, натурально,
Стоявшей стоками по шеею.

Задним числом можно даже,
Надо развестись, пока не будет
Поздно. Передо мною сопки

Маньчжурии сахалинской что ли?
Чур меня с материка и огляни
Заодно, а то вдруг я вышла

В одних тапках. С улицы
Чехова иду до музея Чехова,
Через стены-сугробы снега.

Плитка подо мной набекрень,
Там-гарарам одни деревянные
Бараки. Огнезащитные?

Я не разумею, я не разумею!
Внемлю я соглядатаю и ко. со
Стороны своей тарелки.

Их след же давно простыл.
Не хитрите, я одна в окопах
Равнин, яров, пещер.

Не мутите мою воду,
Я же невозмутимая.
Дальше идет отрицание.

От Византии след простыл,
Однако вся ретивая родня моя
Однажды находилась в бегах

В Константинополе, в 1920 г.
Моя скорбь и грусть навеяна
Перекатившими этокое поле.

Один исход за другим, ну
Сколько можно? Спрашивается
Риторическим вопросом.

ХВАЛА БЕЗЫСХОДНОСТИ ИСХОДА

Я уже наверно говорила
Об исходе с обратным
Знаком. Рикошетом

Пролетела над морями
В поиске я, утраченного
Царства. Алатырь или

Шамбала, не важно.
Смысл в другом,
В утраченном.

Но ничто мне так и не
Заменило мой вид из
Разбитого окна, в моем

Царстве у моря. Где
Паузы на берегу залива
Измеряются всхлипами

Морских приливов и отливов.
Предсказуемость бытия.
In my kingdom by the sea.

ХВАЛА ЛИ ЧАН-ЦЗИ

Не перечислить мне, какими *цы*
Исписаны были Вами шелка,
Бамбук за 26 лет, в девятом веке.

Там под плачем Лунных Дев,
Сидя на тигре, Король скитается
Вдоль земных букетов мха.

Взводы на севере от грушевых садов
Разбили шатры под склоном.
Нефритовые башни алого города

Вздыхают по своей принцессе.
Она вышла в полнолуние
Собирать росу для Императора.

Под ней зеленеет трава,
Отражая изумрудное небо.
Не спеши, принцесса!

Оглянись, посмотри, как луна
Висит в окне у Ли Хо, как
Он горюет в осеннем ветре.

Лунный заяц, стремглав, толчет
Таинственное зелье бессмертия,
Пока дровосек рубит лунное дерево.

Осень бела и гость осеннего ветра
Неспроста задержался в кумирне.
Орхидеи наблюдают в слезах.

Черепаша, серебрясь медленно
Ползет под белым конем
Зеленоглазого генерала.

О поэт-призрак, восполни мое *ци!*
Найди мой недуг и раствори его,
Пока я воспеваю танец бабочек

В западном ветру, над шатром.
Тебе даже не снился мой предок,
Тот самый Хан Чингис на коне.

Все — рожденные в год Лошади,
Ранимые и гордые, мы же знаем
Свое дело, ценим мастерство, мы

Слышали на заре мелодию дробления
Нефрита под горой Кунь-Лунь,
Звучавшей на фоне струн Кунхоу.

Ни о том ли эти *цы* напоминают, и
О времени, когда лотосы заливаются росой,
И вспархивает ворона в лучах, ибо

Через 2300 лет персиковое дерево
На вершине горы Тао-ду зацветет,
И золотой петух прокукарекает под солнцем.

ХВАЛА ОБРАЗУ ЖИЗНИ

На него дурь нашла, на
Мой образ жизни.
В этой попытке замедлить

Шаг времени, не чужа под
Собою... Говоришь страны,
Земли, цитируешь.

Ломка итак отчужденной
 Особы на всяких гранях
 Да перифериях застрявшая.

*Яшь егет*¹ за столом с чарой,
Sakhor по-санскритски хрустит,
 Шикарный такой. Кто не скажет

*Тен бик мажаралы узды*², тот
*Артык мазасызлау*³ будет. Все,
 Мол, дело в *аваздашлыке*⁴.

На столе круглый *икмак*
 В кунжуте, без дрожжей.
Ектек, баранка с приветом

Международным! Под флагом
 ООН охватив Евразию за
 Талию безоглядно и без

Оговорчиво. Анисовой водкой
 Разбавляя *aquam vitae, ton*
Plaisir, с таким *avoirdufois*,

Что дальше некуда. Нет но,
 Что это за сказ безумный?
 Кто охватил же? Да дух

Времени со своим расчетом.
 Не успела замедлить его ход.
 Это *сарыч на кичку*⁵(5) моего

Нынешнего образа жизни.
 Живи и помни. Врангель в Крыму.
 Наши за шеломами. Будьмо.

¹ юноша (*татар.*)

² ночь прошла с разными приключениями (*татар.*)

³ слишком надоедать (*татар.*)

⁴ созвучность (*татар.*)

⁵ возглас (*татар.*)

Владимир ПОРУДОМИНСКИЙ

/ Кёльн /



ТРАПЕЗЫ ТЕНЕЙ¹

*На кухне вымыты тарелки.
Никто не помнит ничего.*

Б. Пастернак

Часть II. Посвящается Луи Дагеру

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

В 1839 году художник и изобретатель Луи Дагер выступил во Французской академии с докладом о технологии закрепления полученного с помощью оптического прибора изображения.

Дагерротип казался чудом.

Человек посмотрелся в зеркало, отошел, а его лицо — портрет — осталось на стекле.

Вскоре с дагерротипа научились делать оттиски.

Началась эра фотографии.

2

Я вспомнил про Луи Дагера, потому что случайно наткнулся на заметку о нем в здешнем русскоязычном журнале «Партнер».

Заметка напечатана в разделе памятных дат, озаглавленном звучным державинским словом: «Река времен».

3

Ожегшись о дату — 1839 — я тотчас (и не в первый раз) огорченно подумал, что Пушкин всего двух лет каких-то не дожил до дагерротипа.

¹ Окончание. Начало в «Крещатик» №58.

Смешно, конечно, потому что дата никакого отношения к Пушкину не имеет.

Лермонтов двумя годами пережил изобретение дагерротипа (и дагерротип с него не сделали), но мне это в голову не пришло.

Привычка наша российская: чуть что, хвататься за Пушкина в надежде, что Пушкин вывезет (и — вывозит), приведет к заветной цели.

Как в Библии (перефразирую слегка из Захарии): все возьмутся за полу иудея и скажут: мы пойдем с тобою, ибо с тобою Бог.

4

Привычка сопрягается с однажды заявленным и охотно повторяемым: «Пушкин — наше всё».

Уравнение, частым и, как правило, неосмысленным употреблением обращенное в шумный слоган.

Твердим, не задумываясь о том, а так ли уж лестно для Пушкина быть нашим *всем*. Или: *нашим* всем.

В контексте — у Аполлона Григорьева — разъясняется, что Пушкин — первый и полный образ нашей сущности (личности, физиономии), вобравший в себя всё, что брать следовало, и отвергнувший то, что не следовало брать.

5

При открытии в Москве памятника Пушкину (знаменитые торжества 1880 года) весьма многие, узнав, что духовенство собирается освятить памятник, возмущались: «Нас идолопоклонству хотят учить, идола освящать»; «Пусть на него хоть бриллиантовый венок вешают, да не освящают идола, а то вон и теперь неверы смеются: «И Пушкин будет чудеса творить — его освящают, как мощи». Что у нас за архиереи!» . Толки занес в дневник по горячему следу епископ Николай, святитель Японский; приписал: «Вот те и народный поэт!»

6

Вот такое — всё.

А не такое, как — «Из всех искусств для нас важнейшим является кино».

7

Может быть, я поторопился с названием, с *Луи Дагером* этим.

Но в первой части сочинения, названного «Трапезы теней», я писал уже, что, принимаясь за него, поставил целью ничего не обдумывать заранее, довериться тексту, предоставить ему возможность на каждом шагу расти из себя самого, развиваться по собственному хотению. (Карл Брюллов говорил: «Мысль перевернулась — и карандаш перевернулся».)

Почему-то журнал «Партнер»... Почему-то Луи Дагер (хотя та же «Река времен» несла в своем потоке и другие помеченные юбилейной датой имена)... Ничего не предполагая наперед, замороженно как-то написал название, — и тут же пришел в голову Пушкин, немного не поспевший к замечательному изобретению...

Хотя Пушкин (опять Пушкин!) определил, что «единый план *Ада* есть уже плод высокого гения». И сам весьма интересно составлял планы создаваемых творений.

Но тот же Пушкин вдруг вздыбливает корабль на гребне взметнувшей его волны: «Куда ж нам плыть?..» В черновиках перебирает едва не десяток вариантов продолжения — и все отбрасывает, так и остается, в вышине над океанским простором, — «Куда ж нам плыть?..» Творчество всегда обращено в бесконечность.

8

Старая немка, вдвоем с которой мы ежедневно совершаем недавние прогулки, разглядывает цветы, задержавшись возле какого-то палисадника. «Одуванчик. Незабудки. Нарцисс. Тюльпаны... Какое разнообразие форм, красок... Интересно, *Он* это для нас делает или для *Самого Себя?*..» — то ли меня спрашивает, то ли себя, то ли *Его*. Продолжает раздумчиво: — «Впрочем, *Он* не может иначе. Для *Него* существовать значит творить. Как дышать». И тут же переводит ответ в иной лексический пласт: «Идет — и сеет... Идет — и сеет...»

9

Лицо Пушкина (облик его) уже давно (лет полтора) одно из самых известных в России лиц.

Но когда осенью 1826 года Пушкин, освобожденный царем из ссылки, появился в Москве, еще мало кто мог узнать его.

Хотя все числили первым русским поэтом.

Участник тогдашнего уличного гуляния свидетельствует: «Толпы народа ходили за славным певцом Эльборуса и Бахчисарая, при восхищениях с разных сторон: «Укажите, укажите нам его!..»»

Была бы в ту пору уже изобретена фотография, — разносчики продавали бы в толпе карточки поэта, Пушкин, прогуливаясь, то и дело бы останавливался, чтобы давать автографы почитателям таланта и восторженным барышням.

10

Облик Пушкина сделался узнаваем для некоторого числа читателей, когда гравированный его портрет был приложен к альманаху Дельвига «Северные цветы на 1828 год» и к увидевшему свет в том же 1828 году новому изданию «Руслана и Людмилы» (определяя это *некоторое число*, не упустим из виду принятые в ту пору тиражи).

К слову: в этом же издании «Руслана» впервые появился и знаменитый пролог — «У лукоморья дуб зеленый», который несравнимо более прочно задержался в памяти, на слуху и на языке читателей, нежели основной текст поэмы.

11

Гравированный портрет Пушкина сделал художник Николай Иванович Уткин.

Оригиналом он взял живописный портрет, исполненный Орестом Кипренским, но, работая над гравюрой, порядком, и существенно, отступил от оригинала.

Некоторые современники из числа заслуживающих доверия «экспертов» (отец поэта, ряд близких друзей) полагают этот воспроизведенный на меди живописный портрет наиболее схожим изображением Пушкина.

12

Про портрет, исполненный Кипренским, лучше всего известно, что *«Себя, как в зеркале, я вижу, // Но это зеркало мне льстит»*.

Кипренский, конечно же, даже бессознательно, не намеревался льстить Пушкину. Кипренский — не гоголевский Чартков, не изготовитель светских портретов в угоду заказчику.

Здесь — встреча равных. Первых.

Кипренский несколько лет как из Италии и предполагает вскоре возвратиться туда. Его автопортрет помещен в галерее Уффици, — честь, оказываемая лишь избранным европейским мастерам. Он пишет в Рим приятелю-скульптору, что холодная нельская вода вредна для мрамора. (Пушкин будет тщетно мечтать об Италии всю жизнь.)

13

Кипренский писал Пушкина таким, каким видел перед собой, и вместе — каким видел его своим внутренним взглядом.

Писал *Гения Поэзии* — по его слову.

14

Дело было так.

Дельвиг, который заказал портрет, просил художника поставить за спиной Пушкина фигуру с лирой в руках — скульптурное изображение Гения Поэзии. Кипренский удивился: зачем? Он уже написал Гения Поэзии — *Пушкина*.

Но, поддавшись уговорам, фигуру на холст всё же поместил.

15

Николай Иванович Уткин ее убрал.

16

Мадригальные строки про зеркало, которое льстит, стали крылатым речением. Они тотчас выпархивают в памяти, когда вспоминаем пушкинское послание к Кипренскому. Но у Пушкина сначала — не про зеркало. У него иное в начало поставлено: *«...Ты вновь со-здал, волшебник милый, // Меня, питомца чистых муз...»*

Не воспроизведение, даже самое точное.

Пересоздание.

Создал — вновь.

«Дьявольская разница!», случилось, говаривал Пушкин. (Но, может быть, думал: *божественная.*)

И я смеюсь над могилой,
Ушед навек от смертных уз.

Иной масштаб.

17

В рукописи послания Кипренскому (карандашом), рядом с текстом стихотворения — четыре слова: «И я бы мог...»

Эта оборванная строка возвращает нас в Михайловское: восемь месяцами раньше Пушкин уже занес ее (чуть полнее: «И я бы мог как... <далее два слова неразборчиво: тут, шут...»); рядом рисунок — виселица и фигуры повешенных.

Неоконченная строка вызвала немало предположений о возможном ее продолжении.

Но в известном смысле недописанная строка — не начало, а — окончание.

Как в сновидении, где время движется в обратном направлении: причина, вызвавшая пробуждение, успевает в этот момент стать завершающей подробностью ею же подсказанного («сочиненного») сюжета сновидения.

Раздумья о сопряжении собственной судьбы с судьбой декабристов завершаются, выплескиваются на бумагу страшным «И я бы мог...», открывающим ненаписанное стихотворение. (В любовной лирике та же мысль весело, но тем неотвязчивей: «Вы ж вздохнете ль обо мне, // Если буду я повешен», «Когда помилует нас Бог, // Когда не буду я повешен»...)

Послание Кипренскому пишется в первую годовщину казни декабристов.

В те же дни, «по соседству» с посланием рождается стихотворение «Арион»:

Погиб и кормщик и плавец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою...

Название «Арион» также повторено на рукописи послания Кипренскому.

Нет сомнения, что всё это имеет отношение и к посланию, и к встречам с художником, и к портрету.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Мне было лет шесть, когда у меня появился первый фотоаппарат.

Картонная коробочка, оклеенная голубой с разводами («под мрамор») бумагой. Простенькое стеклышко объектива с надетой на

него картонной крышечкой. Тремя пальцами осторожно снимали крышечку и долго считали вслух до двадцати пяти или до тридцати (долгая выдержка).

Так меня учили.

Не знаю, можно ли было этим аппаратом в самом деле что-нибудь сфотографировать. Несколько дней старшие, освоив сопроводительную бумажку, объясняли мне, как это делается, но я не помню, чтобы кто-нибудь зарядил кассету пластинкой (не помню даже, были ли приложены к аппарату кассеты, пластинки) и явил мне чудо запечатления действительности. А через несколько дней я, с неодолимой неизбежностью и нисколько не огорчившись содеянным, сломал голубую картонную коробочку, чтобы ни разу не вспомнить о ней. Это раннее отсутствие интереса к фотографическому искусству, даже ремеслу, наверно, было генетическим: ни отец мой, ни мать в течение всей жизни не взяли в руки фотоаппарата. Исчезновения показавшегося в первый момент привлекательным подарка они, кажется, не заметили.

2

Самым лучшим фотоаппаратом времени моего детства считалась (да и была) «Лейка».

(Она и сейчас в цене.)

Легкая, удобная в обращении, ремешок на шее, коричневый кожаный футляр.

Снимки часто печатали примитивным способом, контактно — не увеличивая. В давнем, довоенном альбоме — врозь, по кадрам, иногда лентой, маленькие, четыре сантиметра на три (кажется), черно-белые (серые) оттиски с черной цепочкой эллиптических дырочек перфорации по краю.

Долго удивляла, путала русскость названия. Иной раз приходило в голову, что аппарат производится где-то на просторах родины чудесной. Пожалуй, не меньше я удивился, когда узнал, что название — просто аббревиатура: ЛЕЙтц КАмера (по имени первого изготовителя, немца Ernst'a Leitz'a).

3

В Советском Союзе скопировали камеру Лейтца и стали производить такую же свою «лейку», только хуже (всё — хуже, особенно стекла); аппарат называли тоже аббревиатурой — ФЭД (Феликс Эдмундович Дзержинский).

ФЭД — знаковая аббревиатура: она стала одним из символов режима.

Многое в стране — аппараты и паровозы, но также города, улицы, предприятия, учебные заведения, — оказались названы именем странного человека, который в юности хотел быть католическим священником, а в зрелости отстаивал *право* расстреливать невиновных.

4

Когда поэт Эдуард Багрицкий, подобно многим своим талантливым собратьям по перу искренне увлеченный революцией и столь

же искренно в ней запутавшийся, искал знаковую фигуру, символ для своего стихотворения, он искренно выбрал Дзержинского.

Стихотворение называется «ТВС» (буквы латинские: «ТБЦ» — опять же аббревиатура, обозначение туберкулеза).

К изнемогающему от туберкулеза партийному активисту, большевику, видением является тень уже покинувшего этот мир организатора ВЧК (аббревиатуры так и высказивают из-под пера), чтобы объяснить *право* революции считать врагами виновных и невиновных, ее право не считаться с нравственными ценностями человечества:

«А век поджидает на мостовой,
Сосредоточен, как часовой.
Иди и не бойся с ним рядом встать.
Твое одиночество веку под стать.
Оглянешься — а вокруг враги;
Руку протянешь — и нет друзей..
Но если он скажет: «Солги» — солги,
Но если он скажет: «Убей» — убей...»

Вот такая политграмма.

5

У Маяковского проще:

«Делать жизнь с кого?» — «С товарища Дзержинского».

Каламбурная рифма...

6

Смею привести (многие ли теперь читают Багрицкого?!) еще дюжину строк стихотворения — как бы эхо, которым отзываются в сознании и воображении героя *нравоучения* ФЭД:

И стол мой раскидывался, как страна,
В крови, в чернилах квадрат сукна.
Ржавчина перьев, бумаги клоак -
Всё друга и недруга стерегло.
Враги приходили — на тот же стул
Садилась и рушилась в пустоту.
Их нежные кости сосала грязь.
Над ними захлопывались рвы.
И подпись на приговоре вилась
Струей из простреленной головы.
О мать революция! Не легка
Трехгранная откровенность штыка...

Когда писались эти строки, до 1937-го, до *Большого Террора*, оставалось рукой подать. Стихи о всесии *не-права*, о неправой правоте революции читаются отчаянной трагической увертюрой к лихой године.

Сам Багрицкий до нее не дожил (умер раньше, молодым от астмы). ГУЛАГ уволок его жену, девичья фамилия которой была Суок.

Этим странным изысканным именем (но уже именем, не фамилией) Юрий Олеша назвал престелную героическую девочку-танцовщицу в своей книге-сказке «Три толстяка». Жена Олеша была тоже Суок (Ольга), сестра жены Багрицкого.

7

Фотоаппараты ФЭД изготавливались в мастерских находившейся в ведении НКВД трудовой колонии для подростков, соответственно, носившей имя Феликса Эдмундовича Дзержинского.

Колония воспета в очень известной в мое время книге ее руководителя А.С.Макаренко — писателя, педагога и сотрудника НКВД.

Книга называется — «Педагогическая поэма».

Некоторые восторженные читательницы готовы были послать своих детей на воспитание в эту *колонию-поэму*, как ныне посылают в Кембридж.

8

Памятник Ф.Э.Дзержинскому, высившийся посреди площади, носящей его имя, напротив главного входа в учреждение, им организованное и, хотя негласно, но всегда носящее его имя, был снят после провала путча 1991 года.

Совершенно непередаваемое впечатление, схваченное и остановленное тысячами объективов фото- и кинокамер: громадная фигура, сорванная подъемным краном с высокого пьедестала, на мгновение повисшая, замершая над ночной, освещенной прожекторами площадью.

Над Москвой.

Над миром — тогда показалось.

Тоже — знаковый кадр.

Долгое время фигура лежала, поверженная, возле выставочного зала на Крымском валу, понемногу зарастая травой.

Потом ее снова поставили на ноги.

Кое-кто хлопочет о том, чтобы вернуть ее на прежнее место.

9

Отец Дзержинского служил учителем математики в таганрогской мужской гимназии, среди его учеников был Антон Павлович Чехов.

Ни для биографии Дзержинского-сына, ни для биографии Чехова это, похоже, значения не имело.

Просто любопытный факт.

10

Лет через пять после голубой коробочки у меня появился уже вполне пристойный аппарат — «Турист». Черная пластмассовая камера. Выдвижная — на никелированных распорках — передняя стенка с объективом. Наводить на резкость нужно было с помощью ма-

тового стекла в задней части камеры. Потом на место матового стекла вдвигали кассету со стеклянной пластинкой размером шесть с половиной на девять сантиметров.

Этот аппарат подарил мне мой сибирский дядя Семен Александрович. Я писал о нем в повествовании «Пробуждение во сне». Дядя приезжал в Москву в командировку и, случилось, подолгу жил у нас. В отличие от моих родителей Семен Александрович был человек технический. Он, едва принес аппарат из магазина и торжественно мне его вручил, тотчас взял его у меня обратно, долго с ним возился, что-то разбирал, собирал, читал инструкцию; на другой день он прикупил три пластмассовые ванночки — для проявителя, закрепителя (тогда говорили: «фиксажа») и воды, несколько картонных трубочек с химикалиями, красный фонарь — и объявил, что можно начать съемки.

Дядя с фотоаппаратом появился неожиданно и некстати: у меня в ту пору были какие-то другие интересы, заниматься фотографией мне совершенно не хотелось, — я старался быть искренним, когда благодарил Семена Александровича, но инструкции его слушал невнимательно. Между тем дядя, у которого там, в Сибири, был свой ФЭД, увлекся моим подростковым «Туристом» и, возвращаясь после служебных забот домой, всякий вечер делал шесть фотографий (по числу приложенных к аппарату черных жестяных кассет), а ночью проявлял их и печатал снимки.

Во всем процессе получения изображения мне нравилось только, накрывшись большим темным платком, смотреть на поверхность матового стекла и при этом слегка крутить туда-сюда объектив в поисках резкости: именно на матовом стекле изображение получалось особенно красивым, потому что было цветным, — отпечатанные на бумаге черно-серо-белые снимки разочаровывали.

Памятным свидетельством той эпохи в моей жизни остался небольшой (6,5 x 9) прямоугольник грубоватой фотобумаги: я сижу на диване и грызу яблоко. На снимке можно разглядеть круглую диванную подушку — по черному фону восточный орнамент. Подушку вышила мама сослуживица по имени Ева Акуленок.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Пушкин не успел к изобретению дагерротипа, но Гоголю уже выпал случай познакомиться с ним.

Этот эпизод в биографии Гоголя — всё же эпизод и в биографии дагерротипа.

Встреча произошла в Риме в последних числах октября или в начале ноября 1845 года.

Дагерротипы в Риме делал французский мастер Перро.

Желающие снять свое изображение потянулись на улицу Понтефици, где в доме N 55 француз оборудовал свое ателье.

Оттисков с дагерротипа еще не делали: мастер выдавал (продавал) их досками.

Дагерротип стоил довольно дорого, и как вещь не утратил еще ценности новизны.

Осенью 1845-го Рим посетил император Николай Первый; среди лиц свиты был граф Федор Петрович Толстой, вице-президент Академии художеств, и сам (к слову) неплохой пейзажист. Русские художники, обитавшие в Риме, большими группами, по 12–13 человек, снимались на дагерротип и подносили доски в качестве достойного подарка графу Федору Петровичу, начальнику.

Гоголь запечатлен дагерротипом тоже среди художников — живописцев, скульпторов, архитекторов; всех — восемнадцать человек.

2

На этом снимке — единственном из той римской серии — присутствует женщина: Мариучча, известная римская натурщица, она много позировала Александру Иванову для «Явления Христа народу».

3

Группа выглядит театрально — чувствуется обдуманная постановка.

Прежде чем расположиться перед объективом, художники иногда набрасывали на бумаге эскиз мизансцены. Наверно, и на этот раз тоже.

Некоторые лица на снимке смотрятся очень эффектно: широкополая шляпа, плащ через плечо. Позой, движением — все они, так или иначе, по двое, по трое, связаны между собой.

Гоголь, вопреки обычной экстравагантности наряда, одет совершенно по-светски (сюртук, белая манишка, галстук), в правой руке трость; он сидит заметно ни с кем не сообщаясь, непричастный общему оживлению, выражение лица серьезно, даже несколько мрачно; он смотрит в сторону, будто всё, что происходит вокруг, не имеет к нему отношения. Художники размещены на дагерротипе весьма тесно, лишь вокруг Гоголя как бы необходимо образовавшаяся при точном конструировании мизансцены пустота.

От всего этого Гоголь, и без того почтительно усаженный в центре группы, оказывается фокусом, мгновенно сосредоточивающем на себе внимание рассматривающего снимок, — все остальные, с их плащами, шляпами, позами, оживленными лицами, с их игрой в общении, превращаются в «окружающих».

Чувствуется рука великого режиссера, незадолго перед тем, поставившего *немую сцену*, которой увенчан «Ревизор».

4

«Произнесенные слова, поражают, как громом всех... Вся группа, вдруг переменявши положения, остается в окаменении...»

Городничий посредине в виде столба, с распростертыми руками и закинутой назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимися к нему движениями всего тела; за ним почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрите-

лям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гости, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выражением лица, относящимся прямо к семейству городничего... По левую сторону городничего Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел пошвыстать или произнести: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»...» И т.д.

5

Гоголь — о картине Иванова «Явление Христа народу»:

«Всё, отправляя свои различные телесные движения, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства. На одних — уже полная вера; на других — еще сомнение; третьи уже колеблются; четвертые понурили глаза в сокрушении и покаянии; есть и такие, на которых кора и бесчувственность сердечная»...

6

Бывают странные сближения.

7

Но вот что интересно: подробное описание немой сцены, венчающей «Ревизор», появляется в пору сближения Гоголя с Александром Ивановым.

В первых изданиях комедии стояло только: «Все издают звук изумления и остаются с раскрытыми ртами и вытянутыми лицами. Немая сцена. Занавес опускается».

8

Имеется известный рисунок, воспроизводящий немую сцену. Как она была уже написана или какой предполагалась (?). Авторство рисунка долгое время, неслучайно, конечно, приписывалось сперва самому Гоголю, потом Иванову.

9

Гоголь и Иванов сошлись в Риме в конце 1830-х годов.

Некоторые посмеивались над неравноправностью их дружбы: Гоголь то и дело наставлял Иванова, Иванов благоговейно ему внимал.

Гравер Иордан, близко, но не проницательно знавший того и другого, писал, что Иванов выслушивал советы и наставления Гоголя — *рабски*.

Но неравноправность — кажущаяся. Дело в несходстве натур, самоощущения и, в связи с этим, в привычке так или иначе предьявлять себя.

Тот же наивный Иордан писал про Иванова, что «упрям и своеобразен он был сильно».

Иванов выслушивал советы и делал по-своему: дорогою свободной шел, куда вел его свободный ум.

Быть свободным для подлинного художника значит полностью подчинить себя творческому началу, творческой необходимости, без оглядки на привходящие условия и разного рода околичности. (На языке художников того времени *околичности* есть совокупность подробностей на полотне.)

Александр Иванов, претерпевая многие лишения, более двадцати лет работавший над «Явлением Христа», писал Гоголю:

«Я, наконец, привык к угрозам судьбы, сказав себе, что до последнего дня настоящей моей свободы я должен весь принадлежать картине... Я бы мог очень скоро работать, если бы имел единственною целью деньги. Признаюсь, я не вижу в остальной моей жизни ничего, лучше моего настоящего положения. Если бы картина моя осталась навсегда неоконченною, то это всё столько же было бы для меня горько, как если бы какая-нибудь деспотическая сила заставила бы меня окончить ее против моих правил и убеждений».

10

Гоголь — творец — понимал это. В жизни и работе Иванова он видел урок того, как нужно любить искусство: «...Нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плисовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть всё...»

Но этого мало. Художник должен пройти долгий и сложный путь духовного развития, чтобы соответствовать своему творению: «Пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобразить ему того на полотне...»

11

Статья «Исторический живописец Иванов» помещена как *Письмо к гр<афу> Матв.*

Ю. В<цельгорскому> в книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями».

12

В письме Гоголь говорит о том, что подлинный художник не подчиняет себе свое творение, но меняется, растет вместе с ним.

Творение в процессе творчества творит своего творца.

Гоголь в ту пору чувствовал, сознавал перемены, в нем происходящие по мере того, как растет, развивается замысел продолжения «Мертвых душ».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В 1843 году в журнале М.П. Погодина «Москвитянин» появилась литография с портрета Гоголя, исполненного Александром Ивановым двумя годами раньше.

Хотя никто не слышал даже, что Иванов пишет портрет.

Того более: никто такого и не предполагал. Неприязнь Иванова к писанию портретов была хорошо известна.

Лишь годы спустя, Иванов поведает, что, по просьбе Гоголя, писал портрет «от всех в великой тайне».

Хотя создавался портрет *от всех в великой тайне*, Гоголь попросил художника тут же сделать копию и без всякого уведомления о секретности дела подарил оба портрета друзьям — один Погодину, другой поэту Василию Андреевичу Жуковскому.

2

Иосиф Бродский говорил, что английский язык — это «или — или», а русский язык — это «хотя».

3

Наверно, и русская натура — тоже.

Недаром замечено, что у Достоевского, пронизательнейшего исследователя русской природы, в описании мыслей и поступков героев часто появляется слово «вдруг». Человек думает, действует не так, как от него ожидают («вдруг» есть динамическое развитие «хотя»).

Достоевскому очень нравилась картина художника Крамского «Созерцатель» (не самая удачная из его картин) — изображение оставшегося посреди пути мужичка, в котором зрители и критики не видели ясно найденного образа, отмечали неопределенность типа, невнятность характеристики. Но именно в этом Достоевский находил особую точность и цельность: «Может, вдруг... бросит всё и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случиться и то, и другое вместе»...

4

Обнародование портрета сильно расстроило Гоголя: «Я имею свои собственные причины, слишком законные, о чем не раз объявляла этим господам и чего однако не хотел им изъяснять, имея тоже законные на то причины»...

«Объявляла» — не «изъясняла»...

Опять: «хотя».

Он и в «Завещании» отметит — отдельным пунктом (как нечто особо существенное) — и снова ничего не скажет:

«Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого...»

В письме к приятелю вроде бы приоткрыл нечто: «Там я изображен как был в своей берлоге назад тому несколько лет... Рассуди сам, полезно ли выставить меня в свет неряхой, в халате, с длинными взъерошенными волосами и усами?»

Но, хотя со слезой произнесено, волосы на портрете не взъерошены — красиво уложены. И усы самые что ни на есть пристойные. Гоголь, и правда, в халате, но халат аккуратно запахнут, под ним белая рубаша с красивым отложным воротом.

Хорошее, с любовью написанное лицо. Печальные, сосредоточенно во что-то всматривающиеся глаза. На лице та самая глубокая, невеселая дума, которая постоянно томила Гоголя.

«Берлога», «неряха», «взъерошенный» — всего этого и в помине нет.

Ничего случайного: портрет написан (это сразу передается) по обоюдному соглашению.

Внимательно.

В нем ощутимо внимание портретиста и внимание портретируемого.

Иначе и быть не могло.

Александр Иванов очень серьезно относился ко всему, что делал в искусстве.

И Гоголь очень серьезно относился к тому, каким будет — *выставлен в свет*.

5

Но и в письме к приятелю, упомянув «берлогу» и «неряху», Гоголь главных причин своего сетования назвать не пожелает: «Нужно мне поднимать из глубины души такую историю, — продолжает он, — что не напишешь ее на многих страницах...»

Откуда ни подберишься, скорее всего, не было на самом деле никакой *такой истории*.

Во всяком случае *история* не помешала Гоголю через несколько лет снова позировать Иванову, уже для карандашного портрета.

От таинственной *такой истории* тянет очередной мистификацией, которой полнятся письма Гоголя, и речи его, и поступки.

Непрестанным, много более сильным, чем у большинства землян, стремлением создавать миф о себе.

В этом стремлении он доходил до крайностей и — того более — переступал их границы.

У Ю.М.Лотмана — без обиняков: «Гоголь был лгун... Вершиной гоголевского искусства было скрыть себя, выдумать вместо себя другого человека... Принцип этот определял не только творческие установки, но и бытовое поведение Гоголя»...

6

Портрет, который поначалу соответствовал каким-то мифотворческим замыслам Гоголя (халат, волосы, взгляд — всё им заведомо обдуманно: *позировал*, и художником не случайно передано: замысел совпадал), портрет, дважды повторенный и отправленный, не бес-

цельно, конечно, — с намерением, и *кому* (!) — Погодину, Жуковскому, портрет этот сделался лишним, даже помехой, когда Гоголь в своем мифотворении связал с Ивановым и его творчеством иные планы.

7

Несколько потаенных портретов Гоголя находим среди бесчисленных набросков Иванова к «Явлению Христа».

8

Художник, например, *пробует* лицо Гоголя, когда ищет своего раба.

Раб — один из главных героев картины.

Он, конечно, неслучайно помещен ближе всех к зрителю, на переднем плане, в самой середине холста.

Всего на холсте тридцать пять *действующих лиц*.

Это не просто терминология: в том-то и суть, что каждое *лицо* на картине — *действует*.

Передает внешне внутреннюю — духовную и душевную — деятельность человека.

(См. выше строки Гоголя с описанием собравшейся на берегу Иордана толпы.)

Когда приближаешься к громадному (5,40 x 7,50 м) холсту, по большей части первыми бросаются в глаза Иоанн Креститель и раб.

Замечательная смелость мастера: господин, которому раб помогает одеваться, посажен уже совсем в центре и так же близко (даже чуть ближе) к зрителю, но — *спиной!*

Эта *психологически* необыкновенно выразительная ухоженная господская спина — бесспорно лучшая спина в русской живописи. Да и в мировой — поди, сыщи такую!..

Намеренно уродливое лицо раба — самое радостное на холсте. «Сквозь привычное страдание впервые появилась отрада», — обозначил сам Иванов.

В этом лице сошлись воедино черты самых разных, непохожих лиц, увиденных, найденных, запечатленных в этюдах Ивановым.

Но Гоголь пробы не прошел.

Натурщица Мариучча под кистью Иванова отдала рабу частицу себя, Гоголь не понадобился.

9

Не состоялся Гоголь и в образе «дрожащего» — тоже одного из главных персонажей переднего плана.

10

Невозможно представить себе (тем более зная отношения художника и писателя), чтобы Иванов «вставлял» Гоголя в картину без его ведома.

Всё, конечно, взаимно обсуждалось и опробовалось — вот тут уж действительно *в великой тайне*.

Гоголь, похоже, хотел видеть себя (идея портрета!) среди первых свидетелей Явления Христа (без кавычек: не картина — *явление*). Иванов искал ему место на холсте, не наставлениям его («рабски»?) внимая, не своевольничая, но подчиняясь верховной власти творческой необходимости. Ему нужен был не «портрет Гоголя» в толпе действующих лиц, но тот Гоголь, каким он носил его в себе, осознавал, чувствовал, данный в сопряжении с остальными лицами картины и с тем, что происходит в ней.

11

Среди подготовительных работ имеется фигура «кающегося» (как его называют) — «с головой, обращенной вниз, и характернейшим гоголевским птичьим носом... во всей его *натуральной карикатурности*» (определение Н.Г.Машковцева, известного искусствоведа).

«Кающийся», претерпев некоторые перемены в облике (но это еще — «Гоголь»), оказался на одном из эскизов картины; здесь он стал называться «ближайшим».

«Ближайший» написан совсем маленьким, он стоит в самой глубине картины, дальше всех от пророка Иоанна, зато ближе всех к приближающемуся откуда-то совсем издалека Иисусу Христу.

12

Иисус Христос на картине — самый маленький. Это сердило Вас.Вас.Розанова, не любившего ивановской картины и разделавшего ее в пух и прах. Но если бы Иванов написал «большого» Христа, то и картины бы не было; этой, во всяком случае. Впрочем, по Розанову, оно бы и лучше — он и самую тему не принимал.

13

Между прочим. Отвечаю, цитируя, на вопрос, которым нередко задаются зрители картины (и не только).

«На картине А.Иванова «Явления Христа народу» мы видим, как Иисус приходит, чтобы креститься от Иоанна в водах Иорданских... Само слово «крещение» к слову «крест» никакого отношения не имеет, но в славянском языке эти два слова, не связанные друг с другом, стали обозначаться через один корень... Слово «крещение» по-гречески — *баптисма* («омовение»), а крест — *ставрос*, что означает «дерево»; по-латински «крещение» — *baptisma*, а «крест» — *схх*... Иоанна называют Крестителем не за то, что он вооружен крестом, а потому, что совершает крещение, омовение... Не зная этого, скульптор И.П.Витали изобразил Предтечу с крестом. И на картине А.Иванова он тоже, к сожалению (!), с крестом в руках» (о. Георгий Чистяков. «Над строками Нового Завета»).

14

Продолжаю.

«Ближайший» на эскизе повернут спиной к Христу — он чувствует себя недостойным даже взглянуть на Него.

При всей скромности, неприметности «ближайшего» сравнительно с остальными персонажами, он таким образом оказывается нравственно наиболее совершенным, глубже всех понявшим, почувствовавшим значимость события.

Гоголь, не доживший до окончания картины, когда писал о ней, наверно, держал в памяти этот эскиз.

...Одежда «ближайшего» по виду и цвету напоминает халат Гоголя на ивановском портрете.

15

Перечисляя действующих лиц «Явления Христа», Гоголь называет и тех, кто «понурили головы в сокрушении и покаянии».

Таких нет в «Явлении Христа», которое мы знаем.

Есть человек в той же одежде, что «ближайший», стоящий ближе остальных к Христу.

Некоторое сходство с Гоголем осталось. Но это — не «ближайший», каким он виделся Гоголю и каким он, кажется, хотел предстать на холсте.

Иванов был «упрям и своеволен» — своевольничать с творчеством он упрямо не желал.

Халат на холсте остался.

Подлинного портрета Гоголя там нет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

...И вечно он шутит свои непостижимые, грустные шутки.

Это я про Гоголя.

(Возможно, цитирую.)

Вдруг вынырнул со своим дагерротипом, завел историю с ивановским портретом, загляделся на «Явление Христа» — и заполонил две главы.

Недаром Пушкин предупреждал, что «с этим малороссом надо быть осторожнее».

2

Ну, теперь уже делать нечего, — поговорим о Федоре Антоновиче Моллере.

3

Живописец Моллер был сыном адмирала, морского министра. Окончил Морской корпус, служил на флоте, затем в сухопутных войсках. Двадцати трех лет вышел в отставку (штабс-капитаном гвардии!), дабы всецело предаться искусству. Год учился в Академии у Брюллова, потом отправился на собственный счет в Италию и поселился в Риме. Здесь он написал картину

«Поцелуй»: красивый юноша-итальянец целует красивую юную итальянку. Картина — по нынешнему обозначению совершенный *кич*, — понятное дело, принесла ему замечательный успех; он бес-счетно ее повторял: покупали.

4

Александр Иванов относился к Моллеру дружески. Моллер был в числе тех немногих, с кем он постоянно встречался. В одном из пи-сем он упоминает даже, что пособил Моллеру, «чуть было не задох-нувшись в грязной связи с подлыми бабами». Но тут же признает-ся, что не умеет и не хочет помогать приятелю как художнику: очень уж всё разное — и искусство, и взгляд на искусство, и требования к себе в искусстве.

5

И еще.

В том же письме: «К этому прибавить: Моллер принадлежит к званию аристократов, его успех толковаться будет так: «Вот посмот-рите, высокородной-то взял кисть, как он вдруг отделился от грязной художнической семьи».

6

Если бы я не был уверен, что Лев Толстой, работая над «Анной Карениной», не читал этого письма, я был бы уверен, что читал.

В пятой части романа Вронский, выйдя в отставку, уезжает с Анной в Италию и между прочим пробует силы в живописи, которой прежде немного учился.

И там же, в пятой части, действует живущий в Риме русский художник Михайлов.

Репин, прочитав роман, убежденно скажет, что Михайлов «страх как похож на Крамского».

Это естественно: Крамской делал известный портрет писателя как раз в пору создания «Анны Карениной» (Софья Андреевна поме-чает в дневнике: «...Немного мешаает заниматься. Зато споры и раз-говоры об искусстве всякий день»).

Но вот что поразительно: Толстой в своем Михайлове как бы «задним числом» во многом проницательнейше угадывает давно по-кинувшего наш мир Александра Иванова, с которым не встречался и книгу о котором прочитает лишь спустя годы.

Михайлову, каждой клеточкой художнику, неприятно, что граф Вронский *балует живописью*.

Аристократ Голенищев, приятель Вронского, без труда находит тому объяснение: «Положим, не завидует, потому что у него талант; но ему досадно, что придворный и богатый человек, еще граф (ведь они всё это ненавидят), без особенного труда делает то же, если не лучше, чем он, посвятивший на это всю жизнь».

И т.д. (иные подробности опускаю).

7

Гоголь обходился с Моллером тоже дружески.

И между прочим: без всяких сложностей — без *таких историй*, без *великих тайн*. без завещаний и изъяснений — то ли разрешил, то ли поручал Моллеру писать свои портреты.

Знакомому, заставшему его в ателье живописца, он объяснил: «Писать с меня весьма трудно: у меня по дням бывают различные лица, да иногда и на одном дне несколько совершенно различных выражений».

Гоголь хочет показать себя оригинальным, но именно этим — переменчивостью лица — ничуть не отличается от всего остального человечества.

Недаром своим высказыванием он, о том не ведая, дословно повторил Дидро, изрекшего эту немудреную истину много раньше и по тому же случаю — художник собирался писать его портрет.

Но искусство подлинного портретиста в том и состоит, чтобы запечатлеть в *единственном* портрете этого *разного человека*.

Не у самого ли Гоголя читаем: «Я узнал, что половина жизни моей перейдет в мой портрет, если только он будет сделан искусным живописцем».

А тут он будто предоставляет Моллеру возможность, даже предлагает ему переносить на холст эти совершенно различные выражения.

И того более: *придумывает* выражения лица, которые должны быть перенесены на холст.

Павел Васильевич Анненков, писатель, историк литературы, добрый приятель Гоголя, много общавшийся с ним в Риме, пишет про один из моллеровских портретов, что улыбка на нем «взята Гоголем только для сеанса».

8

Тут словно являет себя склонность Гоголя к игре, к маскараду — к *маске*.

Он позирует то в романтическом плаще, то в белой рубашке с широко распахнутым воротом, то в халате. (Опять-таки — в халате! А как же — «неряха», «берлога»?..)

9

Про самый — наизусть! — известный портрет Гоголя, портрет всех массовых изданий, классных комнат, районных библиотек, про этот красивенький, настоянный на сахарном сиропе портрет П.А.Кулиш, один из первых биографов Гоголя, благоговевший перед своим героем, рассказывает: «Гоголь просил Моллера написать его с веселым лицом, “потому что христианин не должен быть печален”, и художник подметил очень удачно привлекательную улыбку оживляющую уста поэта, но глазам его он придал выражение тихой грусти, от которой редко бывал свободен Гоголь».

Привлекательная улыбка, «потому что христианин... и т.д.», тихая грусть, «приданная» в противовес («...но») улыбке...

(Впрочем, «смех сквозь слезы» здесь, кажется, всё-таки не состоялся.)

10

Художник, передающий на холсте то, что от него требует оригинал, вместо того, чтобы «следить природу в ее окончательности», изображен Гоголем в «Портрете».

Герой повести Чартков в первом варианте именовался — Чертков.

11

Приметливый современник (Н.В.Берг, историк, журналист, переводчик) сообщает некоторые подробности создания моллеровского портрета: «Гоголь повидимому думал тогда, как бы сняться (!) покрасивее, надел сюртук, в котором его никогда не видели ни прежде, ни после, растянул по жилету невероятную бисерную цепочку, сел прямо, может быть, для того, чтобы спрятать от потомков, сколь возможно более, свой длинный нос, который, впрочем, был не особенно длинен».

12

Вкус Гоголя в одежде своеобразен.

Если вообще говорить о вкусе.

Нередко что-то вызывающее, покроем, цветом: «сам изобретал какой-то фантастический наряд».

Знакомые отмечали его особое пристрастие к жилетам.

Один из них пишет, что жилеты он носил всегда бархатные и только двух цветов: синего и красного.

Но имелись также жилеты — пестрый светлый с большой цепочкой (голубой фрак с золотыми пуговицами), бирюзовый (и — яркие желтые панталоны), яхонтовый (по жилету золотая цепь)...

Самый поразительный жилет, описанный мемуаристами: при темном гранатовом сюртуке — «жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилетка казалась шкуркой лягушки».

13

Именно в этом фантастическом жилете Гоголь появляется на страницах рассказа Бунина «Жилет пана Михольского» (1932).

В основу рассказа положен «Анекдот о Гоголе», напечатанный писателем Иеронимом Ясинским со слов самого Михольского в журнале «Исторический вестник» четырьмя десятилетиями раньше.

Пан Михольский, провинциал, перед свадьбой приезжает из своего глухого уезда в Киев, «дабы нашить себе панталон, сюртуков, фраков и жилетов по самой последней моде». Здесь он случайно по-

падает на прием в честь прибывшего в город Гоголя (пану Михольскому доводилось «читать его вещички»). В зале собралось множество важных персон, но всё внимание знатного гостя привлекает пан Михольский. Дело в том, что, хотя на Гоголе жилетка, похожая на шкурку лягушки, жилетка у пана Михольского еще более удивительная и похожа на шкурку хамелеона. Гоголь, снедаемый завистью, награждает пана Михольского нелепой колкостью, отказывается от чая и тут же покидает торжество. На другое утро он подсылает к пану Михольскому человека с просьбой продать жилетку, но пан Михольский отказывает и выходит из схватки победителем.

14

Не возьмусь решать, чем привлек Бунина этот сюжет.

Может быть (чудится), веет над ним тень «Коляски».

Как бы там ни было, Гоголь смотрится здесь гоголевским персонажем.

Но у Бунина (кроме анекдота, сообщенного Ясинским) было и свое «рукопожатие», лично сблизившее его с Гоголем — услышанный в детстве рассказ гувернера, которому посчастливилось на приеме «в одном литературном доме» увидеть великого писателя.

Будущий бунинский гувернер, тогда еще совсем молодой человек, был потрясен случившимся — «точно увидел что-то сверхъестественное».

На Гоголе были необыкновенно широкие панталоны и очень узкой фрак. Он стоял в толпе, театралью закинув назад голову.

Из всего, что говорил Гоголь, в памяти осталась одна фраза: «смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе».

Бунин хранил в душе рассказ гувернера как одно из сильных впечатлений детства.

Скорее всего, заново встреченный в старом журнале анекдот перекликнулся с этим рассказом, потребовал творческого воплощения.

Начало творчеству — «странные сближения» и «сопряжение далековатых понятий».

15

Теперь в подобных случаях принято цитировать: «Когда б вы знали, из какого сора...»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Тревожусь.

Безысходно тревожусь.

Самое безбожное дело.

Открыл Евангелие, где придется, выпало: разве можешь ты сам себе прибавить роста хоть на локоть?

Давно расту вниз, а всё тревожусь.
 Кажется, Николай Гумилев говорил: не переставайте тревожиться. (Или: не уставайте?)

Тревожусь, не переставая.

Всегда находится причина для тревоги.

Или наоборот: тревожишься — и причина находится.

Не перестаю тревожиться.

Но — устаю.

Хочется убежать.

Хочется умереть.

И жить хочется.

Преимущества каждого состояния уравниваются имеющимися отдельными недостатками.

Ночу в душе осколок стекла, вроде того, в котором у Чехова отражается свет месяца (см. школьные учебники литературы).

Бунин заметил, что Чехов любит облака сравнивать с предметами.

Но я не про Чехова, я — про Бунина.

2

Бунин для меня «странно сближен» с Пресней.

Хотя (может быть, я ошибаюсь) биографически Бунина с Пресней ничего не связывало.

Бунин — это Арбат, ресторан «Прага», Тверская; в «Чистом понедельник» — соседние мои Красные ворота, Храм Христа Спасителя, Художественный театр.

3

Когда я говорю о Пресне, я имею в виду — топографически — не ту давнюю и дальнюю фабричную Пресню былых времен, которая в советские годы за революционные заслуги именовалась «Красной», не нынешнюю Пресню торговых центров, но Пресню, назовем, *ближнюю*, прижавшуюся теплым боком к Садовому кольцу.

При Пушкине место почиталось еще глухим, но он уже сюда наезжал. На Пресне жили сестры Ушаковы, Екатерина и Елизавета, — Пушкин с ними дружил, к Екатерине, похоже, питал серьезное чувство. В его стихах к ним осталось: «Ни муз, ни Пресни, ни харит», «В те дни, как Пресненское поле еще забор не ограждал»...

Ушаковы жили на Средней Пресненской улице.

В советское время ее переименовали в улицу Заморенова. В честь большевика местного значения, секретаря райкома партии.

В академическом издании Пушкина комментатор, известный ученый, но исконный петербуржец, поставил в примечании: Ушаковы жили на Средней Пресне на *Замореновой* улице.

4

У Давида Самойлова есть стихотворение: в третьем тысячелетии автор исторического романа позволяет себе кое-какие вольно-

сти, рассказывая о делах давно минувших дней, преданьях старины глубокой. Пушкин в серебрястом автомобиле приезжает к Петру, чтобы прочитать царю «Медный всадник».

Стихотворение полнится прекрасной иронией, но оно передает также, что третье тысячелетие, до которого Давид Самойлов не дожид десяти лет всего, казалось нашему поколению непредставимо далеко. Оглянуться не успели — одну восьмидесятую тысячелетия уже прожили.

...В четвертом тысячелетии автор исторического романа напишет о том, как секретарь райкома, большевик Заморонов принимал в пионеры юную пушкинистку Катю Ушакову.

5

На этой *ближней* Пресне у меня свои заметы памяти и сердца.

6

В начале 19-го столетия, которое я неисправимо называю *прошлым*, здесь появился Зоологический сад, быстро ставший у москвичей одним из любимейших мест гуляния.

7

Я люблю читать и перечитывать, как Левин, завлеченный из деревни в Москву надеждой сделать предложение Кити, приходит искать ее на катке Зоологического сада. Как служитель («катальщик»), навинчивая ему на ногу каблук и конек, говорит, что после него, Левина, «никого из господ мастеров нету». Как знакомый кричит, приветствуя его: «А, первый русский конькобежец!». Как Левин катится без усилия, «как будто одною своею волей убыстряя, укорачивая и направляя бег». Как он молится в душе, чтобы надежда его сбылась, «вместе с тем чувствуя потребность сильного движения, разбегаясь и выписывая внешние и внутренние круги».

8

Мой друг, страстный почитатель концептуализма, посмеиваясь надо мной, всегда припоминает именно это место романа. Левин, стараясь успокоиться, обращается к своему сердцу: «О чем ты? Чего ты? Молчи глупое», — ну, разве не смешно?..

Наверно, и правда, смешно.

Но я почему-то никогда не смеюсь, того более, всегда до слез волнуюсь, когда читаю эти строки.

9

На *ближней* Пресне, напротив Зоологического сада, прожил последние тринадцать лет один из самых долгих и верных моих спутников на земном пути Владимир Иванович Даль.

Успешно одолев службу военную и гражданскую, покончив с перемещениями по просторам отечества, оставив труды литературные, медицинские, этнографические, статистические, природоведческие и прочие, здесь отдался он главному от юности и до последнего дня делу своей жизни — созданию великого Словаря.

Первое издание выходило не книгами, а выпусками — по пятнадцати сфальцованных печатных листов в каждом.

Выпуск таким образом мог оборваться на полужае, даже на полуслове, с тем, что следующий начинался второй половиной.

В 1867 году явился на свет «Выпуск двадцать первый и последний».

Он открывался словом *вилка*. Но не потому, что алфавит нарушен. Данная *вилка* имеет пребывание в словарном гнезде «ХВОСТ». Даля, по своему обыкновению наполнять всякое гнездо словами и понятиями, перечисляет названия хвостов животных и птиц (к примеру: у коровы — *хлестун*, *махало*; у лошади — *навис*; у борзой собаки — *правило*; у гончей — *выжлока*; у волка — *полено*; у лисы — *труба*, у медведя — *куцык* и проч., и проч.), наконец, у петуха и селезня — *косица*; у ласточки — *вилка*.

Выпуск двадцать первый и последний — от *вилки* этой до *ипостаси*, каковая писалась не с «И», а с «ИЖИЦЫ».

Словарь Даля не от «А» до «Я», а от «А» до «ИЖИЦЫ».

Дело жизни окончено, труд великий совершен, но объявление на обложке совершенно будничное: «Сим выпуском словарь окончен. Для взывших первые десять выпусков цена на последние остается та же, по одному рублю; первые ж выпуски в розницу не продаются; цена полная словарю, торговая 23 руб. 10 коп., а на дому у сочинителя (в Москве, у Пресненского мосту, дом Даля) 21 рубль»...

10

...Бунин энергично вошел в мою жизнь с *ближней Пресни* (где, если и случалось ему бывать, то, кажется, весьма редко).

На бывшей Средней Пресненской, уже переименованной в ул.Заморонова, — на *Замороновой* — жила литературовед Лера.

Лера была сильно старше меня, но с первой минуты знакомства потребовала, чтобы я называл ее только по имени.

На дворе стояло начало пятидесятых — только-только начинало светать.

11

Мы с Лерой (если вспомнить *реалиста* Писарева) «пробавлялись чистым платонизмом». Даже Платон бы удивился.

Что же до Вас.Вас.Розанова, он, узнай о наших отношениях, нас бы возненавидел.

Теперь уже никак не соображу, встречались ли мы одну зиму или, может быть, две, три, но мне чудится, что встречались мы непременно зимой.

Я приобрел в ту зиму фотоаппарат «Зоркий», — как и ФЭД, это было подобие советской «Лейки» — и в свободные часы ходил в Зоопарк (*Зоологический сад*) пробовать свои силы в фотоделе. Катка там уже не заливали.

Я сделал несколько сотен снимков, на которых запечатлены мутные зимние дни, заполненный летящим снегом воздух, белая земля под ногами и мерзнувшие животные.

Мы встречались с Лерой в Зоопарке, дома у нее негде было: двухкомнатная квартира, старики-родители, какая-то родственница из Феодосии. (Был у Леры еще брат, художник, не то что бы известный, но и не вовсе безызвестный.)

На некоторых старых фотографиях той зимы (тех зим?) попадает Лера — маленькая, похожая на подростка, в запорошенной снегом шапке-ушанке.

Лера не любила снега: она красила ресницы, по ее широким мальчишеским скулам стекали черные полосы.

На фотографиях Лера почему-то часто оказывается рядом с верблюдом. Густая шерсть верблюда выбелена, как лерино цигейковое пальтецо.

12

Однажды весной я забыл свой «Зоркий» в такси (спешил куда-то) и надолго прекратил баловство фотографией.

13

Лера писала кандидатскую диссертацию. Что-то о связях литературы с революционно-освободительным движением. Тема по тем временам считалась сложной, таила в себе идеологические ловушки. Лера жаловалась, что ей едва не на каждой странице приходится решать известную задачку про волка, козу и капусту.

14

Одним из научных консультантов Леры был известный профессор Б. Впрочем, не просто профессор — к тому же член двух академий, в одной из которых состоял членом действительным, а в другой — членом-корреспондентом.

Я не сомневался, что под его руководством Лера найдет ответ задачи, в данный момент единственно правильный

Поскольку правильность ответа всегда зависит от момента.

Абсолютная истина, учили нас, складывается из суммы относительных.

Иногда волку разрешают слопать козу, иногда — предлагают грызть капусту.

15

Профессор Б. был великий знаток того, какая истина подобает моменту.

Однажды я спросил его: «На протяжении четверти века вы, кажется, четыре раза писали о пушкинской “Полтаве”, и всякий раз оценивали поэму с новой, подчас даже противоположной, чем раньше, точки зрения».

Профессор Б. отвечал мне, новичку, с благодушием мастера: «Милый, но как же иначе? Наука ведь развивается. Когда я впервые писал о “Полтаве”, физики были убеждены, что атом состоит из ядра и электронов, а теперь, смотрите, что делается. Синхрофазотрон, элементарные частицы и всякая такая штука. Наука развивается, милый! Наука развивается!».

Много позже, еще четверть века спустя, профессор Б., уже пенсионер, добровольно примчался на конференцию, где «обсуждалась» брежневская «Малая земля» (многие рады бы уклониться — не удалось). Он сообщил с трибуны конференции, что лишь два творения русской литературы по масштабу мысли и совершенству слога сопоставимы с сочинением генсека (не им, добавим, написанным) — «Медный всадник» и «Война и мир».

Наука продолжала развиваться!..

16

Лидия Яковлевна Гинзбург записала по горячим следам:

«Выступая на созванной в институте конференции для канонизации художественной прозы Брежнева, Б. сравнивал эту прозу с пушкинской. Это в чистом виде действие социальных механизмов. Он знал, что <...> ему решительно ничего не угрожает, если он не сравнит Брежнева с Пушкиным и даже если вообще откажется выступать <...>.

Что же оно такое? — только сталинских времен привычка к бесстыдству. Страх искоренил стыд. Люди без защитных покровов, голые — и никто никого не стыдится».

17

А ведь было, было... Интересные мысли, неожиданные наблюдения, находки... Особенно в ранних работах. Да и позже, даже когда греб лопатой песок, в нем, в гуще подгнивших водорослей, вдруг высвечивались кусочки янтаря.

Но движение «в ногу со временем», с *моментом*, всё больше освобождало профессора от свободы видения, чувствования, думания, пропитывало его состав инфекцией этого страха и бесстыдства...

Я жалел профессора Б.: болезнь сделалась уже неизлечимой.

В пору хрущевской «оттепели» Б. захватил из общего воздуха живительного кислорода и написал книгу о мастерстве Пушкина. Какою (скажем так) двумя годами раньше писать бы не стал. Я читал рукопись — и диву давался: тут, там вдруг потянулись ввысь свежие ростки — эти самые мысли, наблюдения, находки.

Книге Б. предпослал вводную «От автора».

Вводная («От автора!») начиналась так: «В приветствии Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

Второму Всесоюзному съезду советских писателей сказано...» И следом — цитата: та самая навязшая в зубах пустая каша, которой десятилетия подряд забивали нам уши, рот, голову, душу.

Я сказал невежливо: «Мастерство Пушкина — это навсегда, а съезд писателей снова созовут через год-другой, и будет новое приветствие».

Б. поднес листок с текстом к глазам, укрытым за толстыми, в палец, стеклами очков, поводил им перед лицом, будто обнюхивая, — и цитату оставил.

Когда книга увидела свет, я с ужасом обнаружил на последней странице еще одну — заключающую! — цитату того же разбора, призывающая советских писателей писать хорошо. Цитату, а с ней и книгу о мастерстве Пушкина завершила монументальная указующая ссылка: «Правда», 1954, N 256/13189.

19

Можно написать комедию.
Но я бы написал — драму.

20

Лера, по указаниям консультантов, правила диссертацию, оснащала необходимыми цитатами.

Взамен момента истины ловила истину момента.

Поскуливала. «Глаза над буквами скользят, а мысли далеко...»

Она показывала рукой, как далеко мысли. Трех точек для этого в многоточии мало.

Далеко.....

«Вот, если бы...» — мечтала Лера.

Но, как в анекдоте, и в те годы уже не новом: *да кто ж ей даст!..*

21

Это я снова поворачиваю к Бунину.

22

Михаил Роцин вспоминает — как раз о времени, о котором веду речь:

«В Литинституте мы учились вместе с Юрием Казаковым. Именно я принес ему как-то Бунина, хотя сам, весьма начитанный московский юноша, лишь в 20 лет обнаружил, что есть такой писатель, настолько Бунин был в запрете. Казаков, как известно, еще более всю жизнь был «ушиблен» Буниным, собирался написать о нем книгу. К сожалению, не успел».

23

После войны в СССР была создана целая система по заманиванию Бунина обратно на родину.

Система серьезная: Министерство иностранных дел, Внешняя разведка, Союз писателей, конечно. Должностные лица, официальные и неофициальные представители разных рангов, легальные информанты и законспирированные «источники».

Но Бунин не в холодном раздумье (это — не его), но чутким осердеченным умом и столь же чутким умным сердцем великого художника понимал (чувствовал), что его возвращение в отечество — не через казенные мышеловки. Что оно неизбежно, исторически предопределено — *силой вещей*.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Лера сказала: «В Париже Бунин умер. Ночью по радио сообщили». Я ночных известий то ли не слушал, то ли слушал и — *прослушал*.

Лера сказала: «Всё сообщение — пять (пять!) слов».

Но дело не в количестве слов. Я — внутренне прослушал. Душа не отозвалась.

Можно бы кивнуть на время (момент), конечно.

Вот ведь и Рошин.

И Казаков.

Но рядом со мной стояла Лера, в мальчишеской шапке-ушанке с оттопыренными наушниками, в потраченной, припорошенной снегом цигейке. В серых лериных глазах с подведенными ресницами томилась печаль потери. Я стоял перед женщиной как студент на экзамене, вытянувший не тот билет.

«Обречены с тобой мы оба // На грусть в сем мире лжи и зла...» — сказала Лера.

В эту минуту я еще не знал, что это — Бунин.

Что это — *грамматика любви*.

Лера впервые сказала мне «ты».

2

Мне повезло больше, чем Мише Рошину: у нас в институте Бунина, хоть и не «проходили», но всё же — упоминали. В обзорной лекции.

Один из тех, кто замыкал прославленную литературу века минувшего, чтобы с залпом «Авроры» (обращаясь к символу) раствориться в неизвестности.

Бунин говорил, что в советской России его числят давно умершим. Всякое его слово, если встречают, — посмертным.

Наша добрая преподавательница, стараясь, кажется, не пробудить в нас лишнего интереса, в своем обзоре кратко обозначила *идейный смысл* рассказа — «Антоновские яблоки».

Чтение текстов не предполагалось.

Да и где прочитать?

В библиотеке — поди получи.

В книжном магазине — в помине нет.

3

«...Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип колес...»

Не прочитать такое — невосполнимая утрата в жизни.

Но, оказывается, можно и не читать. Лишь бы знать (не читая), что Бунин идеализировал уходящий в прошлое дворянский, помещичий быт, но, будучи реалистом, не мог не показать, что быт этот уходит в прошлое.

«...Это тархане, мещане-садовники, наняли мужиков и насыпают яблоки, чтобы в ночь отправлять их в город, — непременно в ночь, когда так славно лежать на возу, чувствовать запах дегтя в свежем воздухе и слушать, как осторожно поскрипывает в темноте длинный обоз по большой дороге...»

4

В яблоках Бунин толк знал.

Орловская губерния, где у Буниных родовое поместье, — яблочная.

По соседству, у Ивана Сергеевича Тургенева отменные яблоневые сады. Севернее, в Тульской губернии, — у Толстого Льва Николаевича (с которым отец Бунина встречался во время Крымской кампании в осажденном Севастополе) — тоже.

Бунинская генетика замешана на яблочном духе.

Уже за границей, подготавливая рассказ к переизданию, он снимает открывавшие текст исповедальные строки:

«...По вечерам я читаю старых поэтов, родных мне по быту, по душе и даже по местности — средней полосе России. А ящики моего письменного стола полны антоновскими яблоками, и здоровый аромат их — запах меда и осенней свежести — переносит меня в помещичьи усадьбы, в тот мир, который скудел, дробился, и теперь уже гибнет, о котором через пятьдесят лет будут знать только по нашим рассказам...»

5

«Антоновские яблоки» написаны тремя годами раньше чеховского «Вишневого сада».

Бунин и Чехов были уже хорошо знакомы.

Можно бы сказать, что они были *друзьями*, но в натуре того и другого была какая-то особенная сдержанность, обособленность, которая остерегает произнести это слово.

«Друзья Пушкина» почему-то легко выговаривается, «друзья Чехова» — труднее. «Друзья Бунина» — совсем трудно.

Бунин любил Чехова. Вряд ли кого любил он в жизни больше. Если вообще любил.

Его воспоминания «О Чехове» полнятся этой, единственной любовью.

В воспоминаниях приведен список лучших, по мнению Бунина, сочинений Чехова.

В списке только одна пьеса — «Чайка» («лучшая», «единственная»).

«...Пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него...»

6

К «Вишневному саду» отношение особенно неприязненное.

Он отказывает Чехову даже в знании материала.

Чехову, который неизменно покоряет, поражает его жизненным опытом, зоркостью глаз.

«...Называли последним из тех, которые *воспевали* погибающие дворянские гнезда, меня, а затем *воспел* погибшую красоту *вишневых садов* Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах, помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего *Вишневого сада*...»

«Вишневый сад» посягнул на территорию сада яблоневого. Который им, Буниным, уже утверждён как своего рода знак дворянской усадьбы.

«...Вопреки Чехову нигде не было в России садов *сплошь* вишневым: в помещичьих садах бывали только *части* садов, <...> где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, *как раз* возле господского дома...»

(Часть покушается на место целого.)

И (далее — больше) «ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно корявых, с мелкой листвой, с мелкими листочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре)».

Ни на одну другую не похожая страница книги воспоминаний — бунинского объяснения в любви.

А он уже разогнался — никак не остановится, насмешничает, до издевки.

Бунинская обидная неуемная запальчивость известна.

7

И рядом — с осязательным удовольствием приведенная чеховская надпись на даримой книге:

«Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и благоговением».

Не мог не почувствовать в словах Чехова улыбку, но чувствовал, что это — слова любви.

И (похоже, с гордостью) — надпись на фотографии:

«Милому Ивану Алексеевичу Бунину от коллеги».

8

Жена Бунина, Вера Николаевна, рассказывает: «В последний год жизни он почти лишился сна, — делал заметки на обрывках бумаги, иногда даже на папиросных коробках, — вспоминал беседы с Чеховым»...

9

...«Вот, — Лера протянула мне книгу, завернутую в серую грубую бумагу. — Из родительской библиотеки».

У Леры были большие серые глаза, обведенные зубчатой полоской сильно подведенных ресниц.

«Не разворачивай на улице, — сказала Лера. — Снег»...

Ну, конечно, я и тогда, шесть десятилетий назад видел эти Лерины глаза, но почему тогда не замечал их? Почему они не тревожили меня тогда, как тревожат сейчас?..

«Ресницы не потекли?» Она слегка приблизила ко мне лицо.

«Вот здесь немного».

«Сотри». Она вытянула из рукава платок.

Я старательно стер с ее скулы черную полоску.

Ну, конечно, я должен был поцеловать ее.

Почему тогда мне не пришло это в голову?

Я пишу, я вспоминаю, волнение душит меня, сжимает мне сердце. Я задыхаюсь, представляя себе этот поцелуй, которого не было...

10

Но может быть, это наработанная с возрастом и в трудах привычка думать и вспоминать сюжетами?..

11

Бунина сердил вопрос об автобиографизме сюжетов «Темных аллеей».

Сюжеты были не то, что он пережил, а то, о чем он мечтал.

Иногда он объяснял грубее: сюжеты рассказов — размышления о *неиспользованных возможностях*.

Но когда из этих размышлений вырастают рассказы «Темных аллеей», память о неиспользованных возможностях пресуществляется в *мечту*.

12

Книга была переплетена по-домашнему: простая ткань без тисненого или написанного по ней названия.

Она напоминала небольшой холст, которого еще не коснулась кисть живописца и потому таящего бесчисленное число неначатого.

Это был сборник — дореволюционного (конечно) издания — ранних бунинских рассказов.

На титульном листе, в самом верху, ясным и легким почерком, каким в мое время уже не писали, черными чернилами (с чуть зеленоватым оттенком), какими писали тоже уже в минувшие времена, было обозначено: «Изъ книгъ.....» — и Лерина фамилия.

Родительская библиотека.

Я, волнуясь, перекинул страницу...

13

«Таньке стало холодно, и она проснулась...»

14

Я проснулся вместе с Танькой и заново взглянул *о́крест себя*.
В моей жизни начался Бунин...

15

Несколько лет спустя уже не щедрая Лерина рука — та самая *сила вещей* отворит дверь Бунину, возвращая его в отечество, в жизнь общую.

Двери еще долгие десятилетия будут скрипеть, отворяясь: «идейная ограниченность», «пессимизм», «отстранение от всякой партийности» (собственное бунинское признание), «ущербные настроения» и «антидемократические высказывания», ну, и, конечно же, «убыль творческой силы» и «моральный ущерб, нанесенный его литературному имени» оттого, что выбрал эмиграцию взамен «родины, ставшей советской» («реакционер, белоэмигрант»), — двери еще долго будут скрипеть, но — 1950-е едва перешагнут за середину — в приложении к официальному и всенародно читаемому «Огоньку» начнут печатать, тиражом в четверть миллиона экземпляров, первое в СССР пятитомное собрание сочинений Бунина.

16

Помню особенное нервное воодушевление, пронизавшее в ту пору воздух под сводами редакции этих самых приложений. Хоть и не положено было до выхода в свет, там то и дело появлялись разные люди, чьи-то знакомые или всем известные, чтобы, не дожидаясь печати, тут же на месте, пусть бегло, наспех, пробежать, если позволят, в машинописи, в гранках, тот или другой текст, которым надеются. И Галя С., редактор, большая, красивая, эдакая молодая боярыня, счастливая от богатства, которое на нее свалилось, рискуя службой, *наделяла* — давала почитать.

Когда пошла «Темные аллеи», помню, сидел со стопкой полученных от Галки гранок в уголке за чьим-то незанятым столом, будто подхваченный потоком, весь там, в этих *аллеях*, не видя и не слыша ничего, что происходит вокруг.

17

С Лерой мы уже не встречались.

Той самой *зимой*, которая сохранилась на моих «зоологических» фотографиях, она вдруг исчезла.

Именно исчезла: была — и нет.

У меня даже остался на руках очередной, третий или четвертый по счету, томик в сером холстинковом переплете и с надписью «Изъ книга.....» на титульном листе.

Переждав какое-то время, я позвонил по телефону.

«А ее нет, и когда будет, неизвестно», — сообщил, или, точнее, ничего не сообщил мне стариковский тонкий голос.

Я испугался по привычке.

«Книга?.. — переспросил старик. — Что ж, будет время и охота, занесите. А то пока себе оставьте. Вам нужна, должно быть».

Года через два появилось огоньковское издание. Я водрузил на полку пять новых книг в светло-синем переплете, а лерин томик, уступая вечной нехватке места, притулил позади, к стенке, да и позабыл о нем.

18

Какой-то случайный знакомый рассказал про Леру:

«Уехала куда-то на периферию. Вроде бы замуж вышла. Дама-то не первой молодости. Нашла кого-нибудь — и ффьють... Знаете, как у них, у женщин...»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Нежданно получил письмо.

От женщины.

В последний раз мы виделись с ней более полувека назад.

Встречались раза два-три в доме общих знакомых.

Она носила не слишком принятые в те годы длинные юбки, предъявляя только лодыжки, — зато лодыжки тотчас удерживали взгляд: замечательной, просто музейной красотой.

Письму я обрадовался.

Замечено, что в старости из записной книжки всё чаще вычеркиваются прежде занесенные имена.

В моей записной книжке есть буквы (две), под которыми имен уже не осталось.

Фамилия женщины, приславшей письмо, как раз на одну из этих букв — я оценил редкую в старости возможность восстановить действующую страницу.

2

В письме женщина вспоминает наш *роман*.

Но романа не было.

Было доверительное (конечно же, тайно разогреваемое любовным) влечение друг к другу, которое может при случае перерасти в роман или заменяет его.

В гостях, после общего застолья мы уединялись в уголке на диване и негромко весьма откровенно беседовали на разные темы; всего больше каждый, понятно, говорил о себе самом.

Я не мог удержаться и то и дело посматривал на прекрасные лоджки собеседницы, — она как-то так умело усаживалась, что они неустанно напоминали о себе.

3

Женщина между тем походя, будто нечто несомненное, пишет о том, как мы отправились однажды вдвоем к каким-то ее родственникам, имевшим дом на берегу канала Москва-Волга, неподалеку от Яхромы, и несколько дней собирали там бруснику.

За давностью лет у меня нет причины таиться, но такого никогда не бывало.

Женщина, вспоминая, выстроила сюжет вокруг неиспользованных возможностей.

Забавно, но я и в самом деле ездил однажды под Яхрому (в деревню Орево) собирать бруснику. Но не с этой женщиной ездил, а с Н. Это были безмятежно счастливые дни нашей жизни. Использованные возможности.

Женщина, автор письма, об этом, конечно, понятия не имеет. Но, выстраивая сюжет мечты, шестым чувством угодила в сюжет реальный и обосновалась в нем.

4

..Посылаю сигнал в бескрайние просторы Вселенной в надежде отыскать близкое уму и душе существо: открываю в компьютере всезнающий *Google* и набираю имя Леры.

Пока писал последние главы, Лера, давно забытая, стремительно и властно завладела, — нет, не памятью моей, — моим воображением. Несостоявшееся прошлое претворилось во мне почти физически ощущаемым вымечтанным настоящим. Я заново проживаю прожитое, но, Боже мой, как не схоже оно с тем давним, осевшим на неумелых фотографиях из Зоопарка.

Верблюд, почти непрменный персонаж фотографий, смотрит на меня с них (мне чудится), не скрывая насмешливого презрения.

5

Почему я ни разу не попытался даже поцеловать ее?..

Она стоит передо мной, похожая на подростка.

Распахнутая в ворота цигейка, шапка с не завязанными, торчащими в стороны ушами.

Невысокая, она смотрит на меня снизу вверх.

Когда говорит или слушает, смотрит мне прямо в глаза, — кажется даже, не мигая.

У нее прекрасные серые глаза (сейчас мне кажется, что я никогда больше в моей долгой жизни не видел таких). На скуле тонкая черная полоска от поплывшей ресницы. Лера вынимает из кармана платок, слюнявит кончик и просит меня стереть. Я осторожно вожу платком по ее щеке. (Когда сегодня я смотрю со стороны на себя тогдашнего, я понимаю презрение верблюда и со сжавшимся сердцем кричу себе: «Дурак! Дурак!».)

Но воспоминания не удерживают меня. Они тотчас перерабатываются в мечту.

Прошлое оборачивается настоящим, а от несбыточности — будущим.

Это в мои-то годы...

6

Совсем не помню, смущал ли меня *тогда* Лерин возраст.

Сейчас мы оба стремительны, решительны, горячи, свободны.

Молоды.

Или, похоже, — вне возраста.

7

Google отчаянно метался по уголкам Вселенной в надежде выловить отзыв на мой сигнал.

«Мир ловил меня, но не поймал», — радовался, подводя итог жизни, давний философ. (Интернет в его время еще не был придуман.)

Лера вроде бы тоже укрылась надежно.

Но в наше время интернет уже придуман.

Я вспомнил про Лериного брата, художника, того самого, не слишком известного, но и не вовсе безвестного, и снова попытал счастья.

8

Брат-художник откликнулся несколькими строками *Википедии*.

Из них, кроме дат рождения и смерти, я узнал, что был художник пейзажистом, много путешествовал и обогатил отечественную живопись ландшафтами Дальнего Востока, Средней Азии и даже Крайнего Севера; про Леру, конечно же, ничего сказано не было.

Но к статейке оказался счастливо прицеплен текст воспоминаний сына художника (и тоже художника, но уже «заслуженного»).

Ознакомив читателей с разного рода любопытными сведениями о днях и трудах родителя, заслуженный сын завершает свой мемуар сообщением, которое я так жаждал найти.

Он пишет:

«Старшая сестра отца, Валерия, филолог, неожиданно отказалась от успешной научной карьеры и отправилась учительствовать в деревню. Она навсегда обосновалась в Нижегородской области, вблизи тех мест, где когда-то в небольшом имении, доставшемся по

наследству ее матери, провела первые годы жизни. Там она уже в глубокой старости и закончила свое земное существование как раз на рубеже тысячелетий».

9

Вот такой «Чистый понедельник».

10

Хотя Лера до интернета дожила, мир ее, похоже, не поймал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Расстаюсь с Буниным (в пределах этого текста, разумеется) не на «сомнительной» для него Пресне, а в местах, ему свойственных: «Жил я на Арбате, рядом с рестораном “Прага”, в номерах “Столица”».

Здесь, совсем возле, из окна видать, с 1909 года, в течение с небольшим полувека, стоял андреевский памятник Гоголю, странный памятник, ни на какой другой не похожий, единственный, *по мне* несравнимо лучший из всех когда-либо воздвигнутых в России монументов: не памятник даже — некое *существо*, ибо не напоминает — *живет*, и на пьедестале — без имени, инициалов, эпитетов — ГОГОЛЬ, образ мира в слове явленный. Гоголь — и другой Гоголь.

2

Ты вновь создал.

3

Вас.Вас.Розанов — тогда же, в 1909-м, — по горячему следу отозвался: «Памятник хорош и не хорош; и очень хорош и очень не хорош...»

Поразмыслив, всё же назвал статью — «Отчего не удался памятник Гоголю?»

Но «не удался» здесь не *хорош* или *не хорош*.

Не удался потому что — *не мог удалться*.

Гоголь *невоплотим*.

4

Но в том-то и суть, что Андреев и создал *невоплотимого* Гоголя.

Его — *невоплотимость*.

Невоплотимость, которую «передать» невозможно.

Только — *вновь создать*.

5

Если рассматривать андреевскую скульптуру, постепенно обходя ее, видишь с изумлением, как непрерывно изменяется поза Гоголя, как разительно изменяется его лицо... И смех, и слезы, и величие, и надомленность, и пристальный острый взгляд, и погруженный в свою глубокую скорбную мысль опущенный долу взор.

«Видишь множество картин, изображающих одного и вместе разного Гоголя», — пусть несколько наивно заметил один из первых (на редкость проникательных) зрителей:

6

Лев Толстой однажды сформулировал: «Человек текуч». Потом охотно повторял.

7

«Художник должен передать душу человека, а ему нужно лепить его задницу».

Тоже — Лев Толстой.

Он сказал это, осматривая андреевского Гоголя.

Художников и скульпторов Толстой навидался.

Андреев несколькими годами раньше тоже был в Ясной Поляне, лепил его.

Несмотря на то, что вокруг многие устно и печатно ругали памятник, Толстому он понравился. Он «понял, что художник хочет выразить».

8

Вокруг андреевского создания, так же, как вокруг самого Гоголя (1909 год — столетний юбилей), — в печати, в обществе, в ученых, литературных, партийных спорах и схватках шла непримиримая война.

Вместо того, чтобы обходить фигуру вокруг, каждый смотрел на нее со своей точки.

Не сознавал *цельность неуловимости*.

Текучести.

Андреевский Гоголь был слишком неожидан не только для тех, кто его не принимал, но и для тех, кто хвалил.

От такого Гоголя становилось не по себе.

9

«Когда взвился и слетел закрывавший его долго чехол, первое впечатление этой почти страшной фигуры, прислонившейся к грубой глыбе камня, точно ударило. Большинство ждало образа, к которому привыкло. И вместо этого явно трагическая, мрачная фигура, голова, втянутая в плечи, огромный, почти безобразящий ли-

цо нос и взгляд — тяжелый, угрюмый, выдающий нечеловеческую скорбь. В сумерках и лунной ночью он будет прямо страшен, этот бронзовый великан на Арбатской площади, замерший в позе вечной думы...» (Из тогдашних газет).

10

«Если бы сейчас среди нас жил Гоголь, мы бы относились к нему так же, как большинство его современников: с жутью, с беспокойством и, вероятно, с неприязнью; непобедимой внутренней тревогой заражает этот единственный в своем роде человек, угрюмый, востроносый, больной и мнительный.

Источник этой тревоги — творческая мука, которой была жизнь Гоголя...

Только способный к восприятию нового в высшей мере, мог различить в нем новый нерожденный мир, который надежало Гоголю явить людям».

Александр Блок написал это в те самые гоголевские юбилейные дни весной 1909-го.

11

Здесь и судьба самого Гоголя, и Гоголя андреевского.

12

«Образ, к которому привыкли...»

Но, как к самому Гоголю, так к Гоголю андреевскому привыкнуть невозможно.

13

В советское время, когда разногласию мнений сменила «единственно верная» догма, андреевский памятник сильно мозолил глаза.

Самого Гоголя, перетолковывая, укорачивая, как бы приручали, приносивали под планку. Перекраивали в Гоголя, к которому привыкли или к которому хотели приучить.

Вспоминаю, как руководящее издательское лицо выговаривало автору книги о Гоголе: «Это не тот Гоголь, *который нам нужен*».

Но скульптуру не перетолкуешь, не укоротишь. Не приносивишь.

14

Памятник, кажется, особенно раздражал вождя, который, едва не ежедневно, проезжал мимо него своим арбатским маршрутом.

В роковом 1937-м, волею Сталина, андреевскому Гоголю был вынесен смертный приговор: без широкой огласки, «для специального пользования» издали сборник материалов по изготовлению нового памятника Н.В.Гоголю в Москве.

В обвинительном заключении сказано: «Образ великого русского писателя-реалиста трактован Андреевым гаубоко (!) ошибочно в мистико-пессимистическом плане».

Приведение приговора в исполнение, хоть это и не в обычаях 1937 года, несколько затянулось (еще и война помешала). Только полтора десятилетия спустя на Арбатской площади появилась сработанная дежурным ваятелем советской эпохи Н.В.Томским скучная, не цепляющая ни ума, ни сердца, для всех привычная до совершенной незамечаемости фигура в крылатке, радостно прижимающая к груди томик собственных сочинений.

По-своему знаменательно: творение Андреева отметило столетие со дня рождения Гоголя, фигура, сработанная Томским, — столетие со дня смерти.

Андреевский Гоголь прожил на Арбатской площади как раз срок жизни самого Гоголя.

15

На пьедестале возведенной Томским фигуры — высочайше утвержденная (скорее даже — высочайше сочиненная) безликая и бездушная, как сама фигура, казенная резолюция: «Великому русскому художнику слова от правительства Советского Союза» (по-своему замечательно это — «от правительства»).

16

Гоголь, который *нам нужен*.

Не им — *по их мнению*, нужен.

Им никакой не нужен. Разве что строчка в очередном докладе: «Нам, товарищи, Гоголи и Щедрины нужны» — во множественном числе (бурные аплодисменты в зале).

17

До свержения монумента Андреев не дожил.

Хотел написать — «на его счастье». Не посмел.

У него мог быть свой счет.

Умер в славе.

Но эта финальная, как и посмертная официальная слава куплена не Гоголем.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Когда-то я писал книгу об Андрееве.

Не написал.

Я писал книгу о художнике, у которого будущее оказалось позади.

Гоголь андреевский — прорыв, иное миропостижение, откровение.

Непостижимость и неповторимость.

Повторять такого Гоголя бессмысленно, потому что невозможно.

Сделать нечто иное, сопоставимое, почти невозможно.

Андреев не смог.

2

Да и обстоятельства изменились — времени, места, соответственно, образа действий.

После революции появились интересные Герцен и Огарев, поставленные Андреевым возле здания Университета на Моховой. Мощный Островский, крепко усаженный перед входом в Малый театр.

(У меня свое пристрастие: небольшой — еще начала века — бюст Гааза во дворике бывшей больницы, где служил и жил святой доктор. Я проходил через этот дворик, сокращая и без того недалекий путь от моего московского дома к Курскому вокзалу. На пьедестале знаменитое гаазовское: «Спешите делать добро». Здесь, в Германии, я навещаю в старинный, обнесенный крепостной стеной городок Мюнстерайфель: там на берегу узкой речки, протекающей посреди главной улицы, стоит небольшой дом, в котором двести с лишним лет назад родился доктор Гааз.)

Были хорошие, серьезные, интересные работы, но не явись в жизни и судьбе Андреева его Гоголь, — это совсем другой художник.

Книга, которую я хотел написать, был «не тот Андреев, который нам нужен».

Но я оставил ее не только поэтому.

После того, как я написал про Гоголя, всё остальное казалось пресно.

3

Биография Андреева, «который нам нужен», строилась как восходящая линия от «не нашего» Гоголя к работе над образом «нашего» Ленина и венчались круто взмывающей ввысь *Ленинианой*, как бы вершинно итожащей жизнь и судьбу художника.

Андреев — великолепный мастер графического портрета. Один из лучших в русском искусстве.

Ленинана началась множеством натуральных набросков. (Счет не на десятки — на сотни.)

Андреев рисовал Ленина в рабочем кабинете, на различных заседаниях и собраниях, куда был допущен.

Биографы сообщают, что никакому другому художнику не было предоставлено возможности столь близко и долго изучать Владимира Ильича.

Ленин на рисунках стоит, сидит, идет, пишет, разговаривает, спорит.

Думает.

Выступает — Ленин на трибуне.

4

Интерес художника к Ленину можно понять.
Тем более, что и внешность вождя была выразительна.
У Пастернака:

Он был как выпад на рапире.
Гонясь за высказанным вслед,
Он гнул свое, пиджак топыря
И пяля передки штиблет... И т.д.

То, что написал Пастернак, хорошо видно в старых кинохрониках. Небольшой человек на трибуне, раскачиваясь, как бы падает то в одну, то в другую сторону, делает выпады, нанося словесные удары.

5

Артист Борис Шукин, первый сыгравший Ленина, подробно расспрашивал людей, много общавшихся с вождем, собирал «по кусочку» его движения, жесты, мимику. На первых репетициях, пробах он показался некоторым чересчур эксцентричным, но эти самые свидетели, много с Лениным общавшиеся, находили его даже более, чем следует, сдержанным.

6

Внешность Ленина во всей ее подвижности и выразительности хорошо передают фотографии.

Снимали Ленина много.

Но это ничуть не мешало властям заботиться о живописных и скульптурных портретах вождя (вождей).

Мысль (устрашающая) о конце живописи, пламенем взметнувшаяся с первыми успехами фотографии, вскоре сама собой угасла. История обозначила фотографии свое место и свою роль среди искусств.

Ленин придумал план монументальной пропаганды: определили длинный список революционных деятелей прошлого и начали ставить им памятники. Многие делали наскоро, временные, из плохого материала, — они быстро разрушались (зато потом не пришлось сносить).

Живописные и скульптурные портреты вождя (вождей) тоже были монументальная пропаганда, важная часть общения власти с народом.

7

Рядом с Андреевым работал в Кремле ныне забытый художник Иван Пархоменко.

Его так и называли — «художник Кремля».

Добротный мастер (учился и у Н.Н.Ге), он был известен хорошо сработанными портретами видных писателей и политических деятелей.

До революции написал Блока, Бунина, Вяч. Иванова, Вас.Вас.Розанова.

Льва Николаевича Толстого тоже написал.

После Октября Луначарский нашел его где-то и поставил изготавливать портреты вождей, центральных и периферийных.

Ленин позировал ему, работая, прямо у себя в кабинете; того более, переходя из кабинета в зал заседаний совнаркома, брал его с собой, чтобы работа не прерывалась.

Пархоменко вспоминал, что оказался таким образом свидетелем весьма секретных совещаний, на которые даже не всякий из «верхов» был допущен.

Это была своего рода высокая оценка пропагандистской роли искусства.

(Позже, когда у вождей и с вождями начались сложности Пархоменко на несколько лет угодил в Бутырки; свою тюремную жизнь он сумел облегчить, делая портреты уголовных «авторитетов».)

Иван Пархоменко между прочим, хоть и безымянно, увековечил себя самым растиражированным изображением Ленина: нарисовал по фотографии детский его портрет, который поместили на октябрьской звездочке. Миллионы советских детей, поколение за поколением, носили значок-портрет на груди.

8

Вечность, впрочем, понятие относительное.

Некогда к какой-то круглой годовщине Октябрьской революции в Ялте на тесной площадке возле базара поставили невысокую вертикальную плиту, названную по-античному *стелой*. Текст на передней, гладко отполированной стороне плиты извещал население, что на памятную стелу *навечно* занесены победители социалистического соревнования в честь юбилея Октября, коллективы... Далее следовал перечень: ...Гастронома N 1, санатория «Шахтер». СМУ-5 и еще что-то в том же роде.

Шли годы, смертные люди пробегали мимо камня, не замечаемого приезжими и примелькавшегося старожилам. Новые победители соцсоревнований давно потеснили увековеченных. Стела понемногу трескалась и осыпалась, особенно сзади, где она не была отполирована и даже толком обколота и обтесана и напоминала оттопыренный женский зад. Наверно, и гастроном давно приватизирован, и санаторий сдан в аренду или выкуплен нынешними богачами, и строительное управление ликвидировано. А скорей всего и вовсе не существует ни гастронома, ни санатория, ни управления...

А стела — «навечно занесены» — стоит еще, со всех сторон оклеенная записками — объявлениями о купле-продаже всего, чего угодно.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

О том, что Ленин охотно допускал художников делать его портреты, находим в воспоминаниях Юрия Анненкова. Ленин дал ему несколько сеансов по два часа каждый, любезно беседовал с мастером.

В одной из бесед он откровенно высказал знаменательное суждение, которое теперь нередко цитируют.

Всё же не могу удержаться и привожу его.

«Я, знаете, в искусстве не силен... Искусство для меня, это... что-то вроде интеллектуальной слепой кишки и, когда его пропагандистская роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! — вырежем. За ненадобностью. Впрочем, вы уж об этом поговорите с Луначарским, большой специалист. У него там даже какие-то идейки».

2

Опять же не удержусь («своя рубаха») и сообщу еще одно из записанных Анненковым откровений вождя.

Некогда *мой* Владимир Иванович Даль был оспорен, освистан и повсеместно осужден (один лишь Лев Толстой поддержал его) за статью, в которой посмел сказать, что от распространения грамотности без образования умственного и образования нравственного много пользы не прибавит. Противники Даля, очень на него сердясь, твердили прекрасные слова про «временчко», когда мужик «Белинского и Гоголя с базара принесет». Мало кто угадывал, что между временчком, мужиком и тем, что принесет он с базара, сопряжение неизмеримо более сложное, нежели представлялось в энгузиазме.

Ленин, не кивая приветливо в сторону Белинского и Гоголя, одним выпадом рапиры объяснил сентиментальным народолюбцам пользу грамотности без образования.

«Вообще к интеллигенции, как вы, наверно, знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг *ликвидировать безграмотность* отнюдь не следует понимать, как стремление к народжению новой интеллигенции, — объяснил он Анненкову. — *Ликвидировать безграмотность* следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего...»

3

Оба суждения, по существу, — об одном и том же.

Портрет Ленина — та же «пропаганда», что декрет.

Большого ни от искусства, ни от грамотности не требуется.

4

Андреев с годами, если и не принимал ни умом, ни чувством, то профессиональным чутьем угадывал установку.

5

От графики он, конечно же, перешел к скульптуре.

Лениниана, в особенности после смерти вождя, стала для Андреева чем-то вроде профессии в профессии.

Пропагандистская роль искусства в стране не то, что не кончалась, — набирала силу.

Статуи, бюсты, памятники требовались во множестве.

6

Скульптурные работы *Ленинианы* принято обобщать в три группы: «Ленин за работой», «Ленин на трибуне», «Ленин — вождь».

Именно в таком порядке.

По официальной табели о рангах это было восхождение.

От социалистического реализма, к которому пришел художник, завершая свой путь *Ленинианой*, — к вершинам социалистического реализма.

Главная задача которого (цитирую справочник) «изображать грандиозные процессы и явления настоящего».

Об этом и предлагалось писать (и писали), когда в статьях и книгах вели речь о скульпторе Николае Андреевиче Андрееве.

7

Но писать об этом не хотелось.

Это был путь вверх по лестнице, ведущей вниз.

Чем «выше» от «Ленина за работой» (обычно — пишущего) к «Ленину — вождю», тем меньше жизни. Тем меньше живого Ленина и (скажем так) живого мастера: чувства, волнения, которое увлекало его когда-то при встрече с оригиналом.

Обобщение (*грандиозное*) оборачивалось безликостью.

И *дух*, и даже *задница* (по терминологии Льва Толстого) заменялись набором узнаваемых примет: жест руки, «ленинский огромный лоб» (или — фуражка, которая могла быть и в руке), борода и проч.

Кто рассматривает памятник Ленину на городской площади, в помещении вокзала, дворца культуры или иного общественного здания?

Вместо того чтобы тревожить память, а с нею чувство, мысль, такой памятник растворяется в окружающей обстановке.

Вывеска, витрина, афишная тумба, не говоря уже об уличных часах, неизмеримо чаще привлекают наш внимательный взгляд.

8

Андреев сделал около ста скульптурных памятников Ленину.

В его бумагах сохранились письменные указания, которые он давал своим помощникам: голова N 18 на корпус N 7.

Что-то вроде.

У меня нет при себе моих архивных тетрадей — в номерах могу ошибаться.

(Окончание в сл. номере)

Игорь КУНИЦЫН

/ Москва /



* * *

*Дымный столб идёт на север
Ураган сметает юг.*

Анна Павловская.

Караван идёт на запад
серых облаков,
постарел на десять за год
я из-за долгов.

Я завидую букашке,
что живёт в траве.
У неё пусты кармашки,
пусто в голове.

Замираю со стаканом
около окна,
всё окутано туманом
осени и сна.

Караван плывёт с востока
облаков седых,
вслед гляжу им одиноко,
плыть бы среди них.

* * *

На сугробе дети в царя горы
целый день играли вчера, смеясь.
Если кто не знает, то цель игры
выше всех забраться и не упасть.

А тебя хватают за всё подряд,
и плечом толкают и бьют ногой,
каждый хочет всеми другими над
воцариться, чтобы владеть горой.

↓

Постепенно съехал с ноги башмак,
на макушке чья-то лежит ступня,
ты наверх стремишься то так, то сяк.
Это всё, пожалуй что, про меня.

Это всё, пожалуй, что про тебя,
ты стоишь на самом верху горы
и не знаешь, кто и когда, любя,
тебе скажет просто — конец игры.

* * *

Оставьте доктора в покое,
над чаем с долькой пирога
он ждёт среди больничных коек
когда закончится пурга.

Деревья гнутся, замечает
дорожки все, не выйти в ночь.
Оставьте доктора, он знает
как самому себе помочь.

Скрежещут стертými зубами
Кровати мокрые от слёз,
и плавает над головами
больных дымок от папирос.

Звучит негромкая музыка,
не спиться доктору никак,
и сладко пахнет ежевикой
пирог, и это не пустяк.

Больной как тень проходит мимо,
всю ночь горит настольный свет.
Оставьте доктора, он в зиму
печальной музыкой согрет.

* * *

Было нам шестнадцать, хорошо мы жили,
пиво разливное на веранде пили.
Пиво разливали возле гастронома
через шланг дырявый в банки из бидона.

В очереди длинной были все знакомы,
и сосед по парте и сосед из дома,
мелочью гремели и травили байки
в тапочках домашних, в вытянутых майках.

За день выпивали не одну канистру,
все курили Яву, Беломор и Искру.

Чисто ради понта, штучно покупали
Морэ или данхел и с минтолом Салем.

Пили и курили и играли в секу,
вечером толпою шли на дискотеку,
под конец имели вид довольно жалкий —
кто-то спал в курилке, кто-то в раздевалке.

На рассвете еле уносили ноги,
по мозгам от предков доставалось многим.
И в глазах сверкало, и в ушах звенело,
словно дискотека юность пролетела.

* * *

Ждали дождь, а выпал снег,
через час уже растаял,
с саксофоном человек
ждет чего-то, не играя.

За подсвеченным окном
молча смотрит на дорогу.
Это дается день за днём,
происходит год за годом.

Не тревожимый ни кем,
он стоит там и поныне —
пожелтевший манекен
в музыкальном магазине.

* * *

Одну вспоминаю картину,
и вижу нередко во сне.
В Архангельской нашей квартире
висела она на стене.

Висела она над роялем,
(стоял под картиной рояль) —
край озера горизонтальный,
и неба горизонталь.

Какая-то белая птица —
два тонких коротких штриха —
куда-то умчаться стремится
с невидимой нитью стиха.

Оставив лишь голую стену,
с цветочком обоев простым,
забрав себе озеро, где мы
бывали по выходным.

* * *

Самолет набирает скорость и высоту
за моим окном, но не стройный Ту,
а пузатый Боинг, как чемодан,
повидавший уйму зачётных стран.

Среди них Россия особняком,
за еловым лесом и сосняком,
разлеглась румяная, не могу,
словно баба пьяная на снегу.

Встать не получается, ну и вот,
в точку превращается самолет,
полосой посадочной — млечный путь.
Видно без снотворного не уснуть!

* * *

Мусор вынести, выгулять пса,
сесть на лавочку, что еще надо?
Из бытовки слышны голоса:
пропивает зарплату бригада.

Молодого товарища шлёт
в супермаркет за ящиком водки,
он пустую тележку берёт
и катает от полки до полки.

Вот и водка, а вот и коньяк.
Что он делает, разве так можно?
Под строительный прячет пиджак
банку пива и пачку пирожных.

А на кассе его уже ждут
два охранника с ласковым взглядом
и, толкая, в подсобку ведут,
и пинают по почкам и рядом.

И швыряют его за порог.
Он лежит и подняться не может.
Лужа пива, пирожных комок,
Равнодушные взоры прохожих.

Франсуа ДЕБЛЮ

/ Лозанна /



От переводчика

Литература хороша еще и тем, что в ней бывают сюрпризы, и иногда приятные.

В мае этого года мое наблюдение опять подтвердилось. После небольшого рутинного «круглого стола» под сводами гигантского выставочного зала в Женеве, где проходил «книжный салон», состоялось рутинное подписывание книг. Дождалась своей очереди и миниатюрная спортивная брнетка с худощавым лицом и внимательными глазами. — Кому прикажете надписать? — спросил я ее. — Фредерике Бюрнан. — Вы не в родстве с художником? — Она не ожидала вопроса; после долгой паузы она сказала: — Я его правнучка.

Изумление меня охватило. Картину Эжена Бюрнана в музее д'Орсэ в Париже я заметил давно. Она называется «Ученики Петр и Иоанн бегут к могиле Иисуса». Этот известный эпизод находится как раз в Евангелии от Иоанна (20, 3). Она реалистична, но уже палитра ее высветлена, и воздух дрожит, — работа импрессионистов не прошла для Бюрнана незамеченной. Картина написана в 1898-м; это время признания и славы швейцарского художника. О, эти выплаканые глаза Петра — и в них вдруг надежда, что Учитель жив, что предательство его, ученика, смыто и прощено воскресением! И смятение великого «неужели?!» в глазах Иоанна... Спустя две тысячи лет после евангельских событий художник проникся теми чувствами — и ему дано воскресить их для нас. Да здравствует великое искусство.

И вдруг в 2013-м его внучка хочет прочесть мои книги, «Обращение» и «Зону ответа», где тема та же — воскресение Иисуса, но не тогда, не в исторической пеицере, а сейчас, во мне, в живущих сегодня людях. И это не всё. Наша встреча происходит утром в воскресенье 5 мая — а в этом году это день православной Пасхи. Нити судеб, не имеющие конца и начала, вдруг соединились, на мгновение возникла картина цельного мира.

Последовало знакомство — и основательное — с наследием великого прадеда Эжена (о ком я обязательно напишу подробнее), поездка в музей в городок Мудон, в 40 километрах от Лозанны, встреча с Франсуа Деблю, мужем Фредерики, поэтом и писателем, и мыслителем, автором сорока книг...

Так часто бывает на Западе: творец полвека живет и наработал массу интересного, а ты и не знаешь. Культурное изобилие прячет таланты лучшие советской цензуры! Несмотря на премии, — Деблю получил в 2004-м премию Шиллера (но и премий теперь тысячи...)

Читая книги Франсуа Деблю, я почувствовал родство: склонность к афористичности, парадоксу, умеренной иронии, надежда на великое «там и потом», пристальное внимание к сочному эпизоду жизни, — это мне близкое. Захотелось взять всё это с собою — в русский язык, приблизить, перебросить еще один мостик.

Он родился в 1950 году на берегу Женевского озера в Монтрё (там, где умер Набоков). Отец был музыкантом, а дядя Анри Деблю — известным швейцарским писателем. Фредерика преподает философию в лицее.

Я перевел отрывки из двух книг, «Фальшивые ноты» и «О будущей смерти». (François Debly. *Fausses notes. L'Age d'Homme, 2010; De la mort prochaine. Editions de la revue Conférence, 2010.*)

Николай Боков (Париж)

ИЗ ДВУХ КНИГ

1

*

Нужно иметь смирение, чтобы признаться в своей гордыне. Стараясь, чтобы это признание не стало источником новой гордости.

*

Бывает легкая и ложная фамильярность, у которой нет ничего общего с братством.

*

Иметь «слабость» к чему-либо — не значит ли чувствовать к чему-либо сильную привязанность?

*

«Стопроцентный самоубийца», — говорил один знакомый осёл о живом человеке.

*

«Служебный вход». Маленькая табличка над небольшой — и обязательно грустной — дверью.

Кончен спектакль. Погасли огни рампы, артисты — эфемерные волшебники — незаметно уходят через черный ход, без объявления, поздно.

С этой стороны здания нет никого, чтобы посочувствовать их усталости и разочарованию; лишь туман и холод, и тусклая лампочка.

До следующего спектакля они будут питаться тем, что «говорят».

*

Боль не ждет.

*

Между двумя соприкасающимися мыслями или системами может быть бездна.

Так и между мужчиной и женщиной: они любят друг друга, не зная, что их любви бесконечно различны.

*

Время, которое проходит, и Время, которое стоит.
Две стены Времени, а в нем самом — ад.

*

Когда страдания больного очевидны, ему говорят комплименты о его больничной палате.

*

Педанты любви.
(Пастор, заключающий брак, грешит против Любви?)

*

Даже пустая, моя голова тяжела.
Особенно пустая.

*

Отпуск: необходимость пустоты, когда опустошение уже совершилось, но в эту пустоту ничего нельзя положить.

*

Духи женщины, идущей по осенней улице, пахнут весенней фиалкой. Странное противоречие.

*

Всякая похвала отдает надгробной речью.

*

Предвидя болезненную ситуацию, следует вообразить страдание, многократно превышающее испытываемое.

*

Слабовольный тот, чьи последние усилия воли суть первые.

*

Я живу — случайность рождения — в мозаичной стране, которая превращает все, что в ней делается, в нечто малое, вторичное, *второго плана*. Здесь иного плана и нет. Возможно, это достоинство этой страны. Ничего капитального. Провинциальный профессор, киношник, художник, провинциальный писатель. Влюбленный из провинции.

И если, в порядке исключения, тот или другой выходит за ее пределы, то потому, что другая страна дает ему понять: эта провинция не хуже всех остальных.

*

Провинциальный менталитет наблюдаем в самых больших столицах. Неудивительно. Но забавно.

*

Мне говорят об «истинной середине». Однако в чем середина истиннее крайностей? По сравнению с чем?

Возможно, скажут: сравнивая с излишествами и несправедливостями, которые ее окружают.

Я отвечу: опасайтесь заразиться, отравить добрую совесть тем, что она считает чужим.

Есть крайний центризм, подобный крайне правым и левым.

*

Я знаю людей крайнего центризма.

Они удивились бы, узнав, что являются экстремистами.

*

Нарцисс не переносит контакта с себе *подобными*. Он отдаляет-ся. Всюду он ищет эту обитаемую пустыню, свой рай, место, где другие были бы *другими* ровно настолько, чтобы выделить его и признать и где они были бы *подобными* в самую меру, чтобы завидовать ему, не ненавидя.

*

Тяжелая и пустая голова.

Хорошо бы поменять ее, как меняют тусклую лампочку.

*

Застенчивый страдает дважды: 1) от своей застенчивости; 2) от той, которую он источает и заражает других.

*

Они думают, что он держит их на расстоянии. А он мечтает о такой близости, от которой они убежали бы.

*

Часто мы принимаем наши желания за реальность в других.

*

Прочитанная книга занимает больше места, чем новая: между листами бумаги вошел воздух, взгляд читателя касался страниц, пальцы переворачивали их и оставили след, пусть невидимый.

*

Прогоните сверхъестественное в дверь, оно влезет в окно.

То же и меланхолия.

*

Мы испытываем настоящую страсть лишь к тому, чего у нас нет.

*

Желание (любви, денег, славы) удовлетворено; скоро оно возрождается вновь, и так до смерти.

«Дон Жуан» Моцарта кончается лишь на последней ноте — на долгом хрипе: самая главная фальшивая нота истории.

*

«Берегитесь; если вы останетесь таким честным, мы договоримся».
Стендаль, «Расин и Шекспир».

*

Умереть от смеха: несомненно, одна из самых жестоких смертей. Ужасные спазмы, сведенные челюсти, чудовищные боли в животе. И последние взрывы чувства смешного, которое не хочет умирать...

*

Убежавшие мысли.

Что вспоминать о времени и месте, где они появились, невозможно поймать хотя бы хвостик.

Если сравнивать их с теми, что остались, ускользнувшие были наилучшими.

*

Какой-нибудь биограф постепенно узнаёт столько о своем «герое», сколько тот никогда о себе не знал. Но есть также и такие истины — скрывшиеся или спрятанные, — каких исследователь не откроеет, поскольку ничто и никто — ни документ, ни свидетель — не сохранили о них никакого следа.

*

Нарцисс.

«Влюбленный в самого себя имеет, по крайней мере, то преимущество, что у него никогда не будет много соперников».

Лихтенберг

*

Наилучшие сарказмы — самые короткие.

*

Чайник немного похож на женщину: нужно уметь его брать. Не обжигаясь.

*

Культура не должна определять себя суммой лишь приобретенных знаний и созданных произведений: она также и то, что отставила в сторону.

*

В мире культурного изобилия каждый должен постоянно выбирать то, что он пропустит: передачу, выставку, спектакль.

*

Подражательная галлюцинация: встречая, видя и слушая собачников, начинаю подозревать присутствие невидимой собаки рядом со мной.

Скучное в том, что она раздражает меня еще больше, чем настоящая.

*

«Брут обожает яблоки», — говорит старушка-собачница на бережной.

А я должен обожать собачек и их хозяек?

*

Если я убегаю от опасности, то это чаще всего значит, что опасность гонится за мною, а я выдохся.

*

Противоположности прячутся. Попробуйте их обнаружить и различить!

Как знать, отказывается ли солдат носить оружие потому, что он против насилия, или, напротив, он страшится живущего в нем насилия, и настолько, что его ненавидит?

*

На моем рабочем столе истекает свеча, моя подружка: и она угасла, пока я записывал эти несколько слов.

И красный воск, обильно истекший, уже застыл.

Кровавый сталактит, еще теплый на ощупь.

*

— Как? Вы не мизантроп? Мы знакомы полчаса, а вы уже сорвуетесь со мною в злословии о других.

*

Доступная женщина редко бывает интересной.

Интересный человек редко бывает доступным.

Взаимозаменяемые истины.

*

Бывают подростки с ментальностью старичков: они обжились среди комфортабельных проверенных истин, непоколебимых убеждений, остановившихся идей.

Но знаю и нескольких малых и старых, у которых нет этой надменности.

*

Имя нечто большее, чем название, предшествующее социальному имени, «фамилии».

Имя — уникальное наименование в детстве.

Оно дает основание нашей самости — более, чем принадлежность к такому-то клану.

*

«Все сходят!» — объявляет кондуктор на «конечных» станциях.
О том не думая, он напоминает нам универсальную горькую правду.

*

Драма воображаемого больного в том, что однажды реальность подтвердит его правоту.

*

Ничто так не взаимно, как оценка, — кроме еще презрения.

*

«Собственность — это кража», говорит Прудон.
Однако видит ли он, до какой степени собственность владеет своим владельцем?

*

Выставить напоказ свою большую совесть — иногда хитрый способ ее успокоить.

Больная совесть бывает покойна.

*

Собаки фермера защищают его от первобытного страха и вызывают у одинокого прохожего страх не менее первобытный.

*

Есть лица, которые сами по себе — возражение.

*

Низость не имеет степени.

*

Между угрозой и соблазнением — в этом вся игра детей.
И людей, казалось бы, уже взрослых.

*

Не всякую видимость стоит спасать.

*

Жизнь: презренная кучка квитанций.

*

Иные хвастаются тем, что они «трудоголики».
А есть жертвы и труда, и трудоголиков.

*

Если они кажутся сильными, так это потому, что они знают свои слабости.

*

Уверенному в самом себе нечего предложить другим. Его уверенность ограничена им самим.

*

Остаться вне поля зрения. За пределами чужого взгляда.
Единственное убежище.
Место, откуда можно наблюдать, разгадывать, расспрашивать.

*

Невозможно одновременно вопрошать мир и оставаться недосягаемым для его ответов.

*

Труднее оставаться верным самому себе, чем другим.
И это не мелочь.

*

Бесконечное — моя страсть. Вечное — скучно.

*

Существует ли бесконечное за пределами моей жажды к нему?

*

Бесконечное: наслаждение и восторги, с самого детства.
Драгоценная и живая безмерность.

*

Нетерпение обрести бесконечное.
Как может удовлетворить меньшее?

Дон Жуан. Или Рембо, самый нетерпеливый среди поэтов: «Я жду Бога, предвкушая» («Сезон в аду»).

*

Вечность: смерть Времени. Или время смерти.

*

Фальшивые дни: потерянные, даже еще не начавшись. Пустые дни.

*

Книги, которые «пожирают» — отнюдь не те, какие прочитывают наилучшим образом, ни те, к которым справедливы.

К великим книгам должно постоянно возвращаться, перечитывать их, все медленнее, все внимательнее.

*

Что бы ни говорилось, всегда можно сказать лучше.

*

Помог ли мне жить хоть один концепт?
Несколько идей могли бы быть моими проводниками.
Некоторые образы — составить компанию.

И есть, слава Богу, музыкальные произведения, чтобы меня питать. И живые существа, чтобы меня спасать.

*

Я могу говорить лишь о том, что мне говорит.

*

Что сказать о людях, которые даже не подозревают чудовищности своих заявлений?

Вот и сегодня вечером господин Х. высказался «со знанием дела» об иностранцах. И правда, швейцарский народ только что отклонил проект закона, который предполагал немного обустроить судьбу приезжих рабочих. И он (*бравый* служащий банка, в свободное время — церковный староста) говорит: «Им известно, зачем они приехали. Но вы сами знаете: они опасны. Они не должны приезжать к нам со своими идеями (*sic*). А что касается их жен, то дело обстоит теперь не так, как раньше: возможности транспорта позволяют этим людям ездить к себе легче, чем когда-то!»

Остановлюсь и попробую вообразить шизофрению того, кто оставил дома свои идеи и переступает границу с чьими-то другими, с мозгами, основательно промытыми от первоначальных заблуждений; представляю себе иммигранта, пересекающего пол-Европы в душном вагоне — туда и обратно, чтобы раз или два в год выполнить свой супружеский долг.

Но господин Х. не дает времени поразмыслить, он продолжает: «И они все вруны! Я их знаю! Они все время жалуются! Я знаю, о чем говорю!» Он горячится. И после потока всех этих неадекватностей, с той же естественностью, убежденностью и спокойной совестью, он роняет, наконец: «А я *даже не расист*».

*

Слишком много воздуха душит.

*

Дорого бы он заплатил, чтобы не иметь денежных проблем.

*

Воображение: рай и ад гипотез.

*

Подлинные проблемы требуют разрешения, а не их ликвидации.

*

Мертвые руки.

Слушаю знаменитые записи концертов, состоявшихся пятьдесят или шестьдесят лет тому назад. Едва отзвучала последняя нота, сотни, тысячи рук аплодируют под влиянием испытанного чувства. Слышу их, выражающих с силою бурную радость, свою благодарность. Мощный гул, словно от ударов волн.

Артист кланяется. Благодарит.

Публика продолжает хлопать.

Быть может, предупреждая молчание и одиночество, стерегущие каждого на выходе из концертного зала.

А эти руки — что с ними стало спустя пятьдесят или шестьдесят лет?

Сморщившиеся, высохшие, покоробленные ревматизмом — и это самые молодые времена концерта.

Другие же — большинство — умершие. Превратившиеся в пепел или в несколько косточек под землей.

Кончились аплодисменты, которые мелькали в полутьме зала тысячами светлячков, даря забвенью о смерти.

*

Риск — в привыкании к злу, к нищете, к несправедливости. Привыкнуть значит принять.

*

Бунт вовсе не болезнь молодости, как полагают благомыслящие: это главная и жизненная обязанность.

*

Милан.

Молчаливые улицы, ночь.

Крики (взрослых, но также и детей, в час ночи) слышны гораздо яснее.

Работа ночных рабочих. Шум лопат и метел. Фальшивые ноты.

Возвращение — мешающее заснуть — милицейских, встреченных во второй половине дня вооруженными; автобус с защитными сетками; демонстранты с красными флагами, которые еще вчера играли поп-музыку на площади Скала.

*

Возраст, когда желание сменяется желанием желать.

*

Часто нахожу одинаково законными, одинаково соблазнительными различные цели, учения или религии, тем не менее, враждебные друг к другу.

Как выйти из этого положения, не предавая себя и не обедняя?

*

Все эти мелкие дела и фальшивые жесты, которые не образуют течения дня, а его разрушают. Неощутимо.

Вот уже и вечер, и ночь. И всё у нас отнято — даже сон.

*

Вызывающий вид мирного (по видимости) сна других.

*

Трудность, столь частая, выбрать, решить, рассудить.

Смешной пафос. Однако решить — это разрубить *живое*, убить решение, — оно не было принято.

Как тут не колебаться.

*

«Не нужно строить себе иллюзий насчет других», — говорит она. Возможно, она права. Это лучший способ приготовить себе — иногда — приятный сюрприз.

Однако подлинная проблема не здесь.

Главное — знать, какое количество иллюзий ты позволил иметь себе о себе самом.

*

Есть приемы защищаться от *самого срочного*.

И они есть у Времени, которые оно медленно, но верно применяет против нас (или за нас).

*

Мой проводник — тот, кто идет за мной не отставая.

*

Есть и такие, чья похвала плохо скрывает презрение, зависть или страх.

*

История (человеческая) войн сделана из забвения предшествующих войн — *и* из злой памяти. Ее абсолютный ужас забывается, и помнятся лишь ужасы, требующие отмщения, — задетые честь и интересы.

Насилие не имеет конца.

*

Парадокс войны: часто ее начинает страх.

Враг тот, кого бояться. И чтобы не бояться, нападают.

*

Безнадежность некоторого досуга.

Досуг некоторой безнадежности.

*

Легче покупать или получать книги, чем их читать.

(Витгенштейн, например, уже два года лежит у меня на столе. И столько других, *книг-страдалиц*).

Сколько времени понадобилось бы мне, чтобы прочесть книги, накопившиеся за годы? Накопившиеся, чтобы создать эту иллюзию: у меня будет несколько дополнительных жизней.

«Мемуары» Сен-Симона, привет вам!

*

Мертвые умеют подчас любить нас лучше живых.

Или это мы, неспособные любить живых и быть любимыми, предпочитаем гипотетическую любовь тех, кого уж нет?

*

Розанов. Потустороннее как гипотеза любви.

Но для него это не гипотеза, ни невообразимая, ни необязательная.

Больные — их тревога, гнев или отчаяние — в конце концов, соединяют врача и болезнь. И они принимаются за врача, бессильные напасть на болезнь или еще менее — ее принять.

*

Несомненно, следует научиться управлять угрызениями совести. А то они всплывают там, где их не ждали: никак не предупредив и всегда в новом виде.

*

Своих демонов не выбирают, и ангелов тоже.

*

Собачники ничего так не любят, как разговоры через головы собак.

*

Ничто так не нервирует нервного человека, как его нервность.

*

Моя тюрьма — нетерпение.

*

Расстояние, которое способствует сближению.

Близость, которая удаляет.

*

Все более и более религиозный, все менее и менее верующий.

*

Одно несчастье несравнимо ни с каким другим.

Настоящее несчастье полно собою. В сердце страдающего оно не оставляет места ни для чего другого.

*

Монтеротондо висит над долиной, пересекаемой грузными газопроводами, которые избородили пейзаж, словно фантастические посеребренные змеи, — нереальные и чудовищные.

Прохожим достаются запахи серы и гнилых яиц.

Неподалеку находятся Термы Баньоло, недавно заброшенные. «Место-призрак», — говорит М.: ее пугает эта пустота.

На земле валяются шишки, имеющие форму роз, из твердого темного дерева.

На вывеске бара указаны часы открытия — до того, как он закрылся, разорившись.

Интересно, бывал ли здесь Тарковский перед съемкой «Ностальгии»?

*

В отеле Монтрё-Палас, конец вечера, после концерта.

Учредительные речи.

Убежав от светских любезностей, отец показывает мне зал для игры в бридж, салоны, безлюдные бары, погруженные в особый полумрак, объятые странной тишиной, как бы «неуместной». В нескольких метрах отсюда возобновились официальные выступления, мурлыкающие и пустые, избранная публика устремляется — сохраняя, насколько возможно, достоинство — к буфетам, расположившимся под большими люстрами, и вскоре метрдотелям и официантам не хватает рук. Толпа проголодалась. Она старается вести себя хорошо, насколько ей позволяет инстинкт, она не слушает выступлений; ораторы призывают к спокойствию, к тишине, они зывают к доброжелательному вниманию приглашенных, но толпа равнодушна, она наслушалась, она уже вытерпела более часа длинных речей (laïus) в самом начале вечера, потом два часа музыки (такой, какую она особо не интересуется), она требует ныне обещанного, пирожных, мягких седалищ и мяса. Гарсоны, занятые его нарезанием, не успевают, толпа теснит их, каждый тянет свою тарелку, если б можно, они повысили б тон, однако вежливость превозмогает, остаток воспитания заставляет ждать очереди, еще, так и быть, потерпеть, но разве неясно, что нельзя стоять двадцать лет. Голос ораторов в динамиках лишь увеличивает общее раздражение. Некоторые — удачливые — сумели получить бокал вина; они подцепили бутербродики с семгой, кубик паштета на острие зубочистки — оп! — и не замедлили его проглотить, и вот они снова в очереди, тогда как последние гости еще только проникают под резной потолок зала Праздников. Мой отец показывает мне лифт, его спусками и подъездами он заведовал в юные годы; следовало быть ловким и осторожным, умело дергать за шнур и ехать вверх или вниз, останавливали кабину точно на уровне этажа, чтоб, не дай бог, толстый клиент или жеманная графиня не споткнулись на пороге, это настоящее искусство; после чего служащий подъемной машины менял амплуа: брал скрипку, всходил на эстраду салона — там рассаживались Дамы и Господа — и присоединялся к сотоварищам, пианисту и виолончелисту, и начинался вечерний концерт. Умелые музыканты играли переложения, отрывки и обработки. Однажды по окончании концерта к моему отцу подошел мужчина, желая узнать, кто автор пьесы, которую музыканты только что сыграли. Смущаясь, отец объяснил, что это вольное переложение *Каприччио* Рихарда Штрауса. Человек улыбнулся, горячо поздравил отца и сказал: «Ich bin Richard Strauss».

В другой раз в зале оказалась женщина, очаровавшая моего отца и, в конце концов, подарившая ему сына, а потом и вышедшая за него замуж (временно).

Но мы пришли туда не вспоминать и грустить. Предстояло пробиться к буфету, прежде чем его опустошат.

2

Утром радио сообщило о смерти моего друга Б., музыканта и композитора.

Смерть обогнала его и меня (и всех нас).

Сорвалась наша последняя встреча, о которой мы договаривались; еще мы собирались поужинать вместе, но обстоятельства помешали.

А мы было поверили, что приговор условный, что болезнь отпустила его, что Время оказало ему милость.

Мы имели неосторожность довериться Времени.

Смерть, подобная последнему такту партитуры. Последняя доля последнего такта.

Молчание.

В конце похоронной церемонии, по завещанию Б., зазвучала единственная нота и длилась, пока мы, повернувшись спиной к гробу, выходили из церкви. Тромбоны, валторны и трубы его многочисленных друзей-музыкантов сменяли друг друга, обеспечивая непрерывность звучания.

Последнее дыхание. Последнее прощай. Подобно кораблю, удаляющемуся в тумане навсегда.

И все-таки наступает миг, когда воцаряется молчание.

*

Траур.

Будучи за 70, Ж.Р. потерял жену.

«Я один, — пишет он мне, — я абсолютно один».

И добавляет в скобках с полной безнадежностью: «Раньше я любил одиночество. Потому что мог его прервать».

*

Всякая смерть есть произвол.

Произвол, прежде всего.

*

Великолепный день позднего лета.

Мягкость воздуха. Восхитительные цвета.

Желтые и рыжие тона леса. Рассеянный свет.

Городок Роменмотье с его церковью — в стиле Клуни — несравненной красоты.

И в то же время — новость о жестоком раке, поразившем близких людей.

У дверей красоты — смерть.

*

Когда я в тот день спросил моего отца о «предчувствии» смерти, он вспомнил сначала о тяжелом сердечном приступе лет пятнадцать тому назад, который впервые поставил его жизнь в опасность.

Он вспоминает о чем-то очень красивом, прежде всего о свете. Он повторяет — и его глаза блестят от волнения: «Да-да, свет, очень красивый...»

С тех пор у него только один страх — мучений.

Его пожелание: чтобы его не удерживали, чтобы его не принудили, как тогда, «вернуться».

В последние дни, когда он чувствует боли и у него шумит в ушах, ему снилось, что он собирал чемоданы, но цель путешествия оставалась неизвестна...

(Вспоминаю похожее выражение в устах моего дяди Г. тринадцать лет тому назад, перед тем как он впал в кому. «Пришло время собирать чемоданы», — сказал он мне.

Он знал о приговоре врачей.

Он не был человеком, который убаюкивает себя метафорами.)

Когда я расстался с моим отцом и вышел на главную площадь, где мы обычно — почти ритуально — встречались, шел невозможный дождь.

То, чего тогда не знал ни он, ни я — никто — что ему оставалось жить чуть более пяти лет.

*

черное черное
озеро этой ночью
огромное неподвижное
черное полотно
натянутое между берегами

черное черное
под безлунным небом
озеро этой ночью
скорби прощания
и мертвые прошлого
созваны вместе

слишком короткая слишком длинная
для ночи бдения
ночь далекой грозы
слишком длинная слишком короткая
для ночи бессонной



Михаил ПОПОВ

/ Москва /

* * *

Неужели ты еще не понял,
Происходит все совсем не так,
Прошлое неправильно запомнил,
Дорогое продал за пятак.

Не туда и не затем ты ходишь,
Сколько бесполезного труда
Ты с тупым упорством производишь,
Пользы, ну почти что никогда.

Тех, кто дорожил тобой — оставил,
Тот, кто помогал тебе — твой враг.
Соблюдаешь массу всяких правил,
Веришь в сотни небывалых врак.

До сих пор упорно и активно
Думаешь, да только не поймешь,
То, чем занят ты — бесперспективно,
Ты живешь.

* * *

Что просил, это все получишь,
только жизнь свою не улучшишь,
жил бы с тем, что и так уж есть.
Если кеды себе попросишь,
никогда их уже не сносишь,
хлеб попросишь, и век не съешь.

Деву ты попросил отдаться,
с ней уже вовек не расстаться,
про детей вообще молчу.
Не проси, чтоб ушли болезни,
вон они из тебя полезли.
И прошу, не просись к врачу!

Не проси, чтоб все люди братья
стали в мире, ведь тут же платья
посрывают со всех сестер.
Дайте правды, нет слова слаще! —
И тотчас же кого-то тащат
иль в застенок, иль на костер.

Закричишь, чтобы эти просьбы
не сбывались, чтоб не пришлось бы
ничего тебе получать,
и поймешь — твое время вышло,
и тебя вообще-то не слышно...
если хочешь, можешь кричать.

* * *

Снег, как будто напоминая,
что какая-то есть иная
жизнь, отличная от земной,
появляется и ложится,
продолжая притом кружиться
словно в этой жизни иной,
что лежачим быть, что подвижным,
что быть верхним, а что быть нижним,
это ровно, что все равно.

Обжигающим быть, холодным,
невесомым быть, или плотным,
так уж в небе заведено.

Наблюдая за этим снегом,
неизбежно гредишь о некоем
суперснеге, что к нам летит.
Он такое несет оттуда...
превратит нашу жизнь он в чудо...
Превратит, или прекратит.

* * *

На водной глади замер пух
ветла накренилась над прудом,
все, все беззвучно только слух
за звуком мчится как за чудом.

Вдруг лист осиновый плеснет,
как будто проявляя нервность,
то ласточка вдруг полоснет
крылом безвольную поверхность.

Та что-то ей сверкнет в ответ,
и снова залегла в молчанье,
и тишина как белый свет,
хранит всю радугу звучаний.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Все травой поросло,
А кое-где и лопух.
Рядом легли как назло,
Двое — глухой и лабух.

Несколько есть парней
Из городской братвы,
среди сосновых корней,
И под ковром травы.

Летчик, танкист, алкаш...
Рыскаю словно рысь,
Кладбище — ералаш,
Могилы как разбрелись!

Или сбились в толпу,
Опять заблудился я.
Пот бороздит по лбу...
Ну вот, и мама моя.

Плутал и нашел, стою
И так все пятнадцать лет,
И снова осознаю —
Ее тут в помине нет!

Нет Нины вон той и Ильи,
Раисы, Ивана, Льва,
Не дядя Петра соловьи.
Не дядя Фомы дерева.

Поросший сосной бугор,
Прекрасен со всех сторон,
Тела в нем всего лишь корм
Для беззаботных крон.

Души конечно есть,
Но все же где-то не здесь.

Но было: порыв грозы
Застал меня на холме:
Сначала мертвая зыбь,
А после — орган во тьме.

Вроде как охмелев,
Запели из темных нор
Таксист и братва, и Лев,
И это был сильный хор.

Рыдали все деревья,
И тонко мне грыз висок,
Слышный едва едва-едва,
Мамочкин голосок.

* * *

Пусть солнце село, но окрестности
Еще не полностью во тьме,
Я, первый циник этой местности,
Сижусь один. В своем уме.

Но начинается волнение,
Сначала только лишь в мозгу,
Как будто гений уравнение
Решил, хихикнув, на бегу.

Снуют невидимые ангелы,
Предчувствия проникли в сад.
Вот-вот и предсказания Вангины
Вдруг разом все заголосят.

В стоячем сердце кто-то роется,
Под ложечкою так сосет,
Что я уверен — мне откроется,
Меня куда-то вознесет!

Я вскакиваю шаткой башнею,
С комками воздуха в руках,
И прибежавшие домашние
Молчат на разных языках.

* * *

Уже почувствовали мы
Неповторимый этот почерк,
Весна из ледяной тюрьмы
Взрывается напором почек.

И кажется, еще чуть-чуть,
И все в зеленой канет пене,
Но холодом сдавило грудь
Апреля, и без изменений



Застыл наш бездыханный сад,
Мир замер как курок на взводе,
И, кажется, шепни «назад»
И все назад пойдет в природе.

Мир умирает, а не спит,
Лишь у соседа на балконе
«Машина времени» скрипит
В раздолбанном магнитофоне.

* * *

Струя слепого холодка
Пересекает мрак веранды,
Вползла в сознание строка
Трансцендентальной контрабанды.

Сквозь крону яблони сплошной,
Что рядом с вишней беспросветной
Нам посылает мир иной
Какой-то образ безбилетный.

Бредет прерывистый фонарь,
Как будто побираясь, в звездах:
Аэропорт свой инвентарь
Всю ночь зашвыривает в воздух.

Река распалась вдалеке
На ряд сверкающих излучин,
И в этой ломаной строке
Скрип от хароновых уключин.

Строит напрасный тарарам
Вдали скользящей электрички,
То композитор наш Арам
С клинками пляшет по привычке.

Пуста как пристань голова,
Пусть и в лирической короне.
И непрерывно шлет слова
Мне транспортер потусторонний.



Амир НОЕПАРАСТ

/ Брюссель /



ПОКЛОННИК НОЧИ

В этот вечер, как обычно, он вышел прогуляться: бег в одиночестве давно стал привычкой. Было холодно. Настолько холодно, что люди предпочли остаться в тёплых домах, нежели выйти наружу. Но так было даже лучше, ведь он мог во всей полноте насладиться одиночеством и прекрасной холодной погодой. Надо сказать, ночь для него была более приятна, чем день, потому что только темнота давала возможность увидеть всё вокруг не в привычном образе, а так, как хотелось ему самому. Предстоящая ночь обещала быть похожей на все остальные.

Прошло совсем немного времени, и позади поклонника ночи послышались шаги. Всего двадцать или тридцать метров отделяли его от незнакомца, но, совершенно не обратив на это внимания, наш герой продолжил свой путь. Человек за спиной приближался, расстояние между ними сокращалось, и сбивчивое дыхание незнакомца слышалось всё ближе. Поклонник ночи быстро обернулся, успев заметить, как рука, державшая нож, уже нависла над его головой. Непроизвольно, но очень быстро он увернулся. Незнакомец замахнулся так, что, казалось, даже быстрая реакция не могла спасти поклонника ночи от удара. Перехватив руку, он ударил незнакомца в живот, пытаясь повалить того на землю. Нож отскочил. Быстрым движением поклонник ночи поднял его. Поверженный незнакомец всё ещё лежал на земле, пытаясь подняться. После безуспешной атаки он потерпел ещё одну неудачу, получив удар в сердце своим же собственным ножом.

Незнакомцу было так же сложно поверить в то, что он умирает, как и поклоннику ночи в то, что за какую-то пару секунд он превратился в убийцу. Дотронувшись до умирающего, поклонник ночи спросил: «Кто вы и почему хотели убить меня?» С большим трудом умирающий ответил: «Это ты меня убил». После этих слов он потерял сознание, и поклонник ночи почувствовал всю тяжесть обмякшего тела. Не сумев удержать равновесие, он упал. Мёртвое тело упало рядом, и только теперь поклонник ночи смог увидеть, что именно он натворил.

Он оглянулся. К счастью, рядом никого не было. Он не знал, что делать. Вызвать полицию? Нет, только проблем наживёшь! Как такое вообще могло произойти? Это не просто несчастный случай. И всё же лучше вызвать полицию. В кармане убитого зазвонил телефон — возможно, это поможет решить проблему? Так, телефон здесь. Ему даже стало любопытно. Прежде чем связь оборвётся, нужно успеть ответить на звонок. Возможно, это верный способ узнать, почему на него напали. Он взял телефон и ответил.

Ничего не говоря, просто нажал на кнопку. Человек в трубке явно ожидал, что ответит женщина, и он звал её по имени, не слыша ответа. Для поклонника ночи это стало полной неожиданностью. Он ещё раз взглянул на мёртвое тело. Он даже не заметил, что на него напала именно женщина. Говорившему в трубке он так и не смог ничего сказать.

Звонивший безуспешно продолжал звать убитую женщину. Не дождавшись ответа, он повесил трубку. Поклонник ночи посмотрел на телефон. Он решил набрать номер того человека, который только что звонил... Набрать номер... Но... странно. Возможно ли такое? Это был его собственный номер. Но... Поклонник ночи жил совершенно один.

Пытаясь осознать всю невероятность произошедшего, невольный убийца даже не заметил подошедшего к нему мужчину.

«У вас всё в порядке, мадам?» — спросил тот.

«Мадам? Я ведь не женщина, сэр, — ответил поклонник ночи. — Вы видели, что произошло? Эта леди набросилась на меня, я только защищался. А сейчас мне нужна ваша помощь. Не могли бы вы попросить тех охранников вызвать полицию. Я не могу идти».

«Думаю, вы не совсем здоровы. О какой женщине вы говорите?! Кто на вас напал?!»

«Ничего не понимаю! Почему вы обращаетесь ко мне как к женщине? Неужели вы не видите мёртвое тело?»

«Мёртвое тело? О чём вы? Здесь ничего нет».

Поклонник ночи указал немного вперёд, где лежал труп. Незнакомец приблизился. Он медленно вытащил руку из кармана пальто, и стало видно, как его пальцы крепко сжимали нож. Мужчина даже не стал замахиваться — ловким движением он вонзил нож в живот поклонника ночи. Удар был таким стремительным, что поклонник ночи не смог его предотвратить.

Он упал. Жизнь угасала. С большим трудом он спросил: «Почему вы убили меня? Кто эта женщина?»

«Это не имеет значения, — ответил незнакомец. — Это моя работа, и мне за неё платят. Думаю, всё дело в спорах между вашим мужем и одним из его партнёров».

«О чём вы говорите?! Каким мужем?! Я мужчина! И кто та женщина, которую я убил?» — произнёс поклонник ночи с тем удивлением, на которое способен умирающий человек, не познавший главного.

Мужчина, несколько сбитый с толку, постепенно принял безразличный вид и ещё раз взглянул на умирающего в ночи человека. Аккуратно вытащив нож из тела, он скрылся во мраке.

Перев. с англ. Ольги Новиковой



Геннадий КАЦОВ

/ Нью-Йорк /

НЕ ЗДЕСЬ, НЕ ТАМ, А ГДЕ ПРИДЕТСЯ...

* * *

Идут часы. Тотально не везет
С механикой такой непопулярной.
Лишь муравей в бессмертие ползет
По скатерти, как к полюсу полярник.

Лишь эхом вечность катится в горах,
Хотя, как и любой предмет, причина
Его наверняка истлела в прах.
Лишь стрелки циферблата — мерно, чинно

Не по ошибке, не под анашой,
Как не-пространству, в общем, и пристало,
Сперва ускорят ход одной — большой,
И ход навеки остановят — малой.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА

В ожидании праздника пишут в открытках стихи;
Если в городе есть, всей семьей отправляются к цирку,
Где шатер шапито, несмотря на коварство стихий,
Месяцами торчит из толпы, как из ватмана — циркуль.

Даже пишут на стенках понятную разуму муть
В ожидании праздника, и за углом без закуски
Чем-нибудь заполняют себя, и тогда кто-нибудь
С «ты меня уважаешь?!» начнет потасовку по-русски.

Вот такой коленкор. А потом бы успеть в магазин
 До семи, чтоб доквасить, братаясь, в березовой роще:
 Этот город любого туриста без пули сразит —
 Все дороги ведут в нем на самую красную площадь.

Скатертей накрахмаленных, с ночи наглаженных брюк
 В ожидании праздника здесь по квартирам без счета,
 И супруге по праву положен до пары супруг,
 Чтоб им вместе висеть на Доске не любви, так почета.

Мне знакомы любой переулок, тупик или сквер
 В этом городе, что в оправдание каверзным будням
 Выбирает лишь только одну из бесчисленных вер —
 Веру в праздник. И он, поголовно уверены, будет.

* * *

Рассказать бы о том, как какое-то время спустя
 Все удачно, как будто бы ты заслужил, завершилось:
 От вчерашней дилеммы остался, мол, сущий пустяк,
 Как от «Что? Где? Когда?» — доброй памяти В. Ворошилов.

Будет так незнаком этим временем вскрытый итог,
 Этот дом в декорациях, чьих чертежей не проверить;
 Рассказать бы о том, чем заполнился белый листок,
 Что сквозняк не унес в навсегда приоткрытые двери.

В этом «после» закручена лампочка, и коридор,
 Столько месяцев щурясь в проем в отдаленную спальню,
 От испуга несет половицами чушь или вздор
 С точки зрения с детства в углу узаконенной пальмы.

И укрывшись портьерой, расслабленный солнечный свет
 Не готов пережить столкновения с плиточным полом:
 Рассказать бы о времени том, для которого нет
 На сегодня ни имени, ни — в перспективе — глагола.

ГОРОДСКАЯ ТОПОНИМИКА 1970-е

Зеленеют апрельские кроны,
 Как в замедленной съемке салют:
 По утрам в тихий скверик Зенона
 Забредает неведомый люд.

Он с таранкой потягивать пиво
 Так старается, чтоб подустать,
 Чтоб в аллею Камю торопливо
 Уходить между делом поссать.

За углом, в переулке Сократа,
 В ожидающий транспорт народ
 Солнце светит, а также в плакаты,
 Что зовут к Коммунизму вперед.

Мирно голуби мелкое просо
 В виде завтрака тут же клюют:
 Мимо кладбища им. Леви-Стросса
 Пролегает маршрутки маршрут

К Мартин-Бубера микрорайону.
 Миновав Канта имени вал,
 Каждый видит: растет неуклонно,
 То, что в планах Платон рисовал,

Что всем строить придется годами,
 Кроме тех, кто под пиво — тарань,
 Кто у сквера с названием Гадамер
 Продает иностранную срань.

Флаги ветер весенний полощет:
 Где тупик Кьеркегора, туда
 К центру, на Хайдеггерову площадь,
 Дерриды добралась слобода.

А за ней, на Гуссерля проспекте
 Не меняя классический вид,
 Голубями обосранный, в кепке
 Аристотель в пространство глядит.

В кумачовых простых украшениях
 К Первомаю убранство стола,
 И в прозрачном саду Витгенштейна
 Ветка сакуры вновь расцвела.

ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ОКЕАНУ

Близка граница Новой Англии:
 Повсюду яхты на приколе
 И с белыми крылами ангелы
 В апреле падают с магнолий.

Восток иначе, чем на западе
 Встречает: ветер что попало
 Пересчитает, даже запахи,
 Как лучший ученик Каббалы.

С мост — расстояние между штатами,
 И светофоры несерьезно
 Вкушают «красный» виски шатами,
 С зеленым намешав «шартрезом».

От ритма нет с утра спасения:
 Его в ай-фонах и на дисках
 Легко по воздуху весеннему
 Развозят велосипедисты.

С Катскильских гор, как внутрь кратера,
 К слюде спускаясь океана,
 Водители рефрижераторов
 Рутинно доставляют прану.

И по утру себя отварами
 Утешив, мыслью без задора:
 Все в рифму описав, ты варваром
 Смотрелся бы в глазах Адорно.

«ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»

Все есть цена бытовых наблюдений:
 Пылко весна началась в понедельник
 И, возбуждаясь весь день неуклонно,
 Грела промерзшие доски балкона

Так, что к среде с трех восторженных веток
 Жаром стекало кипящее лето
 К столику, чья отражала поверхность
 Бал мошкары, что расширенной кверху

Люстрой вращалась под звон чистой меди
 В крыльях шмеля, что влететь не замедлил
 В мокрый четверг, то есть сразу промазал,
 С ходу попав на осеннюю фазу,

Как и пророчила метеослужба:
 Дождь, мол, с грозой до субботы; не нужно
 Быть ясновидцем, прозаиком чтобы
 Не предсказать к воскресенью сугробы,

И понимая, что все на пределе —
 Нервы, финансы и пр., за неделю
 Год так прожить, или что там осталось,
 Чтоб не начать с понедельника старость.

* * *

Не адресат из прежних спален,
 Не отправитель на конверте:
 Вся жизнь — величиною с память,
 Как с амнезию же — бессмертье.

Покуда привыкаешь к мысли,
 Что не запомнить весь порядок,
 Инструкцию, в известном смысле,
 Кому прожить с тобою рядом,

То вспоминаешь поминутно
 Не здесь, не там, а где придется,
 Не явно, с ощущеньем смутным:
 Как мало в прошлом остается

Событий и любимых женщин,
 И от тебя воспоминаний
 В тех, кто уходит: их все меньше,
 Все туже память в рог бараний

Закручивает от склероза,
 И никуда уже не деться, —
 С последним, как всегда, вопросом:
 «Хоть можно что-нибудь из детства?»

* * *

Когда-нибудь, когда мне умирать
 Объявят час (допустим, будет вечер),
 Я, больше из желанья подыграть,
 В настенном зеркале с собой назначу встречу
 В последний раз. И постелю кровать.

Налью в стакан покрепче алкоголь —
 Нелегкий путь и дальняя дорога
 Мне предстоят; и, вероятно, боль
 Когда душа без тела, понемногу
 Свыкаясь, подберет другую роль.

На прикроватной тумбочке торшер
 Ночной включу, и что-нибудь из Баха
 Поставлю: Глена Гульда, например,
 Из «Гольдбергга». И, не трясаясь от страха,
 Скажу сквозь зубы: «Здравствуй, Люцифер!», —

Прорепетировав, должно быть; а затем
 Улягусь, и прохладна будет простынь,
 И дом замрет, и, непривычно нем,
 Глаза закрою — в этот раз непросто
 Их будет закрывать. Как насовсем.

Глаза закрыв, я лягу на бочок
 По маминому мудрому совету,
 Покрою простыней свое плечо
 И выключу торшер. Теперь, без света,
 Мне легче будет думать ни о чем.

Осталось ждать. Еще налить грамм сто?
 Хотя, для поддержанья настроенья
 Вполне достаточно. Как будто ты мостом
 Отсюда переброшен вверх, где тени
 Тебя еще не принимают в мире том;

И словно слышишь: рядом засопел,
 Приятно и нестрашно, как бывает
 Ребенок — ты, кто за день все успел
 И в этот миг к Морфею отплывает,
 Туда, где вашей с ним судьбы предел.

Он, в странном сновиденье, со спины
 Тебя обнимет, чтобы вам согреться,
 Скуля, что в смерти нет его вины,
 Уснет в одном из снов твоих из детства —
 И будут все из снов твоих видны.

НОЧНОЕ

Вдруг ночью отопление само,
 По типу ссоры, страшно заурчало:
 Там женщина, которая кричала
 С одышкой, как кричат борцы сумо,

Доказывала, что он ей никто
 Уж много лет — и слышен голос мужа,
 Хотя, так завывать могла б и стужа;
 Ну, в общем, он уже стоял в пальто,

Когда вбежал сосед — и весь скандал
Теперь звучал на роковом фальцете
Так, что по комнатам проснулись дети;
Тут кто-то в грудь ножом кому-то дал,

И всхлипнул, завизжал водопровод,
Кровавая вода текла по трубам,
А труп? Ну, что теперь им делать с трупом?
А если кто-то вдруг сейчас войдет,

Хотя три двадцать восемь на часах.
Но есть один единственный свидетель,
Которого б убрать, пусть и при детях,
Которого охватывает страх,

Ведь среди ночи сей свидетель — я,
И если ничего и не случилось,
Я это слышал: как по трубам билась
Убийства неизбежная струя,

Я даже видел: женщина кричит,
Вбежал сосед при уходящем муже...
И коль, товарищ следователь, нужен
Свидетель, то не быть им нет причин¹.

«АЛХИМИЯ СЛОВА»

Слова есть пища глазу. Для зерна
Сетчатки, что сродни гортани, влажной,
Знак, пусть и водяной, почти цена
Промышленности всей писчебумажной.

Вводя с согласия гласных и ряды
Согласных внутрь себя, всегда читатель
Не представляет, сколько в них беды
С проказой злобно намешал создатель.

Сколь порчи в якобы невинном «ряд»,
В одной заглавной «С» — дурного сглаза:
«Зерна», «цена» — и сразу, словно яд,
По венам парой потечет зараза.

¹ И коль, товарищ следователь, нужен
Свидетель, то не быть им — сто причин.

«Слова есть пища» — ровно через год,
 В какой-то вялой и невинной давке
 Судьба, читатель, все равно найдет
 Тебя, под видом стертой бородавки.

«Гортани» — даже нет, лишь запятой,
 Что следует по тексту за «гортанью»,
 Хватает удавиться с мыслью той,
 Что вот он, час, когда тебя не станет.

Четыре строчки, собственно, абзац
 Настоян на зловреднейшей из магий:
 Заглядывая в книжке за форзац,
 Уже горишь и плависься, как магний.

Идя по строчкам, околдован враг,
 Как в древнескандинавских рунах, нидах:
 Читатель — черных букв несчастный раб,
 Герой всех вечных драм, от Еврипида.

Он прочно зашифрован в тексте, он
 К концу подальше смят и обесточен,
 И падает его тестостерон
 По трем ступеням из финальных точек...



Рис. Ю. Филипчук

Таисия ПОВЕРЕННАЯ

/ Мюнхен /



«КРУПИНКИ СЧАСТЬЯ»

Как читательница я разделяю свою жизнь на три периода. Первый — детство. Читать начала рано, читала много и быстро и без разбора. Главное было — дочитать до конца и узнать финал. Чтение было, литературы не было.

Потом пришла юность с трепетом, глубоким ощущением красоты в искусстве. Мне открылась радость собственного существования во вселенной, и я научилась сопереживать открывшемуся мне миру.

Потом — самая плохая читательская фаза: ссорилась с автором по ходу чтения, критикуя написанное и не получая удовольствия от прочитанного.

Передо мной три сборника стихов Юрия Боброва, подаренных мне автором — «Паутина счастья» (2005г.), «А что такое быть сегодня?» (2008г.) и только что изданный в Санкт-Петербурге в издательстве «Алетейя» томик «Лебеди в чёрном» на русском и немецком языках.

Если бы я писала рецензию, то должна была бы написать, что Юрий — москвич, что он окончил Московский Государственный Университет им. Ломоносова (экономический факультет), по специальности экономист-математик, работал научным сотрудником в институте Академии Наук СССР, была одним из любимых учеников «прораба Перестройки» Академика С.С. Шаталина.

Но жизнь дала слом, и после душевного недуга он переехал с матерью и отчимом, историком архитектуры, Александром Рябушиным в Германию, в Мюнхен.

Не стану писать ни о его многочисленных литературных наградах, ни о персональных художественных выставках. Всё это читатель найдёт в Юриных сборниках.

Пишу как читательница, пишу с глубокой благодарностью за то, что живопись и поэзия, всё творчество моего многолетнего друга вернули мне радость юношеского восприятия.

Его стихи нельзя читать «журналистским глазом» — сверху вниз по косой. Его стихи — это отдых и работа одновременно.

Поэтому права поэтесса Тамара Жирмунская, которая пишет, что стихи Юры — не для всех. Уверена, убеждена, что успех этих книг от этого не пострадает, как и достоинство самого автора.

Три книги на моём столе, хорошо изданные и оформленные рисунками автора. Три книги хорошей литературы, сложной для неподготовленного читателя, духовно безбрежной поэтической мысли

Слова, слова, слова
И между слов слова

Но философски очень конкретной и замкнутой

Я пишу
В разрывах
Между болью

Поэт понимает, насколько осложнилась его жизнь. Что

Есть время «до»
И время после «до»

Но он верит в высокий потенциал своего духовного роста, и сам ставит себе задачу

Искать, искать себя
И верить...

И ещё

Я собираю, друг мой,
Не наружность,
А путь к себе

Я не вижу его автором романа в стихах или автором поэм. Для меня Юрий редкий поэт, поэт строчки, поэт-строчечник. И никогда не поймёшь, чего больше в его творчестве — поэзии или философии.

Интересные наблюдения сделала я для себя. Если читать стихи в разброс, в россыпь, кажется, что душевное, духовное и философское в них неразрывно перевязано крест на крест и связано в крепкий узел. Но, когда читаешь стихи подряд, когда ощущаешь мощный рост авторского мастерства от книги к книге, понимаешь, что ты ошибался, что поэт живёт на «разрыв времени на точки», а дальше — всё по Канту — поиски смысла.

Смотри в глаза
Зрачками смысла...
Точка смысла
Накрывает очевидность...

И всё же своё творчество — и поэзию, и живопись — Юрий сжимает до формулы

Собранность мыслей
Собранность звука
Собранность взгляда

Можно ли задаваться целью выяснения, что в этой жёсткой, математически выверенной задаче у автора первично, что вторично — поэзия или живопись?

Когда закрываю книги поэта ловлю себя на мысли, что чувствую себя как после симфонического концерта. Когда душа ещё наполнена звуками и хочется отстраниться от толпы, поскорее придти домой, побыть одной, чтобы как можно дольше не расплескать в себе, не растерять «крупинки счастья».

АНТОН РИБИС

/ Москва /

ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ ПРОСТОТА СТИЛЯ ВЯЧЕСЛАВА ЧМИЛЯ

Чмилъ В. Ограда. Избранная проза. — СПб.: Алетейя, 2013. 587 с. — (Коллекция поэзии и прозы).

В известном петербургском издательстве «Алетейя» вышла книга избранной прозы Вячеслава Чмиля. Это неожиданное открытие настоящего мастера, яркого таланта в эпоху, когда роману и вообще большой прозе неоднократно предвещали бесславный конец.

В книге два романа: «Цветочки счастливой эпохи» и «Ограда», и две повести: «Истребители танков» и «Любовь». Название книги — «Ограда» совпадает с названием одного из романов, но вполне выражает общий смысл и настрой новаторского в своей завораживающей простоте авторского стиля. Необычность этой прозы не сразу осознается за вязью повествования о жизни в «застойную» эпоху в ареале и ореоле послесталинского ГУЛАГ^а. В обоих романах эта жизнь показана глазами мальчика, от первого лица. Автор, сам сибиряк, родился и жил в тех же местах, и во многом отталкивался от своей биографии. Повести — уже о выросшем в Сибири мальчишке, перебравшемся на Невские берега, и каждая из них имеет свой неповторимый стиль и показывает богатство возможностей рано ушедшего автора.

Стиль большой прозы обоих романов может быть охарактеризован двумя словами как «обжигающий реализм», и это определение, думается, точно подходит к тому пронзительному по простоте и силе повествованию о становлении характеров и взрослении детских душ в искаженной, фальшивой и ханжеской реальности «первого в мире социалистического государства», провозгласившего своей целью «построение коммунизма».

В романе «Цветочки счастливой эпохи» впечатляюще показано, как взращивались эти «цветочки», как предательство и доноительство назывались «искренностью». А воспитатели «с человеческим лицом», как правило, с «подмоченной» анкетой, бывшие заключенные сталинского ГУЛАГ^а вынуждены были скрывать свои биографии и не афишировать общечеловеческие ценности и методы воспитания, не совпадающие с рекомендованной схемой. И юные воспитанники интерната постоянно делали выбор между злом в обличии добра и истинным добром, которое не может от-

крыто вступить в борьбу и только намекает о себе в надежде на понимание. И эти падения и взлёты, сопротивление человеческого материала, жестокость и раскаяние, сочувствие, смех и слёзы — всё это показано в переплетении с яркими эпизодами реальных ситуаций. Читатель сопереживает героям и вспоминает свое детство, свои забытые мысли и чувства. Ведь в юном возрасте всё воспринимается особенно остро, детские трагедии — самые самые. И в любых условиях есть место приключениям. Одна из самых мощных и впечатляющих сюжетных линий романа — пребывание мальчишек на свалке и образ старого китайца. Жизнь на свалке — это и символ, и реальность, как многое у Вячеслава Чмиля. Или, например, ярчайший сюжет — поездка в Хакасию, где главный герой с другом собирали кедровые шишки и ходили на ферму по выращиванию норок. Описанные автором шокирующие реалии, в их привычной, обыденной оболочке, сочетаются с радостным, полновесным восприятием природы и жизни «на свободе» (за пределами интерната). Автор потрясающе сильно показывает это столь характерное для детства ощущение восторга перед жизнью во всей ее полноте.

И еще одна характерная особенность «Цветочков...» — нечасто встречающаяся манера повествования, когда значительная часть текста состоит из диалогов юных героев, а авторская речь отступает на задний план или разделяет смысловую нагрузку с прямой речью персонажей.

Название второго романа, «Ограда», — символично еще в большей степени. Человек всегда находится во многих оградах одновременно — собственного тела, дома, городских стен, границ государства, пространства планеты. И по мере взросления юный человек всё более расширяет свою ограду. Эта многоплановость подспудно присутствует в тексте, но конкретная ограда в романе — забор, огораживающий примыкающий к тюрьме двор. В этом дворе, в одной из комнат дома, предназначенного для работников тюрьмы, и живет главный герой с отцом и мачехой. И юные, и взрослые персонажи «Ограды» в большинстве своем — яркие индивидуальности. Читателю, несомненно, запомнятся своими непохожими характерами и судьбами Витяй, Валерка, Сашка, Мишка и Силовфон — мальчишки из близкого окружения главного героя, да и другие юные персонажи. Не менее ярко изображены и взрослые герои романа, особенно старуха Титенкова и ее подруга Наденька, бывший охранник инвалид Корольков, генерал и старая дама с собачкой. Их искверканные судьбы постепенно открываются живущему в ограде мальчику, от имени которого ведется повествование.

Но Вячеслав Чмил мастерски изображает не только характеры и судьбы своих героев, но и сибирскую природу. Возникает даже почти «эффект присутствия», так сочно и наглядно описывает автор игры и затем мальчишек, костры, вигвамы, рыбалки, леходыды, окрестности рек Чулыма и Ачинки, тайгу и гору Элек на закате.

Что касается повестей, включенных в книгу, то «Истребители танков» — маленький шедевр, почти готовый сценарий, трагикомедия из армейской жизни накануне «перестройки». Повесть-мистерия «Любовь» — весьма необычная по парадоксальным поворотам сюжета проза, говорящая о необычайно широком творческом диапазоне авторского таланта.

Хочется надеяться, что читатель не пропустит эту талантливо написанную книгу, она достойна того, чтобы быть прочитанной. К сожалению, безвременно скончавшийся автор не подарит нам новых литературных шедевров.

Борис ЛЕВИТ-БРОУН

/ Верона /



НЕЧАЯННЫЕ ФРАЗЫ

* * *

Заходишь в канцелярию — пахнет божьими коровками. Не буди их. Впрочем, их проще раздавить, чем разбудить...

* * *

О Фолкнере: сыплет образы как мелочь сквозь дыру в подкладке.

* * *

Совершенство мира — это драматическое переживание его несовершенств.

* * *

Маленькие радости языка больше больших радостей смысла.

* * *

Сколько бы мужчина ни знал о себе, женщина знает о нём ещё что-то...

* * *

Отчаяние — кульминация надежды.

* * *

Наименьшее впечатление хищник производит на жертву.

* * *

Можно раскрасить сыроежку под мухомор, но она всё равно останется убийственно безопасна для жизни.

* * *

Инокомыслящий

* * *

Бессонница — одна из разновидностей ада.

* * *

Не бывает безвредной лжи, не бывает бесполезной правды...

* * *

Явление поэзии — это пуля со смещенным центром тяжести, которая должна угодить в периферию, а выйти через сердце.

* * *

Чтобы создать идеальное распятие надо распять живого человека.

* * *

Нельзя всё подвергнуть перу.

* * *

Пророчество — это способ угадать пути обыденности.

* * *

Её страх не знал никаких границ кроме государственных.

* * *

Измена всегда должна быть трудной...

* * *

Входящий без приглашения — блудливый мазохист.

* * *

Счастливые встречи всегда «случайны».

* * *

Эстеты имеют обыкновение выплёскивать дитя вместо воды.

* * *

Персонаж из сказок для детей особистов: мышка-наружка.

* * *

Оттуда и туда — это в одну и ту же сторону.

* * *

По преимуществу люди напоминают забытое на столе мороженое.

* * *

Тот никогда не создаст великого, кто не стремится пронести мировую трагедию на острие каждого стиха.

* * *

Скульптор берет глыбу мрамора и отсекает всё, кроме лишнего.

* * *

Внутри себя пойти некуда.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Оригинал-макет *Б.Марковский*
Рисунки *Ю.Филипчук*
Дизайн обложки *С.Пионтковский*

Издательство
«Вест-Консалтинг»,
Москва, 109193,
ул. 5-я Кожуховская, д.13

Подписано в печать 24.08.2013. Формат 66x88^{1/16}.
Усл.-печ. л. 19,9. Печать офсетная. Заказ 284.
Тираж 500 экз.

**Мы – в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили – в Киеве,
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке
или Мюнхене, мы – перенесенный
в ментальное пространство проспект,
как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные
встречи...**

